

ISSN 2686-7494

*Два века*

РУССКОЙ  
ИЛИССИКИ

ISSN 2686-7494

ISSN 2686-7494

**Два века** **Two centuries**  
**русской классики** **of the Russian classics**  
[Dva veka russkoi klassiki]

Научный журнал Academic Journal  
Выходит с 2019 года Is published since 2019

2020 Том 2 № 1 2020 Volume 2 No. 1

Учредитель и издатель: Founder and publisher:  
Институт A. M. Gorky  
мировой литературы Institute  
им. А.М. Горького of World Literature  
Российской of the Russian  
академии наук Academy of Science

*Два века*  
РУССКОЙ  
КЛАССИКИ

## Редакционная коллегия журнала «Два века русской классики»



### Главный редактор

Щербакова Марина Ивановна (Институт мировой литературы им. А. М. Горького  
Российской академии наук, г. Москва)

### Заместитель главного редактора

Виноградов Игорь Алексеевич (Институт мировой литературы им. А. М. Горького  
Российской академии наук, г. Москва)

### Ответственный секретарь

Андреева Валерия Геннадьевна (Институт мировой литературы им. А. М. Горького  
Российской академии наук, г. Москва)

### Редакционная коллегия

Гулин Александр Вадимович (Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, г. Москва), Гуминский Виктор Мирославович (Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, г. Москва), Ивинский Александр Дмитриевич (Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, г. Москва), Троицкий Всеволод Юрьевич (Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, г. Москва), Воропаев Владимир Алексеевич (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва), Генералова Наталья Петровна (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, г. Санкт-Петербург), Захаров Владимир Николаевич (Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Российский фонд фундаментальных исследований, г. Москва), Коровин Владимир Леонидович (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва) Лебедев Юрий Владимирович (Костромской государственный университет, г. Кострома), Михайлова Наталья Ивановна (Государственный музей А. С. Пушкина, г. Москва), Мосалевская Галина Владимировна (Удмуртский государственный университет, г. Ижевск), Николаева Евгения Васильевна (Московский педагогический государственный университет, г. Москва), Николаева Светлана Юрьевна (Тверской государственный университет, г. Тверь), Федоров Алексей Владимирович (издательство «Русское слово», г. Москва), Чернышева Елена Геннадьевна (Московский педагогический государственный университет, г. Москва)

### Иностранные члены редакционной коллегии

Авидзба Василий Шамониевич (научно-исследовательский центр «Абхазская энциклопедия», г. Сухум, Абхазия), Амберг Лоренцо (дипломат и посол Швейцарии, г. Женева, Швейцария), Боханд Мохаммад Латиф (посол Афганистана в России, г. Кабул, Афганистан), Гини Джузеппе (Университет им. Карло Бо, г. Урбино, Италия), Донсков Андрей Александрович (Славянская исследовательская группа при университете Оттавы, г. Оттава, Канада), Кавацца Антонелла (Университет им. Карло Бо, г. Урбино, Италия), Луцевич Людмила Федоровна (Варшавский университет, г. Варшава, Польша), Михед Павел Владимирович (Институт литературы им. Т. Шевченко Национальной академии наук Украины, г. Киев, Украина), Олджай Тюркан (Стамбульский университет, г. Стамбул, Турция), Пиотровска Иоанна (Варшавский университет, г. Варшава, Польша), Саверченко Иван Васильевич («Институт литературоведения им. Янки Купалы» Национальной академии Наук Беларуси, г. Минск, Беларусь), Терзич Славенко (посол Сербии, г. Белград, Сербия)

## The editorial board of the journal «Two centuries of the Russian classics»



### **Editor-in-Chief**

Scherbakova Marina Ivanovna (A. M. Gorky Institute of World Literature the Russian Academy of Sciences, Moscow)

### **Deputy Editor-in-Chief**

Vinogradov Igor Alekseevich (A. M. Gorky Institute of World Literature the Russian Academy of Sciences, Moscow)

### **Managing Editor**

Andreeva Valeria Gennadyevna (A. M. Gorky Institute of World Literature the Russian Academy of Sciences, Moscow)

### **Editorial board**

Gulin Alexander Vadimovich (A. M. Gorky Institute of World Literature the Russian Academy of Sciences, Moscow), Guminsky Victor Miroslovovich (A. M. Gorky Institute of World Literature the Russian Academy of Sciences, Moscow), Ivinsky Alexander Dmitrievich (A. M. Gorky Institute of World Literature the Russian Academy of Sciences, Moscow), Troitsky Vsevolod Yuryevich (A. M. Gorky Institute of World Literature the Russian Academy of Sciences, Moscow), Voropayev Vladimir Alekseyevich (Lomonosov Moscow State University, Moscow), Generalova Natalya Petrovna (Institute of Russian Literature (Pushkinskiy Dom) of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg), Zakharov Vladimir Nikolaevich (Petrozavodsk state university, Petrozavodsk, Russian Federal Property Fund, Moscow), Korovin Vladimir Leonidovich (Lomonosov Moscow State University, Moscow), Lebedev Yuriy Vladimirovich (Kostroma State University, Kostroma), Mikhaylova Natalya Ivanovna (State Museum of A. S. Pushkin, Moscow), Mosaleva Galina Vladimirovna (Udmurt State University, Izhevsk), Nikolaeva Evgenia Vasilyevna (Moscow Pedagogical State University, Moscow), Nikolaeva Svetlana Yurevna (Tver State University, Tver), Fedorov Alexey Vladimirovich (Russian Word publishing house, Moscow), Chernysheva Elena Gennadyevna (Moscow Pedagogical State University, Moscow)

### **Foreign members of the editorial board**

Avidzba Vasily Shamoniyevich (Abkhazian Encyclopedia research center, Sukhum, Abkhazia), Amberg Lorenzo (Diplomat and ambassador of Switzerland, Geneva, Switzerland), Bokhand Mohammad Latif (Ambassador of Afghanistan in Russia, Kabul, Afghanistan), Genya Giuseppe (University of Carlo Bo, Urbino, Italy), Donskov Andrey Aleksandrovich (Slavic research group at the university of Ottawa, Ottawa, Canada), Kavazza Antonella (University of Carlo Bo, Urbino, Italy), Lutsevich Lyudmila Fiodorovna (Warsaw university, Warsaw, Poland), Mikhed Pavel Vladimirovich (Institute of literature of T. Shevchenko of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine), Oldzhay Tyurkan (Istanbul university, Istanbul, Turkey), Piotrovsk Ioann (Warsaw university, Warsaw, Poland), Saverchenko Ivan Vasilyevich ("Institute of Literary Criticism of Janka Kupala" of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus), Terzich of Slavenko (Ambassador of Serbia, Belgrade, Serbia)

## Содержание

### *Русская литература XVIII и XIX столетий*

- 6**     **Кожевников В. А.** Какие «мосты мостил» князь Игорь?  
(Из комментариев к «Слову о полку Игореве»)
- 16**    **Троицкий В. Ю.** Поэзия А. С. Пушкина последнего десятилетия  
жизни как выражение национального самосознания
- 62**    **Виноградов И. А.** Славянофильство и западничество  
в споре о поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»:  
невостребованное и забытое
- 154**   **Дмитриев А. П.** К оценке «Бедных людей» и «Двойника»  
Ф. М. Достоевского в семье Аксаковых (по переписке  
В. С. Аксаковой и М. Г. Карташевской)
- 168**   **Мельник В. И.** «Милый, добрый Анатолий Федорович...»  
(К вопросу об отношениях И. А. Гончарова и А. Ф. Кони)
- 196**   **Марков А. В.** Категория жизнеспособия в духовной прозе  
А. М. Бухарева
- 224**   **Андреева В. Г.** Работа Л. Н. Толстого над образами героев  
рассказа «Хозяин и работник»

### *Научная жизнь*

- 244**   **Федоров А. В.** «В свои сани — садись!»: о первом томе Полного  
собрания сочинений А. Н. Островского

## Contents

### *Russian literature XVIII and XIX centuries*

- 6     **Kozhevnikov V. A.** What “bridges” did Prince Igor build?  
(From comments to “The Tale of Igor’s Campaign”).
- 16    **Troitsky V. Yu.** Poetry of Alexander Pushkin  
of the last decade of life as an expression of national identity.
- 62    **Vinogradov I. A.** Slavophilism v. Westernism in the dispute about  
Nikolai Gogol’s novel “Dead Souls”: unclaimed and forgotten
- 154   **Dmitriev A. P.** On the assessment of “Poor Folk” and “The Double”  
Fyodor Dostoevsky by the Aksakovs (in terms of correspondence  
between Vera Aksakova and Mariya Kartashevskaya).
- 168   **Melnik V. I.** “My good, kind Anatoly Fedorovich...”  
(On the issue of relations of Ivan Goncharov and Anatoly Koni).
- 196   **Markov A. V.** Category of aesthetical likeness in the spiritual prose  
by Aleksandr Matveyevich Bukharev (archimandrite Theodore).
- 224   **Andreeva V. G.** Leo Tolstoy’s work on the images of characters  
of the short story “Master and Man”

### *Scientific Life*

- 244   **Fedorov A. V.** “Stay in Your Own Sled and be quite yourself!”:  
About the first volume of Complete works of Alexander Ostrovsky

© 2020. В. А. Кожевников

Институт мировой литературы им. А. М. Горького  
Российской академии наук  
г. Москва, Россия

### Какие «мосты мостил» князь Игорь? (Из комментариев к «Слову о полку Игореве»)

В настоящее время принято считать, что встречающееся в «Слове о полку Игореве» словосочетание «мосты мостити» значит «возводить гать», строить переправу через болота и грязевые места, бросая в них драгоценные ткани и всякую другую богатую добычу. Автор статьи, отвергая это неверное с его точки зрения толкование, приходит к выводу о том, что речь в данном случае идет о принесении дружиной Игоря языческой жертвы, типичной для двоеверов, к которым, судя по тексту, принадлежал и князь Новгород-Северский Игорь Святославич, главный герой «Слова о полку Игореве». В статье рассматривается необъясненный в научной литературе по «Слову о полку Игореве» вопрос о том, как именно Бог показал Игорю, попавшему в плен, путь на Родину. Анализируя определенные фрагменты памятника древнерусской литературы, автор статьи приходит к выводу о том, что речь в нем идет о еще одном знаменитом, образующем композиционный параллелизм с первым предвестием Божиим, данным князю перед его безрассудным походом на половцев.

**Ключевые слова:** «Слово о полку Игореве», образ князя Игоря, композиционный параллелизм, христианство, язычество, мифологическая символика, образ моста.

**Информация об авторе:** Кожевников Виктор Андреевич, ORCID 0000-0001-5506-0711, старший научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25а, 121069, г. Москва, Россия

E-mail: polina50@list.ru

**Дата поступления статьи в редакцию:** 15.12.2019

**Дата публикации статьи:** 24.03.2020

**Для цитирования:** Кожевников В. А. Какие «мосты мостил» князь Игорь? (Из комментариев к «Слову о полку Игореве») // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 1. С. 6–15. DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-06-15



This is an open access article  
distributed under the Creative  
Commons Attribution 4.0  
International (CC BY 4.0)

© 2020. Victor A. Kozhevnikov  
A. M. Gorky institute of World Literature  
of the Russian Academy of Sciences  
Moscow, Russia

## National identity in Russian poetry 1816–1821

### What “bridges” did Prince Igor build? (From comments to “The Tale of Igor’s Campaign”)

It is now accepted to consider that the phrase “to build bridges” found in “The Tale of Igor’s Campaign” means to make a corduroy or a brushwood road, i.e. to make a road of brushwood across marshy ground, throwing precious fabrics and all sorts of other rich trophies into the marsh. The author of the article, rejecting this interpretation, which is incorrect in the author’s view, concludes that in this case, it is a matter of making a pagan sacrifice by Igor’s armed retinue, which is typical of those with a double faith, but, judging by the text, Igor Svyatoslavich, Prince of Novgorod-Seversky, the main protagonist of “The Tale of Igor’s Campaign”, belonged to such people as well. An issue, unexplained in the scientific literature about “The Tale of Igor’s Campaign”, on how exactly Igor, who had been captured, was shown the way to the Homeland by God, is considered in the article. Analysing certain fragments of the literary monument of Old Rus’, the author of the article concludes that in it, there is another sign that forms a composite concurrency with the first presage of God which the Prince was given before his reckless march against the Polovtsians.

**Keywords:** “The Tale of Igor’s Campaign”, Prince Igor’s image, compositional parallelism, Christianity, paganism, mythological symbolism, bridge image.

**Information about the author:** Victor A. Kozhevnikov, ORCID 0000-0001-5506-0711, Senior Researcher, A. M. Gorky institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25a, 121069, Moscow, Russia

E-mail: info@imli.ru

**Received:** December 15, 2019

**Published:** March 24, 2020

**For citation:** Kozhevnikov V. A. What “bridges” did Prince Igor build? (From comments to “The Tale of Igor’s Campaign”). Two centuries of the Russian classics, 2020, vol. 2, № 1, pp. 6–15. (In Russ.) DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-06-15



Разгромив в первом бою половцев и взяв богатую добычу, дружина князя Игоря вдруг «орътмами, и япончицами, и кожухы начаша мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и всякими узорочьи Половецкыми [Слово: 66].

После долгих споров исследователи пришли к выводу, что *Орътма* — это, скорее всего, покрывало, попона или, может быть, женская накидка, вуаль... [Энциклопедия 3: 372–374], а *Япончица* (уменьшительное от япанча, епанча) — верхняя одежда, накидка, плащ [Энциклопедия 5: 286].

Были и другие, менее убедительные варианты объяснения этих слов, но в данном случае это не является принципиальным моментом. Гораздо существеннее, что эти и другие очень дорогие трофеи дружинники Игоря почему-то стали бросать в болото и в «грязивые места». Туда же полетели и «узорочья половецкие» – драгоценные узорчатые половецкие ткани. Зачем? Ни переводчики «Слова...», ни его комментаторы, ни составители «Энциклопедии “Слова о полку Игореве”» не смогли объяснить эти странные действия Игоревой дружины.

Свое объяснение предложил академик Д. С. Лихачев. Оказывается, добыча была очень велика: так велика, что «покрывалами, плащами и кожухами стали мосты (гати) мостить через болота и топкие места...» [Лихачев: 163]. *Гать* — это дорога через болото или затопленный участок суши, настил через трясину. Гать делается из бревен, уложенных обычно поперёк движения. Если принять точку зрения Лихачева, придется признать, что князь Игорь и его дружина открыли новую страницу в мостостроении: никому до этого и в голову не приходило, что «мосты мостити» можно таким оригинально-бессмысленным способом. Сколько же десятков и даже сотен телег драгоценных тканей, кожухов и покрывал надо было бросить в болото, чтобы воины на конях могли не объехать, а перебраться через него по этой «гати»? И еще: а как

войско Игоря добралось до половцев через эти болота, которые вдруг, когда дружина решила вернуться, стали непроходимыми?

Трудно согласиться с объяснением академика Д. С. Лихачева. Мы убеждены, что в «Слове о полку Игореве» речь идет о других «мостах».

В прямом значении *мост* — это сооружение, соединяющее два пункта на земной поверхности, разделенные водою, рвом или каким-нибудь препятствием и дающее возможность сообщаться между ними, а в переносном — это сооружение и локус, которые, по народным представлениям, соединяют земное и потустороннее пространство; место контактов человека с мифическими существами; один из наиболее опасных и ответственных участков пути. *Переход по мосту* осмысливается как преодоление границы между мирами [Славянские древности 3: 303].

Мифологическая символика *моста*, соединяющего мир живых и мир мертвых, распространена во многих мировых культурах, начиная с древнейших времен до наших дней. Христиане, к примеру, наводя свои «мосты», и теперь в «Каноне Рождеству Пресвятой Богородицы» славят Христа и Пречистую Деву Марию — «к Зиждителю мост» (Песнь 9): «Жізни раждáется днесь мóст, їмже человекы воззвáние падéния, ёже от áда, обрётшии, Христá Жизнодáвца пёсньми прославляють» (Песнь 1).

Принятие христианства раскололо русичей на три религиозные группы: бывших язычников, истинно уверовавших во Христа; язычников, не принявших нового Бога; двоеверов, в сознании которых сосуществовали элементы христианства и язычества. У язычников и двоеверов были свои мистические «мосты», причем «многофункциональные».

Например, одно из самых распространенных святочных девичьих гаданий — сооружение «мостика»: девушка перед сном укладывала на сосуд с водой соломинку, нитку или прутик, по которому суженый (если он являлся во сне) должен был ее перевести. Благополучный исход сулил девушке скорое замужество, переход по этому «мосту» в новое состояние и обретение ею нового социального статуса [Славянские древности 3: 304].

Язычники и двоеверы вкладывали в руки покойника монетку: «даплати мостарину», чтобы заплатить за переход по «мосту» в мир иной. А поминальный обычай предусматривал «мощение» и деревянных

«мостов» через ручей или топкое место, чтобы родственники умершего, проходя по этому «мосту», могли помянуть покойного [Славянские древности 3: 304].

Церковь, естественно, осуждала тех, кто «мосты чинять по мртвых» [Гальковский: 202].

Символическое «мощение мостов» связано и с верой в то, что эти «сооружения» необходимы для избавления от злых духов и для привлечения духов сакральных, способных защитить, помочь, излечить.

«Мощение мостов» было и своеобразной формой принесения жертвы богам: холсты, ткани, полотенца, скатерти, шерсть, воск, зерно, хлеб, иногда мелкую живность, иногда деньги приносили в определенное место. Все это оставляли в лесу, вешали на деревья, привязывали к ветвям или крестам на могилах; клали в гроб покойнику; бросали в реку, в озеро, в болото — места обитания многочисленных, по определению христиан, «бесов», самой разнообразной нечисти, которой язычники и двоеверцы долгое время и после Крещения Руси продолжали поклоняться, задабривая их своими «молитвами» и дарами.

«Тех, которые жрут бесам, болотам и кладезям <...>, вразумлять всюю силою», — наставлял в XI в. митрополит Киевский и всея Руси Иоанн [Макарий: 252]. Но и в XIII в. язычники приносили жертвы болотам, о чем сообщал сборник церковных и светских законов — «Новгородская Кормчая книга» [Славянские древности 1: 229].

То, что крещеный князь Игорь «мосты мостил» — принес болоту языческую жертву, — не должно нас удивлять. Были еще между русскими христианами такие, которые придерживались языческих преданий и суеверий. Некоторые собирались у рек, болот, колодцев и там совершали свои моления, приносили жертвы идолам...» [Макарий: 267], — писал митрополит Макарий, сожалея о показном благочестии не только среди простолюдинов, но и среди князей, которые «ограничивали свое благочестие соблюдением только благочестивых обычаев внешними добрыми делами, а когда дело шло об удовлетворении страстям, открыто нарушали христианские заповеди» [Макарий: 275].

О том, что Игорь был «из тех князей», свидетельствуют исторические факты и текст «Слова о полку Игореве». В поход на половцев Игорь начал на Светлой седмице, не испрашивая благословения ни Церкви, ни великого князя Киевского Святослава. Цель похода — страстное искушение добыть славу, хотя истинные христиане знают,

что «всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал» (1 Пет. 1: 24); они помнят, что «домогаться славы не есть слава» (Притчи 25: 27).

Не остановило Игоря и солнечное затмение, которое, в представлении христиан, предшествует Суду Божию. Горе великое будет забывшим Бога: «И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня» (Амос 8: 9). «Солнце обратится во тьму, а луна — в кровь, до наступления великого и страшного дня Господнего», — предупреждал пророк Иоиль (Иоил 2: 31). «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми...», — наставлял евангелист (Мф. 5: 45).

Но слишком велико было «искушение славой», которая сулила «периферийному» князю Новгород-Северскому престол Князя Великого, ведь после первой же победы он благосклонно принял поднесенной дружиной «сребрено стружие» — священный символ великокняжеской власти. Но Бог гордым противится, и не помогли Игорю его «мосты». После разгрома дружины во втором бою он оказался в плену, где осознал свои грехи, и Бог «вымостил» ему путь на землю Русскую, послав Игорю еще одно знамение — вспыхнувшее в полночь небесное зарево: «Прысну море полунощи; идуť сморци мглами; Игореву Князю Богъ путь кажеť изъ земли Половецкой на землю Рускую... [Слово: 88].

Строку «Прысну море полунощи» комментаторы чуть-чуть подправляют на «Прыснуло море в полночь», а переводчики создают из нее замечательные картины разбушевавшегося моря в духе художников-маринистов: полночное море «взволновалось», «вспенилось», «разбушевало», «взыграло», «всплеснулось» и даже «вздыбилось»...<sup>1</sup>

Между тем слово *море*, кроме привычного значения «водное пространство с горько-соленой водой», «большое озеро» или «житейское море», обозначает ещё и стороны света — *западное* или *южное* направ-

---

<sup>1</sup> Прыснуло (В. А. Жуковский, М. Д. Деларю, А. Н. Майков, Д. С. Лихачёв); взволновалось (Первое издание, В. В. Капнист, К. Д. Бальмонт); вспенилось (О. В. Творогов); взбушевало (Р. О. Якобсон); взыграло (Г. П. Шторм, Н. А. Заболоцкий); плеснуло (А. Ю. Чернов, С. В. Шервинский); всплеснуло (Э. Я. Гребнева, Ю. В. Подлипчук); заплескало (С. Шамбинаго, В. Ржига); моросью повеяло (В. П. Тимофеев); вздыбилось (И. А. Новиков); и др.

ление. Сравним: «...И поставил тамо кущу свою въ Вефили *при мори*» (Быт. 12: 8). Синодальный перевод: «...и поставил шатер свой так, что от него Вефиль был *на запад*...». Еще один пример из книги Бытия. Во сне Иаков увидел Господа и услышал Его слова: «Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к *морию* и к востоку, и к северу и к *полудню*; и благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные» (Быт. 13–14). Вот пример из Псалтири: «Славьте Господа, ибо Он благ <...> Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, и собрал от стран, от востока и запада, от севера и *морья*» (Пс. 106, 1–3). А это пример из «Канона во Святую и Великую Неделю Пасхи и во всю Светлую седмицу» (песнь 8): «Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко Богосветлая светила, от запада, и севера, и *морья*, и востока чада Твоя, в тебе благословящая Христа во веки».

Добавим к этому, что, по В. И. Далю, «прыскать» имеет значение, близкое к словам «вспыхнуть», «разгореться», «запылать»: «*Прыск*, жар угольный, порск, особ. в кузнечном горну. *Вят.* самый жар <>. *Прыскучий жар*» [Даль 3: 530].

У слова «прыснуть» есть близкий, хотя и не очень благообразный родственник — «прыщ» (образовано с помощью суффикса -j- от прыскъ) — результат воспаления. Воспаление — это жар, «воспламенение» тела. Но не только тела. По В. И. Далю, возможно и «*воспаление от огня*». Это «состояние предмета, который загорается, воспламеняется. *Воспалитель* м. — *ница* ж. кто поджигает, разжигает, воспалает. *Воспалительный*, горький, горючий, легко воспламеняющийся <...>. *Воспалимость*, воспламеняемость, возгораемость, горючесть» [Даль 1: 249].

О том, что «прыщи» (а значит и слова «прыснути», «прыснуло») были прямо связаны с процессом *горения* устанавливают и примеры, приведенные в «Словаре» И. И. Срезневского: «Прыщъ — <...> отъ възгараяштиихъся прыштии, акы на оугльхъ лежаштя». *Изб. 1073 г. л. 173.* И прыщии възгараящеса отъ пещьнаго попела (φλυχτιδες). *Гр. Наз. XI в. 312*» [Срезневский: 1615].

Становится очевидным, что в данном фрагменте: «Прысну море полунощи; идуць сморци мъглами; Игореви Князю Богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю Рускую» речь идет о ещё одном знамении. Только в первом случае, в начале похода Игоря, знамение (затмение солнца) преграждало путь князю, предостерегало его от безрассудного

набега на Степь, а потом, когда князь оказался в плену, знамение (зареве на небе в полночь) указало ему путь спасения, путь на родину: «Игореви Князю Богъ путь кажетъ» [Слово: 88].

Преодолев все препятствия, Игорь вернулся в Киев, в церковь Богородицы Пирогощей — храм Успения Божией Матери на Подоле. Вернулся как блудный сын к Отцу, восстав из мертвых: «...сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15: 24). И возликовала земля Русская: «Солнце свѣтитя на небесе, Игорь Князь въ Руской земли. Дѣвици поють на Дунаи. Вьются голоси чресь море до Кіева, Игорь ѣдетъ по Боричеву къ святѣй Богородици, пирогощей страныради. Гради весели [Слово: 90].

Таким образом, мы доказали неуместность всех ранее выдвигаемых гипотез относительно толкования выражения «мосты мостити», обозначили и подтвердили на ряде примеров новое и, на наш взгляд, справедливое и основательное разъяснение. В финале «Слова о полку Игореве» мы видим, что вернулся князь Игорь, можно сказать, по «мосту», который Бог ему «вымостил».

**Список литературы**

*Гальковский К. М.* Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 1, 2. М.: Индрик, 2000.

*Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. СПб.: Диамант, 1996.

*Лихачев Д. С.* Вступительная статья, редакция текста, дословный и пояснительный перевод с древнерусского, примечания // Слово о полку Игореве. М.: Детская литература, 1970. 223 с.

*Макарий, митрополит Московский и Коломенский.* История Русской Церкви. Книга вторая. М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. 703 с.

Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общей редакцией Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 1995–2012.

Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» / под ред. Б. Л. Богородского, Д. С. Лихачева, О. В. Творогова; сост. В. Л. Виноградова. Вып. 6. Л.: Наука, 1984. 278 с.

Слово о полку Игореве / подготовка текста, статья, перевод, комментарии Кожевников В. А. М.: Древлехранилище, 2003. 220 с.

*Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам: в 3 т. М.: Знак, 2003. 1861 стлб.

Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: в 5 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995.

### References

Gal'kovskii K. M. *Bor'ba khristianstva s ostatkami iazychestva v Drevnei Rusi*. T. 1, 2. [The struggle of Christianity with the remnants of paganism in ancient Russia. Vol. 1, 2]. Moscow, Indrik Publ, 2000. (In Russ.)

Dal' V. I. *Tolkovyi slovar' zhivogo velikoruskogo iazyka: v 4 t.* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language: in 4 vols.] St. Petersburg, Diamant Publ, 1996. (In Russ.)

Likhachev D. S. *Vstupitel'naia stat'ia, redaktsiia teksta, doslovnii i poiasnitel'nyi perevod s drevnerusskogo, primechaniia* [Introductory article, edition of the text, literal and explanatory translation from Old Russian, notes] *Slovo o polku Igoreve* [The Word of Igor's Regiment]. Moscow, Detskaia literature Publ, 1970, 223 p. (In Russ.)

Makarii, mitropolit Moskovskii i Kolomenskii. *Istoriia Russkoi Tserkvi. Kniga vtoraiia* [History of the Russian Church. Book Two]. Moscow, Izdatel'stvo Spaso-Preobrazhenskogo Valaamskogo monastyr'ia Publ, 1995. 703 p. (In Russ.)

*Slavianskie drevnosti: Etnolingvisticheskii slovar': v 5 t., pod obshchei redaktsiei N. I. Tolstogo* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols, edited by N. I. Tolstoy]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniia Publ, 1995–2012. (In Russ.)

*Slovar'-spravochnik "Slova o polku Igoreve"* [Dictionary-reference "The Word of Igor's Regiment"], ed. by B. L. Bogorodskiy, D. S. Likhachev, O. V. Tvorogov. Vyp. 6. Leningrad: Nauka Publ, 1984. 278 p. (In Russ.)

*Slovo o polku Igoreve* [The Word of Igor's Regiment], text preparation, article, translation, comments by Kozhevnikov V. A. Moscow, Drevlekhranilishche Publ, 2003. 220 p. (In Russ.)

Sreznevskii I. I. *Materialy dlia Slovaria drevnerusskogo iazyka po pis'mennym pamiatnikam: v 3 t.* [Materials for the Dictionary of the Old Russian language on written monuments: in 3 vols.]. Moscow, Znak Publ, 2003. 1861 col. (In Russ.)

*Entsiklopediia "Slova o polku Igoreve": v 5 t.* [Encyclopedia The Word of Igor's Regiment in 5 vols.]. St. Petersburg, Dmitrii Bulanin Publ, 1995. (In Russ.)



© 2020. В. Ю. Троицкий  
Институт мировой литературы им. А. М. Горького  
Российской академии наук  
г. Москва, Россия

### **Поэзия А. С. Пушкина последнего десятилетия жизни как выражение национального самосознания**

Автор статьи обращается к творчеству Пушкина последнего десятилетия его жизни, отмечая особую полноту мировосприятия поэта и масштаб его пророчеств. В работе доказывается, что поздние произведения Пушкина не просто передают взгляды и настроения поэта, но показывают его отношение ко времени, истории, государству. Для творчества Пушкина характерно воплощение в художественных образах лучших национальных особенностей, ощущение связи человека с Богом. Автор подчеркивает, что Пушкин был убежденным монархистом, осмыслявшим монархию с исторической и политической точек зрения как лучшую форму правления для России. В статье рассматривается ряд важнейших образов и понятий художественного творчества позднего Пушкина, открывающих широту его взгляда, проницательность его геополитических воззрений. Автор приходит к убеждению, что они могут быть осмыслены только с учетом православного мировоззрения автора. В работе отмечается органическая связь пушкинской мысли со святоотеческой традицией и выявляется важнейший смысловой акцент пушкинских поздних стихотворений. Всё пушкинское творчество утверждает течение жизни по Божественному замыслу. Поэт осмысляет саму жизнь как служение Богу, его замыслу и его творению — человеку и человечеству.

**Ключевые слова:** А. С. Пушкин, национальное самосознание, национальные типы, судьба Отечества, служение, поэтическое пророчество, духовное зрение, русский менталитет.

**Информация об авторе:** Троицкий Всеволод Юрьевич, доктор филологических наук, профессор, академик Российской народной академии наук, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25а, 121069, г. Москва, Россия

E-mail: info@imli.ru

**Дата поступления статьи в редакцию:** 18.11.2019

**Дата публикации статьи:** 24.03.2020

**Для цитирования:** Троицкий В. Ю. Поэзия А. С. Пушкина последнего десятилетия жизни как выражение национального самосознания // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 1. С. 16–XX. DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-16-61



This is an open access article  
distributed under the Creative  
Commons Attribution 4.0  
International (CC BY 4.0)

© 2020. Vsevolod Yu. Troitsky  
A. M. Gorky institute of World Literature  
of the Russian Academy of Sciences  
Moscow, Russia

### Poetry of Alexander Pushkin of the last decade of life as an expression of national identity

The author of the article addresses the work of Alexander Pushkin in the last decade of his life, noting the particular completeness of the great writer's worldview and the scale of his prophecies. The article proves that Alexander Pushkin's later works not only convey the writer's views and moods, but also show his relation to time, history, and the state. Alexander Pushkin's creative work is characterised by the embodiment in artistic images of the best national features, a sense of a person's connection with God. The author emphasises that Alexander Pushkin was a convinced monarchist, who interpreted the monarchy from the historical and political points of view as the best form of government for Russia. The article considers a number of the most important images and concepts of late Alexander Pushkin's art, revealing the breadth of his view, the insight of his geopolitical views. The author comes to the conclusion that they can be comprehended only taking into account the Orthodox worldview of the writer. The paper notes the organic connection of Alexander Pushkin's thought with the patristic tradition and reveals the most important semantic emphasis of Alexander Pushkin's later poems. All Alexander Pushkin's creative work affirms the course of life according to the Divine plan. The genius interprets life itself as a service to God, his plan and his creation — human being and humanity.

**Keywords:** Alexander Pushkin, national identity, national types, fate of Fatherland, mission, poetic prophecy, spiritual insight, Russian mentality.

**Information about the author:** Vsevolod Yu. Troitsky, DSc in Philology, Professor, A. M. Gorky institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25a, 121069, Moscow, Russia

E-mail: info@imli.ru

**Received:** November 18, 2019

**Published:** March 24, 2020

**For citation:** Troitsky V. Yu. Poetry of Alexander Pushkin of the last decade of life as an expression of national identity. Two centuries of the Russian classics, 2020, vol. 2, № 1, pp. 16–XX. (In Russ.) DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-16-61

Последнее десятилетие жизни А. С. Пушкина, несомненно, самое значительное в творческом отношении, включает стихотворения, свидетельствующие о той полноте мировосприятия и той степени художественного мастерства и проницательности, которые дают негласное основание ожидать от него поэтического пророчества. Появившийся в начале 1826 г. сборник «Стихотворения Александра Пушкина» был итогом сделанного ранее и укрепил мнение о совершенном возмужании его гения.

Личность поэта вполне определилась в отношении к многосложности жизни. И самый эпиграф («*Aetas prima canat veneres, extrema tumultus*»), вызвавший чисто политическое толкование Н. М. Карамзина («...зачем губит себя молодой человек?»), был исполнен иного смысла: «*extrema tumultus*» означало, несомненно, — смятение душевное. Душевное смятение — от понимания многосложности жизни. Нелучайно в начале названного десятилетия в один год (1826) появляются стихи столь различные по смысловому содержанию: и «Песни о Стеньке Разине», и «Пророк», и «Стансы», и «Зимняя дорога», наконец, «О муза пламенной сатиры...» и «На Александра I».

Все эти стихотворения отражают не сами по себе настроения и взгляды поэтической личности, но итоги состояний, наблюдений и размышлений, проникнутые умудрённым житейским опытом и освещённые несомненной широтой мировосприятия. Они передавали отношение ко времени («гнусный век») и нравственные уроки отечественной истории, где образ самодержца, который «не презирал страны родной: он знал её предназначенье», был живым свидетельством возможных надежд на будущее:

В надежде славы и добра  
Гляжу вперёд я без боязни.  
«Стансы», 1826. [Пушкин 2: 342].

Первые строки «Стансов» определяли настроенность поэзии по взгляду на будущее: «гляжу вперёд» и ожидание (с надеждой!) этого будущего. Более того, они передавали уверенность, веру в будущее как прозрение и предвидение. Так, в поэзии Пушкина зазвучали настроения, подводящие к цели и смыслу одного из пушкинских шедевров — «Пророку».

С первого стиха мысль поэта — «порыв из вещественного» [Пушкин 10: 211]: *духовная жажда* поэтически соотносится с *духовной пустыней*, духовной реальностью. И мрак здесь, очевидно — *духовный мрак*, образ, связанный с общим подавленным состоянием поэта после казни и ссылки декабристов («каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна») [Пушкин 10: 211]. И на этом мрачном, тёмном пути — явление Серафима, ангела, стоящего на высшей ступени небесной иерархии и приближенного к Божью престолу, ангела, самое имя которого означает «*пламенный*», то есть несущий свет, сразу преображает зримую картину произведения.

Вслед за этим преображением начинается восхождение к пророчеству самого поэта: раскрываются навстречу миру его помрачённый взор и приглушённый слух:

Перстами лёгкими, как сон,  
 Моих зениц коснулся он;  
 Отверзлись вещие зеницы,  
 Как у испуганной орлицы.  
 Моих ушей коснулся он,  
 И их наполнил шум и звон:  
 И внял я неба содроганье,  
 И горний ангелов полёт,  
 И гад морских подводный ход,  
 И дольней лозы прозябанье...

«Пророк», 1826. [Пушкин 2: 338].

Итак, мир, преображённый познаваемой истиной, видится по-иному: ведь в русском православном миропредставлении «*истина*» — от духовного рождения, а «истинность присуща духовной мудрости», она достоверна и потому пророчества, имеющие в основе Истину, — сбы-

ваются [Свт. Тихон Задонский 2: 19; 3: 57].

Истина видения и полнота восприятия — вот основание для пророчества, ибо судьба как то, что включает полноту исполнения, может осознаваться лишь через полноту прозрения и страдание. Такого рода мироощущение, типическое для русского национального менталитета [Безруков: 218], вполне отражается в «Пророке»:

И он к устам моим приник,  
И вырвал грешный мой язык,  
И празднословный и лукавый,  
И жало мудрыя змеи  
В уста замершие мои  
Вложил десницею кровавой.  
И он мне грудь рассек мечом,  
И сердце трепетное вынул,  
И угль, пылающий огнём,  
Во грудь отверстую водвинул.  
«Пророк», 1826. [Пушкин 2: 338].

Пройдя через преодоление страха и страдания, Пророк не остаётся богооставленным. К нему, преображённому и духовно воскресшему, взывает Господь:

Встань, пророк, и виждь и внемли,  
Исполнись волею моей,  
И обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей!  
«Пророк», 1826. [Пушкин 2: 338].

Так воплощается в представленном образе черта национального характера и то свойственное русскому духу упование на Бога, которое подспудно ощущается и в «Стансах» (1826), где вполне передано желание, высказанное ещё Г. Р. Державиным — «истину царям с улыбкой говорить»...

Сравнение времени царствования нового императора со временем царствования его выдающегося предшественника Петра Великого отнюдь не дань лести, но убеждение, в основе которого — не просто наде-

жда, а, прежде всего, изменение общего настроения, свершившееся после декабристского восстания, настроения, ещё раз подтверждающего убеждённый монархизм поэта. Этот «монархизм Пушкина не есть просто преклонение перед незыблемым в тогдашнюю эпоху фактом, перед несокрушимой в то время мощью монархического начала (не говоря уже о том, что благородство, независимость и абсолютная правдивость Пушкина совершенно исключают подозрение в каких-либо лично-корыстных мотивах этого взгляда). Монархизм Пушкина есть глубокое внутреннее убеждение, основанное на историческом и политическом сознании необходимости и полезности монархии в России...» [Франк: 53]. И этот монархизм (вновь подтверждённый в «Стансах») не исключал, а предполагал развитие просветительских стремлений и веры в своё Отечество:

Самодержавною рукой  
Он смело сеял просвещение...  
Не презирал страны родной,  
Он знал её предназначенье  
«Стансы», 1826. [Пушкин 2: 342].

Это была и вера в царственного Наследника (пусть в форме пожелания ему быть подобным пращуру, который «неутомим и твёрд» и «памятью... незлобен»). Всё это, разумеется, уже совсем не похоже на юношеский задор, на мечтания об «обломках самовластья». Напротив: здесь чувствуется солидарность и единение с тем, кто *поставлен* служить России.

Есть произведения, в которых воспроизведение какой-либо стороны национальной жизни и её поэзия высказываются во всей полноте и целостности непосредственных наблюдений, сокровенно воспринимаемых деталей и образов. Так, одна небольшая картина вмещает многие стороны народной жизни в непосредственности настроений и переживаний, соприродных важным сторонам национального самосознания. «Зимняя дорога» именно такой эпико-лирический шедевр, в котором угадываются через контрастные образы те сокровенные ощущения-настроения, которые так близки русскому сердцу:

По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит.  
Колокольчик однозвучный  
Утомительно гремит.

«Зимняя дорога», 1826. [Пушкин 2: 344].

Это стихотворение венчает вереницу лирических зарисовок: «Зимний вечер» (1825), 19 октября («Роняет лес багряный свой убор...» (1826)), «Какая ночь!...» (1827) и др., составляющих живописную симфонию переживаний, вдохновлённых картинами русской природы и вызванными ими чувствами, наиболее отвечающими типическим впечатлениям и состоянию русской души. Души, полной характерных контрастов и почти непередаваемой словами — гаммы эмоционально-образных обертонов и настроений. Настроений, органически связанных с тем, что поэт определял как образ мыслей и чувствований народа.

Такие картины воплощают широту русского пространства. Поэтому *образ дороги*, пролегающей в бесконечную (а потому и «однообразную», как бы «скучную» своею бесконечностью) даль приобретает внутренний художественный смысл. Ведь неслучайно и у Н. В. Гоголя образ Руси-тройки, несущейся по дороге, устремлённой в «пропадающую даль», и у А. Н. Некрасова благодарение Родине («Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор»), поражающей своею необозримостью.

Этот национально окрашенный образ сам по себе означает сокровенность связи поэта и народа, которая проявляется во внутреннем видении и переживании окружающего мира, прежде всего — родной стороны. Эта духовная «власть земли» и чувство русского пространства вполне овладело поэтом. Поэтому лирические стихи о природе, пейзажи его поэм и романа «Евгений Онегин» столь созвучны глубинно-русскому мировосприятию. Оно то и раскрывается в сжатой до предела формуле настроений, отзывающейся в ямщицкой песне:

Что-то слышится родное  
В долгих песнях ямщика:  
То разгулье удалое,  
То сердечная тоска.

И следующая строка в сущности завершает эту словесную симфо-

ническую миниатюру до боли знакомыми зрительными кадрами:

Ни огня, ни чёрной хаты.  
Глушь и снег. Навстречу мне  
Только вёрсты полосаты  
Попадают одна...

«Зимняя дорога», 1826. [Пушкин 2: 344].

Последующие строки, относящиеся к близящейся встрече с милой, были бы обыденными и убогими без упомянутых картин. И напротив: следуя за этими картинами, они наполняются именно национальным русским содержанием и смыслом: и характер встречи, и её участники воспринимаются нами как незнакомые знакомцы, соотечественники.

Стихотворение это по настроению удивительно соответствует одушевлённому состоянию поэта, каким оно вырисовывается из жизненных фактов и творческих свершений этого времени: сквозь душевное смятение и столкновение противоречивых мыслей и чувствований начинают проступать контуры новых жизненных представлений, иная, чем ранее, сокровенно-национальная позиция во взглядах на мир.

Поэт не отказывается от прежних идеалов и привязанностей, но они очень постепенно наполняются новыми смыслами, и возникают образы, несущие иные прозрения. Но прежде всего он настойчиво пытается утвердиться в целях и задачах своего дарования, в своём назначении, в призвании поэта. В это время появляются «Арион» (1827), «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), а позже — «Поэту» (1830), «Ответ анониму» (1830).

Из гаммы многосложных и, казалось бы, противоречивых суждений, представленных в этих произведениях, постепенно складывается образ поэта, *обречённого своему призванию и ответственного перед ним.*

Вместе с тем, определяется и собственно русский взгляд на поэтическое творчество, которое осознаётся им как «свободное, самозабвенное, художественное созерцание сердцем. Из-за этого и вследствие этого он был истинно русским и насквозь русским» [Ильин 6: 200].

Образ поэта в «Арионе» сохраняет черты некоторого своеволия («беспечной веры полн») и неопределённости («таинственный певец»), но здесь весьма откровенно определена идейная преемственность его поэзии («Я гимны прежние пою»).

Однако «гимны прежние» не были однозначны по содержанию и па-



фосу. Это была не только верность иным декабристским идеалам. Патриотическая лирика, являвшаяся отзвуком войны 1812 г., несомненно, присутствовала в поэтическом сознании поэта как неотъемлемая часть его творческого наследия. И всякое творческое пробуждение, несомненно, было живым и непосредственным *итогом*, его откликом на «божественный глагол», откликом нелицеприятным и соответствующем высоте призвания к «священной жертве» («Поэт», 1827). [Пушкин 3: 22].

Движение к высоте поэтического созерцания, к поднебесной высоте истины невозможно, когда

В заботах суетного света  
Он малодушно погружён.

Это малодушие, то есть сон души («хладный сон»), духовная дремота до поры до времени — типическая черта русского национального характера — вольно или невольно отразившаяся здесь. Но эта «духовная дремота» или «хладной (бездушный) сон» — *до поры*. И самое *преображение* к творчеству, запечатлённое в стихотворении «Поэт», таит в себе названное национальное свойство русского человека, позже отмеченное Ф. М. Достоевским: способность «подниматься духом в страдании, укореняться политически в угнетении и, среди рабства и унижения, соединяться взаимно в любви и Христовой Истине» [Достоевский 23: 103]. Именно поэтому происходит отчуждение от «света», от мира, возвышение до надмирных высот духа:

Душа поэта вострепелётся  
Как пробудившийся орёл.  
Тоскует он в забавах мира,  
Людской чуждается молвы.  
К ногам народного кумира  
Не клонит гордой головы.  
Бежит он, дикий и суровый,  
И звуков и смятенья полн,  
На берега пустынных волн,  
В широкошумные дубровы...

«Поэт», 1827. [Пушкин 3: 22].

Национальный взгляд на призвание, служение, подвиг воплощается в убеждении о независимом (абсолютном) долге поэта, не связанном никакими сторонними узами, самодостаточному и подчинённому лишь Высшему началу. Отсюда — художественная логика стихотворения «Поэт и толпа» (1828), приводящая к смысловому завершению диалога, ведущегося между поэтом и толпой:

Не для житейского волненья,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв.

«Поэт и толпа», 1828. [Пушкин 3: 89].

Эти строки некогда трактовались как выражение гордой независимости поэта от мнений и притязаний «толпы», от традиционных верований и представлений. Но стоит только исторически осмыслить каждое слово, включённое в эту пушкинскую строфу, чтобы осознать её истинный смысл. Под *житейским* разумеется обыденное, бытовое, повседневное, суетное. Но суетность, суета в понятиях русского языка — это: ничтожность, бестолковость, беспорядочность. *Суетный* — это напрасный, пустой, плотски-земной, безумный. Уточнив спектр предметных смыслов слова «житейский», смысл, скрытый от поверхностного взгляда, мы должны будем по-иному воспринять пушкинский стих. Ведь для восприятия русских людей пушкинской эпохи, для соприродного им православного сознания «житейское волненье», суета — это *прелесть*, «обман князя тьмы», безумие, ложное и тленное, удаляющее от духовной жизни, от Бога. Согласно православным представлениям, «Господь удаляется от человека, живущего в суете» [Свят. Тихон Задонский 5: 92]. «Житейское волнение» не соответствует высокому званию христианина, ибо приводит к забвению вечности.

Слово *волненье* тоже требует осмысления. Волненье — состояние возбуждения, пылкость, вожделение, беспорядочная смена и несдержанность чувств и впечатлений, жизненные, суетные треволнения, наконец, открытое выражение неудовольствия, негодование, бунт и пр. Всё это вполне соответствует понятию «страсти», которые православная традиция рассматривает как «внутренние идолы в сердце челове-

ка», как злые помыслы, делающие человека своим рабом и рабом греха.

В этом отношении *страсти*, согласно православному миропониманию, *противостоят свободной человеческой жизни*. Ведь жизнь, достойная человека, — всегда непринуждённое утверждение собственно человеческих свойств и достоинств, то есть духовных начал. Поэтому так глубоко прав Ф. М. Достоевский, поясняющий: «В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведёт лишь к рабству вашему» [Достоевский 25: 62].

Таким образом, приоткрывается обнажённый (заострённый) смысл приведённых строк: человек рождён не для безумия, не для ничтожной земной бестолковости и суетности, не для безбожного следования греху, но для Высшего, значительного, оправдывающего его человеческое существование, предметного духовного жития.

Вникая в смысл последующих стихов мы приходим к следующему. *Корысть* — это жадность, любостяжание, стремление к наживе, деятельная зависть к чужому. Всё это, согласно православному миропониманию, противостоит милосердию и любви. Истинная любовь требует жертвенности, милости. И в этом христианин должен следовать Божьим заповедям. Корысть же свидетельствует об отсутствии христианского духа и веры, ибо всё, что имеешь, Божие. Бескорыстие — истинно человеческое состояние добродетельной жизни. Последняя отрицаемая установка: «не для битв» требует особого пояснения. Ведь вся жизнь наша — сплошная борьба.

Битва — это бой, большое сражение, драка, брань, убийство, побоище. Слово это по смыслу противостоит таким словам, как мир и покой. Согласно православным представлениям, Бог не принимает ни покаяния, ни молитвы того человека, у которого нет мира с ближним. Заметим, что в поэтическом тексте Пушкина слово это, поставленное в ряд со словом «корысть», приобретает известную смысловую «сниженность», направляя мысль к понятию суетных битв, бытовых столкновений. Память о больших битвах, исполненных благородных стремлений, защиты чести и Отечества *отодвинута* упомянутым смысловым соседством. Вместе с тем *битва* — лишь переходный мостик к цели — к покою, гармонии, к ладу и миру, в котором и осуществляется земное

внутреннее очищение, созидательное совершенствование, развитие и плодотворная жизнь человека и народа. Поэтому не для битв *рождён* человек, хотя в силу греховности мирской и проводит большую часть жизни в неизбывных бранях. Так определяется истинный смысл первой части заключительной строфы.

Обратившись ко второй её части, мы обнаруживаем три смысловых узла, определяемых словами: «для *вдохновенья*, для *звучков сладких* и *молитв*». Следует понимать, что по природе своей человек склонен к *вдохновению*, которое, по словам поэта, есть «расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следовательно и объяснению оных» [Пушкин 7: 57], и созвучно словам «воодушевление», «состояние духовного подъёма» и даже «озарение Свыше». Когда «Божественный глагол», касаясь слуха поэта, окрыляет его душу, человек ощущает внезапную помощь своим духовным силам.

Слово «*звучки*» имеет значение «поэзия», «поэтическое творчество». *Сладкие*, то есть услаждающие ум, чувства и доставляющие радость плоды творчества — цель человеческой жизни, отнюдь не только в области поэзии, смысл жизни истинного поэта. Наконец, заключительное слово, выражающее смысл строфы — *молитва*. Оно означает, прежде всего, признание над собой в мире Всевышнего, Творца. Взгляд молящегося не замыкается на человеке, даже на его сознании, а поднимается над видимым миром, образуя представление о мире горнем, о святости Высшего, о Господе. Ибо, по православным представлениям, соприродным русским культурным традициям, молитва — беседа с Богом, благодатная связь с Ним, окрыляющая человека, согласие человека с Его заповедями, смиренное благоговение перед Господом и обращение за помощью к нему в праведных и добрых делах. Истинная молитва для православного сознания — прелюдия всякого доброго дела, творимого на земле. Итак, содержательный смысл пушкинских слов вполне соответствует русскому православному самосознанию, слова поэта являются наглядным его выражением.

То же можно сказать и о стихотворении «Поэту» (1830), которое в поэтической форме воспроизводит живую картину отношений *поэта* и толпы, *правды* и мнений. Правда поэта не должна зависеть от чьих бы то ни было мнений, и один в поле воин на путях к ней. Все эти настроения соответствуют внутреннему строю национального самосознания, опирающегося на *идею* святой правды, правды-Истины, которая сама

по себе цель и служить которой можно только «не требуя наград за подвиг благородный», пренебрегая минутным шумом восторженных похвал и тем более любым презрением и осуждением.

Историческая мысль поэта уже вполне созрела к 1827 г., и взгляд сквозь «исторический кристалл» обрёл полноту восприятия исторического мира, вполне проявляющуюся в трагедии «Борис Годунов», где поэтом двигало прежде всего чувство уважения к минувшему. Но самое минувшее предстаёт как трагедия человека и народа, как духовная драма, имеющая корни в *личной* и *народной* судьбе того смутного времени. Обстоятельства жизни настраивали поэта на переосмысление прежних представлений. Укажем лишь на один характерный эпизод. Когда в 1826 г. С. Д. Полторацкий показал А. С. Пушкину список оды «Вольность», поэт не хотел даже взглянуть на эту оду, а дописав незаконченное в списке Полторацкого стихотворение «Кинжал», «под ним подписался: «не А. Пушкин».

Сохраняя «вольнлюбивые мечты», он всё более проникается чувством ответственности, ощущением своей роли национального поэта. «Борис Годунов» окончательно утвердил за ним это место. В трагедии воплотилась и нашла высочайшее выражение полнота исторического изображения, присутствующая у Шекспира, «который никогда не боится скомпрометировать своего героя», «заставляет его говорить с полнейшей непринуждённостью, как в жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и в надлежащих обстоятельствах он найдёт для него язык, соответствующий его характеру» [Пушкин 10: 161].

Язык, соответствующий характеру; исторический колорит эпохи; жизненный конфликт, соответствующий исторической истине; наконец, стремление охватить целостную картину времени, в которой намечаются признаки исторической закономерности — всё это органически связано с выявлением национального самосознания, с внутренними генетическими предпосылками развивающихся действий. Настроения и устремления героев и толпы, царя и народа, причастного к трагедии постоянным в ней присутствием, наконец, образ-характер юродивого и его голос в историческом многоголосье, — всё предваряет полноту исторической очевидности, живую многосложность и целостность исторического видения. При этом пушкинская трагедия исходит из того, что «драма родилась на площади», что она «стала заведовать страстями и душою человеческою» [Пушкин

10:161].

Итак, душа человеческая и душа народная — вот, собственно, предмет поэтического изображения времён Годунова. Именно отсюда и ведётся отсчёт в определении русского национального самосознания, отразившегося в «Борисе Годунове» [Пушкин 5: 219–330]. Кремлёвские палаты предстают как место и исход начавшейся драмы, а *совесть* — как центр и исход неоспоримого конечного суда над происходящим. «Ужасное злодейство», дотоле даже скрытое от молвы, согласно национальному мироопределению, неизбежно обнаружится либо как обличающее слово, либо как поворот судьбы (суда Божия), которого никому не миновать. И те, кто наряжен «вместе город ведать», князья Воротынский и Шуйский, единокоренны в своих представлениях о добре и зле, хотя открыто судит обо всём лишь прямослов Воротынский («ужасное злодейство», «зачем же ты его (организатора убийства — В. Т.) не уничтожил?», «нечисто, князь», «верно, губителя раскаянье тревожит...»). Но правда-истина неистребима. Неистребима и сила молитвы («Мы все пойдем молить царицу вновь, / Да сжалится над сирью Москвою / И на венец благословит Бориса»), к которой прибегают все («Молитесь — да взыдет к небесам / Усердная молитва православных»). Неистребимо и сознание народной общности («...и в поле даже тесно / ... Вся Москва сперлася здесь»), коренящейся в подсознательном, но неизбывном чувстве ответственности быть причастными судьбе государства, глубоком, иногда неосознанном вполне чувстве самосохранения через единство государственного бытия. Это присущее национальному самосознанию чувство то гаснет, то снова вспыхивает, но неизменно присутствует в сердцах всех героев.

Все они в той или иной мере наделены чувством ответственного отношения к своему *месту* и сознанием нравственных основ, предначертанных православному образу правления. Тем же проникнут несомненно искренний монолог царя Бориса в Кремлёвских палатах:

Ты, отче патриарх, вы все, бояре,  
 Обнажена моя душа пред вами:  
 Вы видели, что я приемлю власть  
 Великую со страхом и смиреньем.  
 Сколь тяжела обязанность моя!  
 Наследую могущим Иоаннам —

Наследую и ангелу-царю!..  
О, праведник! о мой отец державный!  
Воззри с небес на слезы верных слуг  
И ниспошли тому, кого любил ты,  
Кого ты здесь столь дивно возвеличил,  
Священное на власть благословенье:  
Да правлю я во славе свой народ,  
Да буду благ и праведен, как ты.  
[Пушкин 5: 219–330].

Первое, что обращает на себя внимание в этом монологе — ещё не утраченное, не ставшее одною внешнею привычкою и ритуалом религиозное сознание духовно-нравственной ответственности царя. Слова его ни при каких условиях невозможно признать формальными или тем более — лицемерными. Они — всплеск сокровенного чувства, знамение состояния всего существа. Ибо он не может мыслить, что его избрание — случайность или расклад подготовленных (в том числе и им самим) обстоятельств («Умел и страхом, и любовью, / И славою народ очаровать»), но в глубине души убеждён, что это Божья воля. А значит... Что это значит — на этот вопрос царь Борис не знает ответа и боится его... Ибо русскому национальному самосознанию присуще чувство и вера в торжество (рано ли, поздно ли) несомненной правды-справедливости и добра. И это торжество добра неизменно означает суд Божий, *судьбу*. И если Господь, несмотря на грехи, «дивно возвеличил» Бориса (это ли не любовь?), то простил ли он ему нераскаянный грех соучастия в убийстве? Борис просит «на власть благословенье», хотя уже и получил эту власть. Но его обнажённая душа, принимающая «власть великую со страхом и смирением», неспокойна, хотя он вполне владеет собой, и потому его слова к праведнику Феодору, к «державному отцу», звучат как скрытое обещание впредь никогда не согрешать: «Да буду благ и праведен как ты».

Следующая сцена («Ночь. Келья в Чудовом монастыре») включает потрясающий своей проникновенностью монолог Пимена. В нём явно выражено национально-православный взгляд на развёртывающиеся события и свойственная ему оценка исторических лиц, основанная на религиозном восприятии свершающегося во времени. Пимену не свойственно олимпийское спокойствие; он смиренно исполняет

своё дело, не осуждая деятелей, но сочувствуя падшим и молясь о тех, кто совершил грех. Ибо для него история — не то, что зависит только лишь от воли человека, но прежде и более всего (говоря словами учёного) «действие некоторой Высшей сознательной и видящей силы» [Тихомиров: 19]. Поэтому столь смиренно наставляет он судить о властях, не отрицая их преступления, но и не беря на себя права осуждать их «за грехи, за тёмные деянья», а лишь умоляя о них Спасителя. Поэтому «потомки православных»

Своих царей великих поминают  
 За их труды, за славу, за добро —  
 А за грехи, за тёмные деянья  
 Спасителя смиренно умоляют.

Сцена завершается словами инок Григория, словно отвечающими на скрытое обещание Бориса быть праведным:

И не уйдешь ты от суда мирского,  
 Как не уйдешь от Божьего суда.

Но сам Григорий надеется на такой оборот дел («...буду царём на Москве»). И мысль эта связана с сознанием, что соучастник убийства царевича Борис стал царём, помазанником Божьим, то есть от суда ушёл, по крайней мере, на время. Неверие — не просто грех, это — недальновидность. Григорий недальновиден гораздо более, чем Борис, который, согрешив, трепещет и кается. Пушкин начинает в «Борисе Годунове» *тему русского национального покаяния*, развивавшуюся во всей драме и завершённую последним земным судом над Борисом (глас народа — глас Божий).

Эсхатологичность русского национального самосознания вполне отражается в знаменитом монологе Бориса в Царских палатах («Достиг я высшей власти...»). Он, казалось бы, находящийся на вершине судьбы, на самом деле постоянно терзаем ею («счастья нет моей душе») и грезит несчастьем («предчувствую небесный гром и горе»). И все добрые усилия его власти оборачиваются печалью: желание «свой народ / В довольствии, во славе успокоить, / Щедротами любовь его снискать» не получило отзыва («они любить умеют только мертвых»). Прокляти-



ями против власти завершаются и благотворительные акты во время голода («Я отворил им житницы, / я злато / Рассыпал им, / я им сыскал работы»), и строительство домов после пожара («я выстроил им новые жилища») — ничто не вызывает благодарения, но либо —подозрения, либо — прямую неблагодарность...

Ища успокоение в *совести*, Годунов духовно прозревает:

Но если в ней единое пятно,  
Единое, случайно завелось,  
Тогда — беда! как язвой моровой  
Душа сгорит, нальется сердце ядом,  
Как молотком стучит в ушах упрек,  
И все тошнит, и голова кружится,  
И мальчики кровавые в глазах...  
И рад бежать, да некуда... ужасно!  
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Трагедия царя Бориса — это *трагедия русской совести*, поражённой тяжким грехом. Она по национально-генетическому образу своему словно предопределена либо стремиться к святости, приближаясь к ней, либо исходить мукою, безысходно терзаясь язвою порока или свершённого преступления. Смута в душе государя неразрывно связана со смутой в его государстве. А история его участия в преступлении становится исходной точкой для преступника-самозванца, выдающего себя за царевича Дмитрия. В этом мистическая логика русского национального самосознания.

Народная молва о преступлении воскресает в словах юродивого, являющегося воплощением обнажённой правды под маскою непонятливой наивности или детской непосредственности («устаи младенца глаголет истина»). А предсмертная исповедь царя Бориса перед сыном вновь подтверждает её, ибо самозванец «именем ужасным ополчен». Имя убиенного царевича вызывает ужас царя.

Народ, приветствующий Дмитрия, — это ли не апогей его замысла? Но укравший имя — грешен не менее, чем погубивший душу. А гибель детей Годунова немедля отрезвляет толпу. Эта неперемнная сопричастность невинно пострадавшим, национальное свойство всею душой сочувствовать невинному резко меняет настроение готового было при-

сгнать Дмитрию народа: «Народ безмолвствует».

Так в поворотах сюжета трагедии А. С. Пушкина проявляются черты русского национального самосознания во взглядах на исторического человека. Так одухотворённая гением Пушкина история вновь и вновь убеждает в глубоком проникновении поэта в свойства национального характера.

«Полтава» (1828), написанная три года спустя, явилась как историческое происшествие, в котором события русской истории были объединены выдающейся исторической личностью Петра Великого, воплощающей собою многие типические черты русского характера и одновременно олицетворяющую одну из ярких картин русской истории, в которой этот характер раскрылся с достойной полнотой. История и исторические личности получили в этом поэтическом произведении совершенное выражение, ибо выявились в наиболее глубоких исторических действиях, знаменующих историческое преобразование национальной жизни. Центральное событие — Полтавское сражение — явилось апогеем проявления русского духа в то время. Этому отнюдь не мешало некоторое отступление от исторических фактов. Ведь основные источники поэмы: «История Малой России» Д. Н. Бантыша-Каменского и «Деяния Петра Великого» И. И. Голикова, а также «История Петра Великого, от рождения его до Полтавской баталии и взятия в плен остальных шведских войск при Перевологине», сочинённая Феофаном Прокоповичем в Санкт-Петербурге в 1773 году, материалы которой вошли в названные исторические сочинения, достаточно внимательно изучались Пушкиным.

Не вдаваясь в многостороннее исследование поэмы, постараемся обнаружить те её стороны, которые с наибольшей полнотой отражают национальный взгляд на время и события, в ней представленные, со стороны отражения в них черт национального самосознания.

Название поэмы «Полтава» есть акт поэтической мысли поэта. С этим именем связан победный поворот всего петровского царствования и утверждения законного места России и русских (именно *русских*, а не только великороссов!) в европейской истории. Ещё В. Г. Белинский охарактеризовал «Полтаву» как отражение «величайшей эпохи русской истории», при изображении коей Пушкин «воспользовался величайшим её событием Полтавскую битвою, в торжестве которой заключается торжество всех трудов, всех подвигов, всей реформы Пе-

тра Великого» [Белинский 6: 342]. Критик усмотрел также, что «Полтава» «богата новым элементом — народностью в выражении». Поэтому в картинах, сюжете, идейном замысле и пафосе этого произведения не могли не отразиться элементы национального самосознания в эпоху, изображённую поэтом, но главное — во время обращения к ней Пушкина. Смысл поэмы заключается в отражении национального самосознания пушкинского времени.

В фундаментальном исследовании этой поэмы Н. В. Измайлов, касаясь исторического события, положенного в основу поэмы, характеризует его как «поворотный пункт всей новой истории России, определивший её путь на столетие вперёд». Исследователь одновременно указывает, что Пушкин не случайно требовал от этой исторической поэмы «строгой правды и соответствия данным источников в характерах исторических лиц и в мотивировках действий и речей» [Измайлов: 117].

«Строгая правда» истории определила значение поэмы как произведения, ставящего *вопрос об историческом долге и достоинстве России как корневой державы славянского мира*. Ведь сюжет поэмы органически включает проблему измены внутри славянского родственного единства. Мазепа же выступает по существу своему не только как противник Петра («изменник русского царя»), но как противник единства, защитник «самостийности» и раскола славянского родства.

Две семейные измены отражены в поэме. Одна — измена славянской семье, измена Мазепы Петру; вторая — измена Марии своей семье и соединении с Мазепой. Два изменника соединились: Мазепа и Мария. Три верных долгу — остались в единстве, даже после казни одного из них: Пётр, Кочубей и Искра, — стоящие за Россию, против измены, за единство.

Так художественно мотивируются отношения между противоборствующими героями и вырисовывается фигура Петра, олицетворяющего Россию и сплочённость славянских сил, ибо он, сражаясь под Полтавой, единственный из всех, говоря словами поэта:

В гражданстве северной державы,  
В её воинственной судьбе  
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы  
Огромный памятник себе.

Себе *как* представителю нации, себе *как* защитнику единства народа, себе *как* защитнику славянства от «немцев» и победителю захватчиков.

Вместе с тем в поэме живо отражён характер русского человека, каким он сформировался в истории. И это более всего выявляется как в описании Полтавской битвы, так и в последовавшем за ней победном пире, где свойственное национальному русскому типу отсутствие злопамятства и великодушное отношение к побеждённому противнику выражено особенно отчётливо:

Пирует Пётр. И горд и ясен  
И славы полон взор его.  
И светлый лик его прекрасен  
При кликах войска своего

В шатре своём он угощает  
Своих вождей, вождей чужих,  
И за учителей своих

Заздравный кубок поднимает [Пушкин 4: 299].

Глубина, свойственная национальному характеру, чем далее, тем более ощущается поэтом. Но одновременно вызывает ещё одно типичное народно-национальное чувство — тяготение к Высшему, ощущение Абсолюта, Истины и осознание собственного несовершенства. Оно поэтически выражается в мотивах покаяния, проявляющихся в поэзии этих лет.

Прежде всего, стоит обратиться к «Воспоминанию» (1828), может быть, наиболее откровенному выражению сокровенных чувств, переполняющих поэта, передающему «змеи сердечной угрызенья». Раньше они не были столь отчётливы и переживались лишь как боль от «сердца ран». Теперь же они наполнились иным глубоким смыслом, соотносясь с размышлениями о смысле жизни и горьким осознанием греховно пройденного пути:

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,  
Теснится тяжких дум избыток;  
Воспоминание безмолвно предо мной  
Свой длинный развивает свиток.

И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуясь, и горько слёзы лью,  
Но строк печальных не смываю.  
«Воспоминание» (1828). [Пушкин 3: 60].

Двойственный смысл последнего стиха представляется не случайным: «не смываю» значит «не хочу смыть» и одновременно «не могу смыть». Отсюда и ощущение трепета, и проклятие, и отвержение, как бы *прелюдия покаяния*. Но покаяния, истинно национального, православного русского чувства раскаяния здесь ещё нет. В последующих стихах идёт смятенное осмысление жизни: и минуты отчаяния, возникающие при этом, вызывают ропот и ощущение бессмысленности бытия. Нахлынувшие чувства выливаются в другой поэтический шедевр:

Дар напрасный, дар случайный  
Жизнь, зачем ты мне дана,  
И зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью  
Из ничтожества воззвал,  
Душу мне наполнил страстью,  
Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:  
Сердце пусто, празден ум,  
И томит меня тоскою  
Однозвучный жизни шум.

«Дар напрасный, дар случайный...» (1828). [Пушкин 3: 62].

Ощущение бесполезности и случайности бытия, его враждебности человеку, представление о безначальности судьбы, ощущение того, что «ум с сердцем не в ладу» — всё смешалось здесь в единой безысходности настроений. И сквозь прежнюю живую переполненность чувств, «волненьем жизни утомлённый, / оставя заблуждений путь») [Пушкин 3: 104], поэт всё чаще отдаёт предпочтение одухотворённым чувствам

перед кипением страстей. «Возвышение» чувств происходит одновременно с постепенным обретением иных жизненных настроений, проникнутых умиротворённым отношением к жизни, духовно-философическим настроением:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,  
Вхожу ль во многолюдный храм,  
Сижу ль меж юношей безумных,  
Я предаюсь моим мечтам...

...День каждый, каждую минуту  
Привык я думой провожать,  
Грядущей смерти годовщину  
Меж их стараясь угадать...

...И хоть бесчувственному телу  
Равно повсюду истлевать,  
Но ближе к милому пределу  
Мне всё б хотелось почивать...

...И пусть у гробового входа  
Младая будет жизнь играть  
И равнодушная природа  
Красою вечно сиять...

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829) [Пушкин 3: 135–136].

Многообразие жизненных впечатлений, переплавленных глубинным жизненным опытом, раздумьями о сущности бытия и смысле существования, завершается здесь гимном вечной жизни и красоте, которая не только *есть*, но *вечна*. Смысл *настоящего* бытия уже в том, что оно служит началом *будущего*. И ему поэт может сказать: «Да будет!». И ещё одно важное обстоятельство: «...бесчувственному телу / Равно повсюду истлевать», но — душе («мне», «я») — небезразличны земные пределы, ибо духовная связь с миром — иное: душа роднится с ним по-иному. Воспоминания наполняются духовным смыслом и духовною жизнью, и постепенно обретается *родное земное* и *родное небесное*.

Родное земное — путь к родному небесному, к Небесной родине — вот основной смысл развития пушкинского осмысления мира в последние годы жизни. Поэтому в «Воспоминаниях в Царском Селе» (1829) это обретаемое в то время пушкинское видение так наглядно прорастает через строки, обращённые к библейской притче:

Воспоминанием смущённый,  
Исполнен сладкою тоской,  
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный  
Вхожу с поникшею главой.

Так отрок библии, безумный расточитель,  
До капли истощив раскаянья фиал,  
Увидев наконец родимую обитель,  
Главой поник и зарыдал. [Пушкин 3: 155].

Это говорящее сравнение свидетельствует о многом. И прежде всего — о духовном движении поэтической мысли поэта. Сравнение с блудным сыном (Евангелие от Луки, гл. 15, стих 1–19), расточившим с блудницами данное ему богатое наследство, дошедшим до нищеты и в отчаянии и сердечном сокрушении вернувшемся под отчий кров, означает несомненное возвращение к небесной родине, к Господу, к вере, причастность которой ослабевала до пределов нигилизма и приводила к отчаянию, к ропоту, к неверию, даже к отрицанию святынь... И вот вновь поэт возвращается к ним движением жизни через воспоминание о лицейских местах, где (пишет о себе А. С. Пушкин):

Среди святых воспоминаний  
Я с детских лет здесь возрастал,  
А глухо между тем поток народных браней  
Уж бесновался и роптал.  
Отчизну обняла кровавая забота,  
Россия двинулась, и мимо нас волной  
Шли тучи конные, брадатая пехота,  
И пушек медных светлый строй... [Пушкин 3: 156].

Это запомнившееся памятное движение было связано в истории с тем духовным подъёмом, который образовался в патриотическом по-

рыве, но шёл выше и дальше земных дел и упований, ибо весь был проникнут верою в Бога, верою в заступничество Богородицы и всех небесных сил, верою, что не в силе Бог, а в правде, и что только достигнув духовных высот, можно обрести цель и смысл земного бытия.

В этом отношении характерен *ответ* митрополиту Филарету (Дроздову), в котором неодоухотворённую Высшим началом свою поэзию Пушкин именует изнеженными звуками «безумства, лени и страстей», называет *лукавым* звон струн своей лиры и открыто признаётся в раскаянии в своих грехах и благодарности за духовное руководство:

...Когда твой голос величавый  
 Меня внезапно поражал,

Я лил потоки слёз нежданных,  
 И ранам совести моей  
 Твоих речей благоуханных  
 Отраден чистый был елей

И ныне с высоты духовной  
 Мне руку простираешь ты,  
 И силой кроткой и любовной  
 Смиряешь буйные черты.

Твоим огнём душа палима  
 Отвергла мрак земных сует,  
 И внемлет арфе Серафима  
 В священном трепете поэт. [Пушкин 3: 165].

Здесь уже очевидно свершение покаяния. И «потоки слёз нежданных» — это именно следствие внезапного осознания несовершенства и греховности, которые открылись внутреннему зору. Это и есть покаяние как акт внезапного прозрения и слёзного раскаяния в греховных мыслях и поступках.

Глубокие, захватившие всё существо поэта переживания, несомненно, были сопряжены со всем, о чём бы он ни писал в это время. И есть все основания полагать, что сонет «Поэту» также связан с ними. Поэтому слова «Поэт, не дорожи любовью народной» следует понимать



расширительно, как относящиеся ко всем, ему внимающим. Это подтверждает и «Ответ Анониму», в котором речь идёт в сущности о том же: о непонимании поэта «светом», «толпой», то есть читающей публикой. А призыв: «Иди, куда влечёт тебя свободный ум, / Усовершенствуя плоды любимых дум...» [Пушкин 3: 174] включает и область веры, и чистый елей благоуханных речей митрополита Филарета, в известных отношениях определившего направление пушкинской поэтической мысли в этот период. Не случайно, как бы во искупление греха своей юности, пишет Пушкин стихотворение «Мадонна» (1831), в котором образ Божьей Матери воссоздан с трепетным благоговением:

...В простом углу моём, средь медленных трудов  
Одной картины я желал быть вечно зритель,  
Одной, чтоб на меня с холста, как с облаков,  
Пречистая и наш Божественный Спаситель —  
Она с величием, Он с разумом в очах —  
Взирали, кроткие, во славе и лучах,  
Один, без ангелов, под пальмою Сиона.  
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,  
Чистейшей прелести чистейший образец. [Пушкин 3: 175].

Так, освобождаясь от скверны нигилизма, от размашистого и разгульного юношеского либерализма и атеизма, стихийные взрывы которого свойственны «бунтарской» стороне русского характера, поэт всё более обретает духовную гармонию взгляда на мир, устойчивое мирозерцание благоговейного мировосприятия, хотя временами «бесовские» настроения вдруг возникают вновь. Воплощающие их зримые образы возникают явственно и мучительно, надрывая его сердечную память:

Мчатся бесы рой за роем  
В беспредельной вышине,  
Визгом жалобным и воем  
Надрывая сердце мне...  
«Мчатся тучи, вьются тучи...» (1830). [Пушкин 3: 175].

И прощание со временем «безумства, лени и страстей» вызывает запоздалое опасение:

Безумных лет угасшее веселье  
Мне тяжело, как смутное похмелье,  
Но как вино — печаль минувших дней  
В моей душе, чем старее, тем сильней. [Пушкин 3: 177].

Безумные годы ещё имеют власть над поэтом, ещё возникают в воспоминаниях и, кажется ещё, что утраты эти невозможны новым, не ставшим плотью и кровью духовным мировидением. И отсюда это щемящее душу восклицание: «Но не хочу, о други, умирать; / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» [Пушкин 3: 177].

Это «прощанье сердца», тоска о прошедшем естественны и понятны; отсюда мотивы «Заклинания», «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы»; отсюда так живо запечатлённые воспоминания («В начале жизни школу помню я...») о времени, когда поэт «про себя превратно толковал / Понятный смысл правдивых разговоров». Когда, по его признанию, «праздномыслить было мне отрада» и влекли его волшебною красой «двух бесов изображенья», при виде которых (признаётся поэт)

Безвестных наслаждений тёмный голод  
Меня терзал...  
...все кумиры сада  
На душу мне свою бросали тень. [Пушкин 3: 202].

Ассоциативно созвучны этим «пограничным» настроениям строки из «Медока (Медок в Уаллах)» и др. Сквозь не прояснившийся сумрак новых настроений в раздумьях о прежних утратах пробиваются погони глубинных мыслей, ощущений и образов, осенённых новым могучим духовным светом. Пушкинская поэзия обретает путь к высотам земной и небесной Родины, к поэтическим обобщениям нового уровня, ранее намеченным и частично отражённым в его творчестве. За естественным и сокровенным чувством любви к отечеству и к прошлому своего народа открывается бездна смысла:

Два чувства дивно близки нам  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам... [Пушкин 3: 214].

Да, этим постоянно живёт сердце: и пепелищем прошлых лет жизни, и пепелищем прошлых веков истории Отечества, каждый образ которой удивительно и дивно отзывается в памяти личности, принадлежащей истории. Это своё ощущение «принадлежности» А. С. Пушкин незадолго перед этим ощутило прочертил в полемическом стихотворении «Моя родословная». И теперь в нескольких строках вновь высказал живоносную принадлежность к историческому прошлому, к событиям и традициям, исполненным в сознании памятливых потомков духовно-нравственного, общественно-политического и предметно-исторического содержания. Без него жизнь лишается смысла:

Животворящая святыня!  
Земля была б без них мертва.  
Как без источника пустыня  
И как алтарь без божества.

В этих словах — отблеск высот земной Родины, которая есть и прошлое, и настоящее, и будущее народа, к коему принадлежит поэт. Не это ли чувство, свойственное истинно русскому национальному самосознанию, постоянно трепещет в душе русского человека и, приглушённое обстоятельствами, вновь вдруг с новой силой возникает как сознание неизбывной причастности к родной земле от её истоков до настоящего времени и чаемого для неё будущего. Чувство это — «животворящая святыня» земного бытия. Невозможно найти ему более полного и сжатого определения.

Знаменательно, что всеохватывающее органическое ощущение земной Родины отражается в это время в пушкинской поэзии в сокровенной однозначности. Слова «но вреден север для меня» или «под небом Африки моей» воспринимаются теперь лишь как поэтическая игра. В минуты углублённых размышлений, когда тягостные воспоминания и «отдалённое страданье» тревожит душу поэта, он устремляется мыслью «Не в светлый край, где небо блещет / Неизъяснимой синевою, / Где

море тёплою волной / На пожелтелый мрамор блещет... («Когда порой  
воспомянать» (1830)) [Пушкин 3: 215], но к истинной своей Родине:

Стремлюсь привычною мечтою  
К студёным северным волнам  
Меж белоглавой их толпою  
Открытый остров вижу там.  
Печальный остров — берег дикий  
Увядшей тундрой покрыт  
И хладной пеною подмыт.  
Сюда порою приплывает  
Отважный северный рыбак,  
Здесь невод мокрый расстилает  
И свой разводит он очаг,  
Сюда погода волновая  
Заносит утлый мой челнок [Пушкин 3: 215–216].

«Любовь к отеческим гробам» как сокровенное, глубокое переживание истории великой России в трудные дни её бранных неудач в Польше и угрозы военного вмешательства европейских держав вполне отразились в стихотворении «Перед гробницею святой...». Всё оно — единое чувство благоговейной и благодарной любви к полководцу «из стаи славной екатерининских орлов», воплотившему замечательные черты русского национального характера, и прежде всего — чувство народности, свойственное истинным представителям великой нации. Не случайно употребление здесь характерного для русского гения А. В. Суворова слова «*восторг*», вошедшего в знаменитый суворовский афоризм: «Я русский! Какой восторг!». И здесь, с благоговением предстоя перед усыпальницей победителя Наполеона, поэт отмечает эту черту: «В твоём гробу восторг живёт, / Он русский глас нам издаёт...». На соприродность русскому духу указывает нам ещё одна сторона лирического повествования: «народной веры глас», сподвигнувший семидесятивосьмилетнего полководца принять ответственность за судьбы России. И эта *русская вера* как черта русского национального мироотношения определила и чувство национальной ответственности за судьбы страны и ту неизбежную органическую жертвенность, которая свойственна русскому национальному самосознанию в роковые

минуты. Посему этот священный гроб: «...нам твердит о той године, /  
Когда народной веры глас / Воззвал к святой твоей (Кутузова — В. Т.)  
седине: / “Иди, спасай!” Ты встал — и спас».

В памяти сердца, в любви к тому, кто «встал и спас», возникает величественный образ: «...властелин, / Сей идол северных дружин, / Мститый страж страны державной / Смиритель всех её врагов...».

К нему неслучайно обращается поэт с символической надеждою и духовной верою о помощи:

Внемли ж и днесь наш верный глас,  
Встань и спаси царя и нас,  
О старец грозный, на мгновенье  
Явись у двери гробовой,  
Явись, вдохни восторг и рвенье  
Полкам, оставленным тобой.

Именно так: «спаси царя и нас», ибо царь в русском национальном самосознании оставался на *первом* месте. И как заклинание, звучит уже третий раз повторённое: «явись»:

Явись и дланию своей  
Нам укажи в толпе вождей,  
Кто твой наследник, твой избранный.

«Наследник и избранный» — это тот, кто, сменив, заменит, примет знамя победы.

Но храм — в молчанье погружён,  
И тих твоей могилы бранной  
Невозмутимый вечный сон.

Но ведь смысл стихотворения не в этом «невозмутимом и вечном», а в ныне совершающемся предстоянии:

Перед гробницею святой  
Стою с поникшею главой.

В этом предстоянии «отеческим гробам» есть корень силы, спасения и славы народной, как она запечатлена в русском национальном самосознании. Поэтому так определённо и непримиримо звучат строки другого стихотворения, написанного также в связи с развитием польских событий начала 1830-х гг. — «Клеветникам России».

В нём сказалась широта и пронизательность геополитических воззрений поэта, осознававшего духовно-политическое место и значение России в Европе. Это не узко националистический, эгоистический взгляд, но широкое воззрение на события, составляющие лишь эпизод в формировании общеевропейских отношений. Это было понимание роли славянского единства, определяющего судьбу всех славянских народов; это было основанное на историческом опыте убеждение, что именно Россия может быть государством, противостоящим немецким аппетитам на востоке и противовесом тем немецким завоеваниям, которые всегда приводили к геноциду завоёванных «чужих» славянских народов. Это было понимание того, что для Польши подчинение России меньшее зло, чем покорение её национально враждебным и чужеродным пруссачеством.

Пушкин, несомненно, немало знал и размышлял о внутренних движителях польских событий, которые были, в сущности, возбуждены шляхтой во главе с Адамом Чарторыйским, полагавшим восстановление Польши в границах Речи Посполитой 1772 г. через отторжение исторически принадлежащих России малороссийских, белорусских и литовских территорий. Не исключено, что Пушкину были известны суждения его друзей и знакомых из круга декабристов, которые мыслили дальнейшую судьбу славянских народов как *единство* федераций «с бурно растущей промышленностью, торговлей, мощными портами на берегах четырёх морей — Чёрного, Белого, Балтийского и Адриатического» [Нечкина: 149]. Все эти соображения были основанием той поэтической отповеди, которую дал национальный поэт мнениям и заявлениям, направленным против России, против русских как нации, сдерживающей прикрытые и прикрываемые демагогией вполне хищнические замыслы некоторых европейских правительств.

Как отмечает Е. Н. Лебедев, «по мысли Пушкина, Россия на протяжении веков во всеоружии моральных и материальных факторов отстаивает себя от внешних посягательств и, отстаивая себя, неизбежно несёт вовне, на Запад, не только политическое, но и духовное

освобождение от тех цепей, которыми он всякий раз оказывается скован по собственной воле. И всякий раз в таких случаях (Карл XII, Фридрих II, Наполеон) Россию ожидает на западе глухое или явное, затаённое или воинствующее непонимание, в конечном счёте, ненависть. Запад на протяжении веков пугает себя призраком некоего чудовища с Востока, которое поглотит его. Призрак этот не что иное, как фантастическое отражение ущербно-экспансионистских устремлений (политических и волевых) Запада. В действительности всё происходит наоборот: именно из недр самой западной жизни появляется на свет чудовище, которое поглощает в себе все государственные и национальные частности Европы (все Франции, Италии, Германии, Австрии), то есть ведёт себя, как псевдорусский призрак из страшной сказки. Путь к мировому господству лежит через Россию, которая не даёт себя победить. Когда же она, добывая чудовище, гонит его вспяты и раскраивает, наконец, его чрево, из которого выходят на свет и устремляются к новой жизни некогда поглощённые чудовищем государственно-национальные организмы, вновь обретшие свою частность, они при виде русского войска в Европе содрогаются от страха: вот оно и сбылось! пришло чудовище-то! Со временем страх обращается в ненависть, и новая безумная, самоубийственная экспансия на Восток, в общем, становится неизбежной. Нежелание и неспособность понять Россию коренным образом связано с нежеланием и неспособностью Запада противостоять своим собственным экспансионистским устремлениям» [Лебедев: 96].

Первый стих названного стихотворения вполне отражает картину многочисленных заявлений, выдаваемых лицемерно за акции борьбы за справедливость: «О чём шумите вы, народные витии?» (выделено мной — В. Т.). Воистину шум был поднят с определенной целью. «Под шумок» можно было и «сообща» выступить против России. Пушкин лишь напоминает, что подобные выступления уже были и чем они кончились. Однако главное (и с этим связано основное содержание замечательного пушкинского стихотворения) — это его историко-политический смысл и духовно-нравственный пафос.

Первое, что с очевидностью определяется здесь, это истинная, а не суетная историческая реальность: нет, не Россия и Польша в глубоком историческом значении противостоят друг другу, ибо славянская общность значительней, чем их временная (пусть и повто-

ряющаяся) распря. Противостоят России страны «западного мира», той неблагоприятной «западной цивилизации», которая не раз была защищена и более — спасена Россией. Отсюда и следует пафос пушкинского стихотворения, обращённого к западным соседям. Всё это подтверждается реальными историческими фактами, являющимися неперменной основой исторического национального самосознания русского народа. Его миссия (уже исторически привычная) — спасти, жертвовать собой и быть ненавидимым спасёнными за эту свою жертвенность. Такой национально-русский тип поведения — утвердился исторически в русском национальном самосознании, как свой, привычный, составляющий можно сказать национальную черту характера народа.

Именно поэтому стихотворение «Клеветникам России» ярко отражает типическое национальное самосознание, подтверждаемое всей историей русского народа. Таким образом, пафос стихотворения отражает объективную обстановку в Европе того времени, заставившую Пушкина бросить нравственный вызов клеветникам, чающим реванша, погубления России и относящихся к ней с давней ненавистью:

Бессмысленно прельщает вас  
Борьбы отчаянной отвага  
И ненавидите вы нас...  
За что ж? ответствуйте: за то ли,  
Что на развалинах пылающей Москвы  
Мы не признали наглой воли  
Того, пред кем дрожали вы?  
За то ль, что в бездну повалили  
Мы тяготеющий над царствами кумир  
И нашей кровью искупили  
Европы вольность, честь и мир?.. [Пушкин 3: 222–223].

Как уже было замечено исследователями, «дальнейший разговор с западными оппонентами Пушкин ведёт на языке, доступном именно несвободным людям», представления которых «запрограммированы» на названную выше «схему»:



Так высылайте ж нам, витии,  
Своих озлобленных сынов:  
Есть место им в полях России  
Среди нечуждых им гробов. [Пушкин 3: 223].

Эхом отзывается на эти строки написанная вслед за тем «Бородинская годовщина» — стихотворение, посвящённое взятию Варшавы, совпавшему с днём Бородинского сражения. Не слепое торжество или злорадное ликование владеет поэтом: он отмечает свойство победителей, русский национальный характер, сказавшийся в ходе и свойствах победной компании:

В боренье падший невредим.  
Врагов мы в прахе не топтали;  
Мы не напомним ныне им  
Того, что старые скрижали  
Хранят в преданиях немых;  
Мы не сожжём Варшавы их;  
Они народной Немезиды  
Не узрят гневного лица  
И не услышат песнь обиды  
От лиры русского певца. [Пушкин 3: 225].

Автором отмечается великодушие русских как черта национального самосознания. Это самосознание спустя восемь лет охарактеризует В. Г. Белинский в статье «Бородинская годовщина...», так определил задачу современников: «Не будем забывать собственного достоинства, будем уметь быть гордыми собственной национальностью; но будем уметь быть гордыми без тщеславия, которое закрывает глаза на собственные недостатки и есть враг всякого движения вперёд, всякого преуспевания в добре и славе...» [Белинский 2: 116].

*Слава* и *добро* неразрывно связаны в русском самосознании. И вообще — целостная гармония человеческих достоинств как идеал и направление вожделенных стремлений — её характерная черта. Лад как внутренняя цельность определяет формулу стремлений и основную направленность, свойственную идеальным порывам русского духа.

На завершающем этапе своего поэтического развития поэт обретает именно гармоническую полноту видения мира и целостность представлений об идеале, данность, соприродную национальному самосознанию. Например, красота и красавица как её предметное воплощение в это время воспринимается им в русском национальном духе как особая русская гармония, то есть лад. Ибо основой гармонии традиционно является мера, число. Лад же соотнесён с другой, духовно-сердечной, целостно-объёмной мерой: мир, согласие, любовь, милость, ласка, счастье, добротолюбие. В этом смысле пушкинская «Красавица» выражает этап эстетического состояния поэта и одновременно — именно русский взгляд на красоту и является художественным отблеском русского национального самосознания, ибо передаёт даже не высочайшую красоту, а нечто иное:

Всё в ней гармония, всё диво,  
 Всё выше мира и страстей.  
 Она покоится стыдливо  
 В красе торжественной своей;  
 ... встретишь с ней, смущённый ты  
 Вдруг остановишься невольно,  
 Благоговей богомольно  
 Перед святыней красоты...

Именно «диво», «выше мира», выше страстей, «в красе божественной» и вместе с тем — органически связанное с этими необыкновенными достоинствами смущение («покоится стыдливо»). И не просто красота, но святыня красоты или красота как святыня — вот что существенно и запечатлено поэтом. Это ещё один пример художественной пронизательности, достигнутой Пушкиным на завершающем этапе его творческого пути.

В эти годы русская стихия уже вполне овладела им; русский образ мыслей и чувств, органически присущие поэту, находили всё более целостное выражение в его поэзии, самые формы которой становились всё более разнообразными в воссоздании национального содержания.

Пушкинские сказки представляют собой художественный мир, отразивший всю полноту сказочного мирозерцания русского фольклора в многообразии образов-характеров и типических сюжетов, в

характерных картинах сказочной жизни и быта, творчески расцвеченного богатым воображением поэта.

Первая широко известная сказка из числа написанных в 1830-е гг., пожалуй, наименее соответствует полноте народного мирозерцания, отражая сатирический взгляд на скупость, олицетворённую героем-попом. В действительности — это весьма странный сказочный поп, имеющий договор с нечистой силой о выплате ему «до самой смерти» оброка. Спрашивается: за что? Даром нечистый ничего не даёт. Значит, можно предположить, это вроде бы и не поп, а *иуда от попов*, вступивший в связь с врагом рода человеческого. От такого попа можно ждать чего угодно, а не только скупости. Простодушный Балда выступает не только олицетворением справедливости, но одновременно — силы, ловкости, находчивости, смекалки, весёлой непосредственности и, прежде всего, — обаятельного трудолюбия:

...До светла всё у него пляшет:  
Лошадь запряжёт, полосу вспашет;  
Печь затопит, всё заготовит, закупит,  
Яичко испечёт да сам и облупит... [Пушкин 4: 419].

Так отразилась в герое гамма достоинств, присущих русскому национальному характеру.

В «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» народный взгляд на мир выявился с большей полнотой. Разнопёстрые сказочные обстоятельства выявляют перед нами черты национального видения и духовно-нравственный национальный идеал русской сказки. Прежде всего, это черты быта и русского мирозерцания.

Три девицы (героини сказки) предстают здесь великими труженицами. Их мечты и связаны с тем, чтобы преуспеть в труде и исполнении своего сотрудничества в делании. Так проясняется идеал созидательности, типическая черта русского национального характера, представленная здесь со сказочной гиперболичностью. Царя, слышавшего разговор девиц, привлекли более всего слова последней сестры, которая по простоте своей мечтала, если бы была царицей, родить богатыря «для батюшки царя». «Мысль семейная» оказывается более значимой, чем мысль о трудовом созидании.

Судьба сестры, ставшей царицей, вызывает зависть, чувство, свойственное многим грешным людям. Так завязывается сюжет сказки, где зависть, зло, коварство, злопамятство и мстительность противостоят чистосердечию, искренности, добру, всепрощению и благодарности.

Заботливость царя Салтана и заботы царицы о сыне («И царица над ребёнком / Как орлица над орлёнком») наталкиваются на злые замыслы завистниц, воспользовавшихся отсутствием государя. Козни сестёр приводят к исполнению якобы царёва приказа: «и царицу и приплод / Тайно бросить в бездну вод». Но на этом страшном и несправедливом решении не может кончиться русская сказка, созвучная русской вере в окончательную победу добра. Добро и добротолубие, доброделание и благодарение, милосердие и горячее чувство справедливости, наконец, торжество справедливости, счастье, благоденствие, открытие истинной цены злых деяний и милосердное прощение тех, кто совершил злое дело, — вот сказочная логика, в которой выявляется русский взгляд и сияет русский дух.

Этот дух пронизывает и последующие сказки, среди которых стоит обратить внимание на «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833) [Пушкин 4: 458], где русский колорит и образ мыслей сказываются всюду. И одна за другой, воплощённые в сказочном сюжете, возникают в ней коренные идеи русского национального самосознания: *идея семьи и супружеской верности, идея «чинности», слаженности бытия, воплощённая в идеальном образе смиренной и прекрасной царевны, наконец, идея правды-справедливости и окончательной победы добра над злом.*

Образ супружеской преданности, символично запечатленный в начале сказки в истории царицы, ожидающей мужа «у окна» и не перенесшей затем радости встречи, утверждается всем развитием дальнейших событий, связанных со второй сюжетной линией — судьбой молодой царевны.

В ней воплощён *идеальный образ русской женственности*, проявляющейся в смиренном, радушном и любвеобильном видении ею мира, в сокровенном почтении и деятельном приятии добрых обычаев, заветов и традиций, во всём поведении героини. И в том, как невозмутённо просит она о милости чернавку, назначенную ей в погубительницы, и в том, как ведёт она себя, попадая в неведомый ей дом семи богатырей:

Дом царевна обошла,  
Всё порядком убрала,  
Засветила Богу свечку,  
Затопила жарко печку,  
На полати взобралась  
И тихонько улеглась.

Совершенно в русском духе благородного гостеприимного почтения и обращение к неведомой гостье семи богатырей:

Выдь и покажися,  
С нами честно подружися.  
Коль ты старый человек,  
Дядей будешь нам навек,  
Коли парень ты румяный,  
Братец будешь нам названный,  
Коль старушка, будь нам мать,  
Так и станем величать.  
Коли красная девица,  
Будь нам милая сестрица...

Примечателен и ответ царевны, сдержанно-скромный, полный достоинства и радушия.

Нетрудно узнать в этом поведении истинно русский тип женщины: царица смиренно приветствует хозяев, не пытаясь и намекнуть о своём прирождённом достоинстве. Так ещё раз выявляются в творчестве поэта чувство национальности в воссоздании образа, соответствующего национальному типу. Те же традиционные русские национальные черты вполне обнаруживаются и в непринуждённом и чистосердечном диалоге между богатырями и царевной много времени спустя в сцене их неудачного сватовства.

Плнота доброты в русском духе проявляется и в дальнейшем развитии сюжета: коварное покушение на жизнь царевны, её смертный сон, после которого братья «сотворив обряд печальный», положили её «во гроб хрустальный», ибо она «как под крылышком у сна / Так тиха, свежа лежала, / Что лишь только не дышала». Здесь и самый нетленный сон её символизирует душевно-духовную чистоту.

Упорные поиски невесты приводят царевича Елисея к цели: он находит место, где она покоится. Последний его порыв отчаяния и одновременно — самоотдачи (все силы вложены в него) завершаются тем, что казалось невозможным:

И о гроб невесты милой  
Он ударился всей силой.  
Гроб разбился. Дева вдруг  
Ожила. Глядит вокруг  
Изумлёнными глазами,  
И качаясь над цепями,  
Привздохнув, произнесла:  
«Как же долго я спала!»

Возвращение Елисея с царевной — главное, но не единственное событие, завершающее повествование. Убедившись, что невинная соперница жива, мачеха умирает, и свадьба молодых венчает события в русском духе торжеством добра и красоты, а осуждение и уничтожение зла олицетворяет идеальную русскую идею необоримости правды-справедливости и праведного Божьего суда.

«Странник» (1835) — одно из самых значительных стихотворений последних лет — представляется, прежде всего, как искреннее самовыражение внутреннего состояния поэта и одновременно как итог духовного странствия и обретения им вдруг открывшейся Истины и сокровенного отношения к ней, в чём и проявляется с безусловной очевидностью русское национальное сознание, выражающееся в смирении перед Истиной. С этим связано горькое сокрушение об отступлении от Истины, жажда очищения перед лицом Вечности, перед Господом, непреодолимое стремление обрести Истину (или, увы, иногда то, что показалось истиной), приблизив себя к Ней раскаяньем «до дна» и безграничную скорбь самоуничтожения, возникших из глубокого ощущения собственной греховности в преддверии «тесных врат» Царствия Небесного:

Однажды странствуя среди долины дикой,  
Незапно был объят я скорбию великой  
И тяжким бременем подавлен и согбен,

Как тот, кто на суде в убийстве уличен.  
Потупя голову, в тоске ломая руки,  
Я в воплях изливал души пронзённой муки  
И горько повторял, метаясь как больной:  
«Что делать буду я? что станется со мной?» [Пушкин 3: 342].

Пушкин, словно предчувствуя приближение конца, за два года до смерти выразил с удивительной полнотой высочайшую степень духовного видения, в той или иной мере отражённую стихотворениями 1834–1836 гг..

Поражает полнота духовных вопросов, отражённых в пушкинском шедевре. Исследователи отметили в нём и «тему духовной жажды», роднящую это стихотворение с пушкинским «Пророком», «неудовлетворённость человеческой души тем, что может дать нам дольний мир» — «долина дикая», тему «греховного бремени человека» и «тяжких угрызений совести» и тему Страшного суда и «неотвратимости смерти всякого рождённого на земле» и «одинокости и оставленности», наконец, темы «осияния истиной», «мудрости небесной», «мужества и воли» [Васильев: 209–210]. Поставить в столь сжатой художественной форме все темы и наполнить их личным содержанием мог только человек, который хорошо знал Евангелие и много о нём думал. «Попытки истолковать “Странника” вне круга притчевого языка Евангелия обречены на неудачу» [Васильев: 213]. В «Страннике» нашло выражение русское осознание, понимание и переживание Евангелия как Откровения, которое (и это характерно для русского сознания) принимается всем сердцем, всей глубиной души, «без рассудка». Гибель «земного Града», «мира сего» представляется Страннику с предельной отчётливостью:

И так я, сетуя, в свой дом пришёл обратно.  
Уныние моё всем было непонятно.  
При детях и жене сначала я был тих  
И мысли мрачные хотел таить от них;  
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;  
И сердце наконец раскрыл я поневоле.

«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! –  
Сказал я, — ведайте: моя душа полна  
Тоской и ужасом; мучительное время  
Тягчит меня. Идёт! уж близко, близко время:  
Наш город пламени и ветрам обречён  
Он в угли и золу вдруг будет обращён,  
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре  
Обрести убежище; а где? о горе, горе!» [Пушкин 3: 341].

Русское сознание проявляется здесь в самозабвенном «стоянии в Истине», в несокрушимом стремлении к ней, в неодолимом намерении стремиться только к ней, в забвении всего: семьи, друзей, даже сего мира ради её обретения, в неизбывном намерении идти только к ней, не вникая ничьим советам и никаким препятствиям:

Пошёл я вновь бродить, уныньем изнывая  
И взоры вкруг себя со страхом обращая,  
Как раб замысливший отчаянный побег,  
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег,  
Духовный труженик — влача свою веригу,  
Я встретил юношу, читающего книгу,  
Он тихо поднял взор — и спросил меня,  
О чём, бродя один, так горько плачу я?  
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:  
Я осуждён на смерть и позван в суд загробный —  
И вот о чём крушусь: к суду я не готов  
И смерть меня страшит».

Лишь указание юноши на брезжащий вдали свет, на который странник «оком стал глядеть болезненно-отверстым, как от бельма врачом избавленный слепец», и слова:

«Иди ж, — он продолжал; — держись сего ты  
света;  
Пусть будет он тебе единственная мета,  
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,  
Ступай!»... —



обращают странника броситься к цели, бежать (именно: бежать, а не идти!) к ней, вопреки призывам и крикам семьи, друзей, соседей...

Иные уж за мной гнались; но я тем боле  
Спешил перебежать городовое поле,  
Дабы скорей узреть — оставя те места,  
Спасенья верный путь и тесные врата. [Пушкин 3: 341].

Так заканчивается эта маленькая поэма о прозрении и пути к спасению от зла мира сего, препятствующего войти в «тесные врата» Небесного града. Побег от мира, лежащего во грехе, как единственный путь к Истине был окончательно обретён поэтом лишь в последние годы жизни. Он определил характер его мировосприятия и настроения и вновь подтвердил национальную самобытность его взгляда на высшую цель жизни как на стремление к Богу, который есть Любовь, Свет миру, Путь, Истина и Жизнь.

При всём том мысль поэта неизменно возвращается к судьбам отечества.

Письмо А. С. Пушкина к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г. — прямое свидетельство русского образа мыслей и национального самосознания великого поэта — обнаруживает не только глубокое представление об историческом значении России, но ясно выраженное чувство национального достоинства: «...Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал» [Пушкин 10: 872].

При всём том мысли поэта неизменно возвращаются к судьбам отечества, о чём свидетельствует, в частности, небольшой отрывок «Пир Петра Первого». В нём отражено типическое свойство русского национального сознания, высветившееся с характернейшей стороны: причина великого торжества государя — не событие государственной важности, но — радость духовная:

Что пирует царь великий  
В Петербурге городке?  
Отчего пальба и клики  
И эскадра на реке...

...он с подданным мирится,  
Виноватому вину,  
Отпуская, веселится:  
Кружку пенит с ним одну;  
И в чело его целует,  
Светел сердцем и лицом;  
И прощенье торжествует,  
Как победу над врагом... [Пушкин 3: 349].

Предпочтение духовного начала как органическое свойство национального самосознания Пушкин запечатлел не только этим стихотворением, но и всем своим творчеством, свидетельствующим о неизменном духовном возрастании его гения, чему был подведён поэтический итог в стихотворении «Я памятник себе воздвиг...». Исследователи отметили принципиальное отличие этого пушкинского шедевра от аналогичных произведений, имеющих в основе стихотворение Горация.

Фундаментальное исследование М. П. Алексеева [Алексеев], рассмотревшего пушкинский шедевр в ряду русских переводов и переложений «Eregi monumentum...» Квинта Горация Флакка и творческой биографии поэта, выявило много чрезвычайно важных смысловых оттенков пушкинского стихотворения. Однако недавние исследования привели к принципиальным наблюдениям, позволившим осветить новым светом его духовный смысл и содержание [Бобылев: 272–301].

При этом замечено, что художественно-смысловое значение эпиграфа к стихотворению (первый стих из Горация) определяет самое стихотворение как *ответ* и в некоторых отношениях — *спор* с автором-предшественником. «Внутренний полемический пафос, — пишет исследователь, — достигает большой силы уже в первой строчке стихотворения: *Я памятник себе воздвиг **нерукотворный**...*» [Бобылев: 295]. Это слово означает предельное возвышение, «богоравность». Иными словами, Пушкин доводит до предела тот *смысл*, который «подспудно присутствует в текстах предшественников — претензии безудержной гордыни, стремление не только сравняться с Богом, но превзойти Его» [Бобылев: 295].

Исследователь отмечает далее, что местоимение «я» в названном тексте «равнозначно *мы*» и указывает на символично-содержательное значение слова “*стоит*”, придающее фразе особо значимое содержание,

вследствие слияния в художественном тексте исторического и вневременного, “мистического” его толкования» [Бобылев: 296]. Исходя из всего этого, и обозначается вывод: Пушкин выявляет здесь, что во всех стихотворениях предшественников, в сущности отразивших черты языческого (и атеистического) миропредставления, было до конца не прояснено «стремление оставить после себя материальный след в земной жизни». Против этой «доминанты» и направлена вторая строфа пушкинского произведения «выдержанная в совершенно другой тональности» [Бобылев: 296].

Отмечая «неуверенность и тоскливую беззащитность» интонации второй строфы после мощной «самовозвышенности», рождённой первой строфой, исследователь указывает на логику внутреннего художественного мировосприятия поэта. Страсть дерзостной гордости неизбежно ведёт к унынию, и душа «вновь ищет спасения от него в мыслях о посмертной славе». Однако Пушкин употребляет далее слово «прах», и оно «не оставляет места иллюзиям и самогипнозу» [Бобылев: 297]. Возникающий контраст настроений и смыслов находит своё разрешение в «радикальной смене позиции Пушкина к концу стихотворения. Здесь лишь выводится то, что скрывалось в подтексте предшествующих строф» [Бобылев: 297]. При этом становится очевидна и полемика с переводчиками-предшественниками.

«Пушкинские слова: *будь послушна, / Обиды не страшась, не требуя венца*, — носят ответный характер, но в них нет политической страсти, они дышат смирением и покоем» [Бобылев: 297]. Так возникает органическая связь пушкинской мысли со святоотеческой традицией и выявляется важнейший смысловой акцент пушкинского стихотворения: «Мы должны принять творчество во имя Божественной красоты как послушание».

В сущности, и всё пушкинское творчество развивается в этом ключе, и жизнь по Божественному замыслу, осознаваемому поэтом и человеком, в главном была, есть и будет служением Богу и его замыслу, наконец, его творению — человеку и человечеству. Всё это и включает в разных отношениях и смыслах русское национальное самосознание, несомненным выразителем которого явился великий Пушкин.

«...Жизнь и творчество его, — писал Н. Котляревский, — стали для нас символом всей нашей жизни, как народа, символом нашего национального духа, насколько он до сей поры обнаружился. Гений

писателя отождествился с гением России. Говоря о Пушкине, думаешь о России, об её прошлом, думаешь о том таинственном, что её ожидает. Как будто самый смысл её существования начинает открываться, брезжить на страницах его творений. Творчество поэта наводит на мысль о творчестве его Родины, не только творчестве художественном, но вообще всяком обнаружении наших духовных сил. <...> Ни один наш писатель не совмещает в себе в такой отчётливой полноте все самые типичные черты ума и характера нашей народности. Пушкин и его творения — вот ответ на вопрос о России, если с таким вопросом мы именно к нему хотим обратиться. <...> Пусть самым образованием он был обязан всему культурному миру, но душа его была русская...» [Котляревский: 4, 5, 14].

**Список литературы**

- Алексеев М. П.* Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...»: Проблемы его изучения. Л.: Наука, 1967. 272 с.
- Бобылев Б. Г.* О методологических основах преподавания словесности: традиции и перспективы анализа художественного текста в школе // Филология и школа. Вып. II. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 272–301.
- Васильев Б. А.* Духовный путь Пушкина. М.: Sam and Sam, 1994. 300 с.
- Безруков А. А.* Возвращение к православности и категория страдания в русской классике XIX века. М.: РГСУ, 2005. 340 с.
- Белинский В. Г.* Собр. соч.: в 9 т. М.: Худ. лит, 1976–1982.
- Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
- Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975. 340 с.
- Ильин И. А.* Собр. соч.: в 10 т. М.: Русская книга, 1993–1999.
- Котляревский Н. А.* Пушкин и Россия. СПб.: Пушкинский дом, 1922. 22 с.
- Лебедев Е. Н.* 1812 год и проблема познания народа в русской лирике первой половины XIX в. // Отечественная война 1812 г. и русская литература XIX в. М., 1998. С. 81–115.
- Нечкина М. В.* Движение декабристов.: в 2 т. М.: Акад. Наук СССР, 1955.
- Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. М.: Акад. наук СССР, 1957–1958.
- Свят. Тихон Задонский.* Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского: в 5 т. М.: Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994.
- Тихомиров Л. А.* Религиозно-философские основы истории. М.: Москва, 1997. 589 с.
- Франк С. Л.* Этюды о Пушкине. Париж: YMCA-press, 1987. 126 с.

### References

Alekseev M. P. *Stikhotvorenie Pushkina "Ja pamiatnik sebe vozdvig...": Problemy ego izucheniia* [Pushkin's poem "I have erected a monument to myself ...": Problems of its study]. Leningrad, Nauka Publ, 1967, 272 p. (In Russ.)

Bobylev B. G. *O metodologicheskikh osnovakh prepodavaniia slovesnosti: traditsii i perspektivy analiza khudozhestvennogo teksta v shkole* [On the methodological foundations of teaching literature: traditions and prospects of the analysis of literary text in school]. *Filologiya i shkola*. Vyp. II [Philology and school]. Vol. II. Moscow: IMLI RAN Publ, 2008, pp. 272–301. (In Russ.)

Vasil'ev B. A. *Dukhovnyi put' Pushkina* [The spiritual path of Pushkin]. Moscow, Sam and Sam Publ, 1994, 300 p. (In Russ.)

Bezrukov A. A. *Vozvrashchenie k pravoslavnosti i kategoriia stradanii v russkoi klassike XIX veka* [Return to Orthodoxy and the category of suffering in Russian classics of the 19th century]. Moscow, RGSU Publ, 2005, 340 p. (In Russ.)

Belinskii V. G. *Sobr. soch.: v 9 t.* [Collected works in 9 vols.]. Moscow, Khud. lit. Publ, 1976–1982. (In Russ.)

Dostoevskii F. M. *Poln. sobr. soch.: v 30 t.* [Complete works in 30 vols.]. Leningrad, Nauka Publ, 1972–1990. (In Russ.)

Izmailov N. V. *Ocherki tvorchestva Pushkina* [Essays on the work of Pushkin]. Leningrad, Nauka Publ, 1975, 340 p. (In Russ.)

Il'in I. A. *Sobr. soch.: v 10 t.* [Collected works in 10 vols.]. Moscow, Russkaia kniga Publ, 1993–1999. (In Russ.)

Kotliarevskii N. A. *Pushkin i Rossiia* [Pushkin and Russia]. St. Petersburg, Pushkinskii dom Publ, 1922. 22 p. (In Russ.)

Lebedev E. N. *1812 god i problema poznaniia naroda v russkoi lirike pervoi poloviny XIX v.* [The year 1812 and the problem of cognition of the people in Russian lyrics of the first half of the XIX century] *Otechestvennaia voina 1812 g. i russkaia literatura XIX v.* [The Patriotic War of 1812 and Russian literature of the XIX century]. Moscow, 1998, pp. 81–115. (In Russ.)

Nechkina M. V. *Dvizhenie dekabristov.: v 2 t.* [The movement of the Decembrists in 2 vols.]. Moscow, Akad. Nauk Publ, 1955. (In Russ.)

Pushkin A. S. *Poln. sobr. soch.: v 10 t.* [Complete works: in 10 vols.]. Moscow, Akad. nauk SSSR Publ, 1957–1958. (In Russ.)

Sviat. Tikhon Zadonskii. *Tvoreniia izhe vo sviatykh ottsa nashego Tikhona Zadonskogo: v 5 t.* [Religious and philosophical foundations of history: in 5 vols.]. Moscow, Izdanie Sviato-Uspenskogo Pskovo-Pecherskogo monastyria Publ, 1994. (In Russ.)

Tikhomirov L. A. *Religiozno-filosofskie osnovy istorii* [Religious and philosophical foundations of history]. Moscow, Moskva Publ, 1997, 589 p. (In Russ.)

Frank S. L. *Etiudy o Pushkine* [Etudes about Pushkin]. Parizh: YMCA-press Publ, 1987, 126 p. (In Russ.)

© 2020. И. А. Виноградов

Институт мировой литературы им. А. М. Горького  
Российской академии наук  
г. Москва, Россия

## Славянофильство и западничество в споре о поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»: не востребуемое и забытое

Впервые полемика современников о «Мертвых душах» рассматривается в широком контексте формирования двух главных идеологий русского общества 1840-х гг. — славянофильства и западничества. Детально исследована история зарождения замысла, публикации и читательского восприятия знаменитой статьи К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя "Похождения Чичикова или Мертвые души"». Обозначена особая гоголевская позиция в отношении к спору Аксакова и Белинского, а также тесно связанная с этой позицией оценка Гоголем гомеровского эпоса. К числу впервые решаемых проблем относится определение основных черт авторского понимания жанра «Мертвых душ». Статья состоит из одиннадцати разделов: 1. Противоречивость мнений славянофилов и западников о поэме Гоголя; 2. Зарождение полемики К. С. Аксакова и В. Г. Белинского о «Мертвых душах»; 3. Противники и защитники брошюры Аксакова; 4. Отзывы Гоголя о брошюре Аксакова: ошибка комментаторов; 5. Культурно-исторический контекст полемики о «Мертвых душах»: предыстория спора Аксакова и Белинского; 6. Пафос утверждения: авторское определение жанра «Мертвых душ» и формирование замысла статьи Аксакова; 7. Авторское понимание жанра «Мертвых душ» и истолкование поэмы Белинским; 8. Недооценка Аксаковым религиозного обличения «мертвых душ»; 9. Гоголь и Аксаковы в отношении к поэмам Гомера; 10. Гоголь об истоках своего творчества и оценка составляющих гоголевской поэтики Аксаковыми; 11. Аксаковы как герои «Мертвых душ».

**Ключевые слова:** Гоголь, биография, творчество, критика, общественная идеология, славянофилы, западники, поэмы Гомера, духовное наследие, герменевтика, жанр.

**Информация об авторе:** Виноградов Игорь Алексеевич, ORCID 0000-0002-9151-4554, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, 25 а, 121069 г. Москва, Россия.

E-mail: info@imli.ru

**Дата поступления:** 16.12.2019

**Дата публикации:** 24.03.2020

**Для цитирования:** Виноградов И. А. Славянофильство и западничество в споре о поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»: не востребуемое и забытое // Два века русской классики. Т. 2. № 1. С. 62–153. DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-62-153



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

© 2020. Igor' A. Vinogradov

## Slavophilism v. Westernism in the dispute about Nikolai Gogol's novel "Dead Souls": unclaimed and forgotten

For the first time, the contemporaries' debate about "Dead Souls" is seen in the broad context of the formation of the two main ideologies of the Russian society of the 1840s — Slavophilism and Westernism. The story of the birth of the plot, publication and reading perception of Konstantin Aksakov's famous article "A Few Remarks on the poema "The Wanderings of Chichikov, or Dead Souls" by Nikolai Gogol" is thoroughly explored. Nikolai Gogol's special position in relation to Konstantin Aksakov's dispute with Vissarion Belinsky is marked, and also Nikolai Gogol's assessment of Homer's epic is closely related to that position. What is among the problems that have been for the first time solved, is the definition of the main traits of the author's understanding of the genre of "Dead Souls". The article consists of eleven sections: 1. Conflicting opinions on Nikolai Gogol's novel among Slavophiles and Westernisers; 2. The birth of Konstantin Aksakov's and Vissarion Belinsky's controversy about "Dead Souls"; 3. Opponents and defenders of Konstantin Aksakov's brochure; 4. Gogol's comments on Aksakov's brochure: commentators mistake; 5. The cultural and historical context of "Dead Souls" controversy, the background to the dispute between Konstantin Aksakov and Vissarion Belinsky; 6. Paphos claims, the author's definition of the genre of "Dead Souls" and the formation of the intent of Konstantin Aksakov's article; 7. The author's understanding of the genre of "Dead Souls" and Vissarion Belinsky's interpretation of the novel; 8. Konstantin Aksakov's underestimation of the religious denunciation of "dead souls"; 9. Nikolai Gogol and Konstantin Aksakov in relation to Homer's poems; 10. Nikolai Gogol on the origins of his creative work and the appreciation of Nikolai Gogol's poetics constituent by the Aksakovs; 11. The Aksakovs as "Dead Souls" characters.

**Keywords:** Nikolai Gogol, biography, creative work, criticism, social ideology, Slavophiles, Westernisers, Homer's poems, spiritual heritage, hermeneutics, genre.

**Information about the author:** Igor' A. Vinogradov, ORCID 0000-0002-9151-4554, Doctor of Philology, Chief Investigator, A. M. Gorky institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25a, 121069, Moscow, Russia

E-mail: info@imli.ru

**Received:** December 16, 2019

**Published:** March 24, 2020

**For citation:** Vinogradov I. A. Slavophilism v. Westernism in the dispute about Nikolai Gogol's novel "Dead Souls": unclaimed and forgotten. Two centuries of the Russian classics, 2020, vol. 2, № 1, pp. 62–153. (In Russ.) DOI 10.22455/2686-7494-2019-2-1-62-153



## 1. Противоречивость мнений славянофилов и западников о поэме Гоголя

История более чем полуторавекового восприятия поэмы «Мертвые души» представляет собой картину острой идейной борьбы за наследие писателя. Широко известно свидетельство А. И. Герцена в дневниковой записи от 29 июля 1842 г.: «...Толки о “Мертвых душах”. Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это апофеоз Руси, Илиада наша, и хвалят, след<овательно>; другие бешутся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратное тоже разделились антиславянисты» [Герцен 2: 219].

Отмеченное Герценом «смешение» в рядах противостоящих партий в оценке «Мертвых душ» требует объяснения. Во-первых, разброс мнений был обусловлен, по-видимому, тем, что замысел «Мертвых душ» оказался во многом неясен современникам. В 1842 г., спустя три месяца после выхода в свет первого тома, Гоголь писал о восприятии поэмы в читательских кругах С. Т. Аксакову: «...Еще не раскусили, в чем дело, <...> не узнали важного и главнейшего... <...> Ваше мнение: нет человека, который бы понял с первого раза “Мертвые души”, совершенно справедливо и должно распространиться на всех, потому что многое может быть понятно одному только мне» [Гоголь 2009–2010. 12: 108]. Спустя пять лет, в «Авторской исповеди», он вновь отмечал, что первый том «составляет еще поныне загадку» для читателя [Гоголь 2009–2010. 6: 228]. Прошло еще тридцать лет, и Ф. М. Достоевский, как бы подытоживая недоумения современников по поводу героев «Мертвых душ», писал: «Эти изображения, так сказать, почти давят ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли, с которыми, чувствуется это, справиться можно далеко не сейчас; мало того, еще справишься ли когда-нибудь?» [Достоевский 22: 106].

Другой важной причиной разноречий в оценке «Мертвых душ» — одобрения гоголевского произведения частью из славянофилов, несмотря на его очевидный критический пафос, — явилась известная оппозиционность к существующему положению вещей не только «европистов», но и «восточников» [Виноградов 2017а; 2019а; 2019b; 2019с]. Будучи приверженцами начал Православия, Самодержавия, Народности, славянофилы именно поэтому часто были недовольны реальным течением дел на практике. Критика «справа» порой нечувствительно смыкалась с критикой «слева». Даже С. П. Шевырев, ожидавший от Гоголя в последующих томах «Мертвых душ» «изображения высокой и прекрасной стороны жизни» [Шевырев 1848: 10], тем не менее, в целом был согласен с критическим пафосом первого тома. И. С. Некрасов, в частности, свидетельствовал: «У меня был в руках тот экземпляр, по которому в первый раз прочел “Мертвые души” Шевырев. Экземпляр весь испещрен был знаками восклицания и словами одобрения, но не было ни одного критического замечания» [Некрасов: 34]<sup>1</sup>.

Князь П. А. Вяземский в 1847 г. писал: «...Что Гоголь попал в руки литературным шарлатанам, это немудрено... <...> Что люди, провозглашающие наобум какое-то учение западных начал, искали в Гоголе союзника и оправдателя себе, это еще понятно. Он был для них живописец и обличитель народных недостатков и недугов общественных. Эти обличения несколько напоминали им болезненное, лихорадочное волнение Французских романистов. <...> Но что те, которые отказываются и предохраняют нас от влияния чужеземного, что те, которые

---

<sup>1</sup> Впрочем, во второй из статей о «Мертвых душах» С. П. Шевырев критические замечания в адрес поэмы все же высказал: «...Комический юмор Автора мешаает иногда ему обхватывать жизнь во всей ее полноте и широком объеме. Это особенно ясно в тех ярких замечках о Русском быте и Русском человеке, которыми усеяна Поэма. По большей части мы видим в них одну отрицательную, смешную сторону, полобхвата, а не весь обхват Русского мира» [Шевырев 1842b: 366]. Позднее Шевырев замечал, что «произведение Гоголя» «берет покамест действительность Русскую одною ее изнанкою»: «Да, мы скажем даже не для того только, чтобы умолкли все неистовые клики, но для полноты впечатления, принятого Россиею, настает крайняя необходимость во второй обещанной Поэтом половине, которая, по слову его, должна раскрыть самые высокие движения Русского духа» [Шевырев 1843: 282–286].

хотят, чтобы мы шли к усовершенствованию своим путем, росли и крепили в собственных началах, чтобы те самые радовались картинам Гоголя, это для меня непостижимо. В картинах его, по крайней мере в тех однородных картинах, которые начинаются *Ревизором* и кончаются *Мертвыми душами*, все мрачно и грустно» [Вяземский 1847: 418].

Три месяца спустя, Вяземский писал также Жуковскому: «Я рад, что ты освежился русским духом в беседе с Хомяковым, замечательно умным и приятным человеком. Хотя его народность и руссословие несколько отуманены немецким, или вообще нерусским направлением. Признаюсь, не понимаю, чего они хотят, то есть Хомяков и московская братия. <...> Один пар бьет столбом из-под обетованной их земли. Вот отчего и говорю, что эти отчаянные руссословы — более всего немцы и что коренная Русь, верно, их не понимает и не признает. Вот, например, Уваров тот другое дело: он запряг себя в тройку самодержавие, православие и народность и дует по всем по трем» [Гиллельсон 1969: 296–297].

В 1855 г. Вяземский, назначенный на должность товарища министра народного просвещения, получил письмо от известного славянофила И. В. Киреевского, где тот вполне «по-герценовски» выговаривал ему: «Доказательство<м> того, что правительство всегда отличало таланты и покровительствовало словесности, Вы приводите (в статье «Несколько слов о народном просвещении в настоящее время» (1855) [Вяземский 1882]. — И. В.) в пример Карамзина, Жуковского, Пушкина, Батюшкова, Крылова и Гоголя. Но <...> покойный император <Николай I> никогда не любил словесности и никогда не покровительствовал ей. <...> Один Булгарин с братиею пользовались постоянным покровительством правительства во все продолжение царствования» [Гиллельсон 1966: 132].

Д. Н. Свербеев в 1864 г. замечал, что именно «доктрина славянофилов, без их ведома, изобрела порох для огнедышащих против России орудий другой доктрины, доктрины Бакуниных, Огаревых, Герценов, Михайловых, Чернышевских и т. д., дала им в руки самые лучшие спички для их поджогов, приспособила самые прочные колеса для того паровоза, на котором Бакунин, Огарев и проч. желают мчать нас в пропасть, вместо той загадочной тележной тройки, в которой ухарски хотел прокатиться с нами Гоголь; его телега так и осталась не запряженной, а революционный паровоз уже скачет...» [Симонова: 198]. Тот же Герцен в 1850 г. отмечал, что идеи социализма, разделяющие Европу

на «два враждебных лагеря», в России признаны не только западниками, но и славянофилами [Герцен. 7: 248].

Консервативная составляющая в славянофильском движении была ограничена; это течение носило по преимуществу либеральный характер. Само понимание патриотизма не только западниками, но и «восточниками» было во многом декларативным, сродни тем «благородным» вывескам, которыми неизменно украшали себя тогдашние многочисленные противоправительственные общества: Ложа Святой Екатерины; Ложа трёх христианских добродетелей; Ложа Доброго пастыря, Союз благоденствия, Ложа Славянского орла, Ложа Соединенных славян, Общество соединенных славян, Ложа Истинного патриотизма, Общество Святых Кирилла и Мефодия и т. п. На протяжении всего XIX в. развитие общественной мысли шло в России в основном «под знаком» декабризма, а отнюдь не по тем началам, следовать которым призывало современников правительство.

Ф. Ф. Вигель в 1847 г. обращался к самому Гоголю: «Мне кажется, вы где-то<sup>1</sup> говорите о двух станах, о Славянистах и Европистах... <...>; я тоже что-то такое слышал, только не совсем так. Утверждают, что есть две какие-то партии, но ничего не упоминается ни о станах, ни о вражде, ни о ратоборстве. <...> ...У этих скакунов <...> одна цель, но только две разные дороги... <...> Эти две параллельные линии так близко одна от другой и так дружно бегут, что без напряженного внимания трудно одну от другой отличить. <...> Кто несет католицизм, кто гегелизм, кто коммунизм, кто во что горазд. Все хладнокровно горячится, все бредит Европой, все прославляет ее, смешивает Россию с грязью...» [Гоголь 2009–2010. 14: 240–241].

Сын Н. А. Полевого, Петр Николаевич Полевой, в 1887 г. указывал: «Припомним то положение, которое Гоголь занял во главе русской литературы после того, как выдал в свет первую часть “Мертвых душ”; припомним то, что те партии, на которые наше общество сороковых годов распалось так резко и так определенно, смотрели на Гоголя одинаково благоприятно, равно сочувствовали ему и почти равно превозносили его... <...> ...Дело в том, что невинный, веселый, свежий юмор его первых произведений нравился всем, а его жестокая, беспощадная сатира, бичевавшая русскую жизнь, еще более пришлась всем по вкусу. Недовольство современною русскою действительностью в

---

<sup>1</sup> В статье XI. Споры «Выбранных мест из переписки с друзьями».

сороковых годах было общим не только среди крайних и умеренных западников, но и среди славянофилов; при этом недовольстве (которое можно было высказывать лишь весьма осторожно), как у западников, так и у славянофилов, были уже наготове для будущего теоретически выработанные планы переустройства русской жизни. У западников они опирались на парламентаризм и последние слова европейской политической и экономической науки, а у славянофилов — на фантастическую идеализацию древнерусских и народных начал. Отрицательное направление Гоголя ни тем, ни другим не мешало; его порицания и отрицания только служили подтверждением необходимости будущих реформ, которые и славянофилы, и западники одинаково считали панацеей всех зол и бедствий русской жизни. Вот почему Гоголь и тем, и другим был люб и дорог именно как апостол отрицания, как порицатель и обличитель» [Полевой П. Н.: 182–183].

Применительно к славянофилам это наблюдение верно лишь отчасти. Славянофил Ф. В. Чижов, к примеру, — которому тоже была присуща некоторая «оппозиционность», 4 марта 1847 г. писал самому Гоголю: «...Как подействовало на меня ваше сочинение — “Мертвые Души”. <...> В первый раз я прочел его в Дюссельдорфе<sup>1</sup> и оно просто не утомило, а оскорбило меня. Утомить безотрадною выставленных характеров не могло, — я восхищался талантом, но как русский был оскорблен до глубины сердца. <...> Один приятель мой, петербургский чиновник, первый своим неподдельным восторгом сблизил меня с красотами “Мертвых Душ”, — я прочел еще раз, после читал еще, отчетливее понял, что восхищало меня, но болезненное чувство

---

<sup>1</sup> В Дюссельдорфе Ф. В. Чижов находился летом — осенью 1842 г., где жил также В. А. Жуковский, с которым Чижов не раз встречался по делам А. А. Иванова (см.: [Виноградов 2001b: 263–264, 269]). Позднее Чижов вспоминал: «Проживая в Дюссельдорфе, я бывал у Жуковского раза три-четыре в неделю, часто у него обедал, и мне не раз случалось говорить с ним о Гоголе. Прочтя наскоро “Мертвых душ”, я пришел к Жуковскому. Признаюсь, с первого разу я очень мало раскусил их. Я был восхищен художническим талантом Гоголя, лепкою лиц, но, как я ожидал содержания в самом событии, то, в первый раз, в ряде лиц, для которых рассказ о мертвых душах был только внешним соединением, видел какое-то отсутствие внутренней драмы. Я об этом сообщил Жуковскому и из его слов увидел, что ему не был известен полный план Гоголя. На замечание мое об отсутствии драмы в “Мертвых душах”, Жуковский отвечал мне: “Да и вообще в драме Гоголь не мастер...”» [Кулиш: 368].

не истреблялось. Чиновник этот не из середины России, — он родился и вырос в Петербурге, ему не понятны те глупости, какие у нас взрощены с детства» [Гоголь 2009–2010. 14: 223].

Из тех читателей и критиков, для которых слова Православие, Самодержавие, Народность не были пустым звуком, дружеской критике собирався подвергнуть первый том поэмы В. А. Жуковский. 14 ноября (н. ст.) 1842 г. он писал Гоголю: «Еще я не послал к вам критики на ваши “Души”, потому что это работа большая, а я не скоро могу решиться на длинное письмо. Вам же моя критика не так теперь необходимо нужна — книга уже напечатана. Вообще же мое мнение о знакомых мне отрывках вы знаете» [Гоголь 2009–2010. 12: 160]. 21 ноября 1842 г. с предложением написать разбор «Мертвых душ» обратился в письме к Жуковскому Вяземский [Гиллельсон 1980: 38–39]. Спустя некоторое время Жуковский послал Гоголю еще одно письмо, на которое Гоголь 5 мая (н. ст.) 1843 г. отвечал: «Благодарю вас еще за третье удовольствие, которое принесло мне письмо ваше, именно за два слова о М<ертвых> д<ушах> и за обещание поговорить при свидании об этом предмете подробно. Судя по всему, дело кажется не обойдется без ругани. Это я люблю, тем более, что я не почитаю вовсе дело конченным, если вещь напечатана, а как и почему — об этом мы поговорим с вами, и вы в этом согласитесь со мною. Обещанием *похерить* многое вы меня сильно разлакомили. Я и прежде любил, когда меня побранивали, а теперь просто всякое слово упрека в грехе для меня червонец» [Гоголь 2009–2010. 12: 226–227].

Приятельница Гоголя (а также близкий друг Пушкина, Жуковского и многих других писателей), бывшая фрейлина А. О. Смирнова, которая сама себя относил к «примирительным» славянофилам [Гоголь в воспоминаниях 2: 555] («...через Малороссию пройдем мы в Константинополь, чтобы сдружиться и слиться с западными братьями славянами», — писала она Гоголю 3 ноября 1844 г. [Гоголь 2009–2010. 12: 503]), в послании к писателю от 18 декабря 1844 г., в частности, замечала: «...Вы не вправе налагать на себя наказание за свои литературные грехи голодом. Эти грехи уже тем наказаны, что вас препорядочно ругают и что вы сами чувствуете, сколько мерзостей вы пером написали» [Гоголь 2009–2010. 13: 16].

Сдержанно отнесся к «Мертвым душам» еще один давний друг Гоголя, славянофил М. П. Погодин. Осенью 1841 г., после чтения авто-

ром последних пяти глав поэмы, он высказал Гоголю ряд критических замечаний, из которых С. Т. Аксакову запомнилось только то, что «в первом томе содержание поэмы не двигается вперед; что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате уroda» [Гоголь в воспоминаниях 2: 704]. В 1847 г., с выходом в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями», где содержался критический отзыв Гоголя о Погодине, последний писал ему: «На досуге по вечерам я хотел было исписать “Мертвые души”, но оставил это намерение после твоей последней книги, чтоб мои замечания не были растолкованы отмщением» [Гоголь 2009–2010. 14: 284]. Ранее, в 1842 г. Погодин отказался напечатать в редактируемом им журнале «Москвитянин» благожелательную (отчасти восторженную) статью о «Мертвых душах» К. С. Аксакова — «Несколько слов о поэме Гоголя “Похождения Чичикова или Мертвые души”» (см. ниже). Зато несколько месяцев спустя Погодин напечатал в «Москвитянине» статью неизвестного автора «Путевые впечатления», с примечанием: «Помещая эту статью, надеюсь, мне не нужно предупреждать читателей, что Москвитянин почти совершенно не согласен с литературными мнениями Автора. Я поставил себе за правило помещать все присылаемое ко мне: против себя, своих сотрудников и друзей, и при этом случае не нахожу причин изменять ему, — тем более, что статья имеет свои достоинства» [Погодин: 178]. В статье, в частности, содержался критический разбор первого тома «Мертвых душ». «В этом сочинении, — писал неизвестный рецензент, — нет никакого плана, ни даже тени правдоподобия; самый слог местами чересчур уже низок и приличен только толкучему рынку» [Путевые впечатления: 189]. Спустя еще три года Погодин поместил в своем журнале такой же негативный отзыв о «Мертвых душах» помощника попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастова, — того самого, который ранее, в 1841 г., исполняя обязанности председателя Московского цензурного комитета, выступил против публикации первого тома «Мертвых душ» (см. письмо Гоголя к П. А. Плетневу от 7 января 1842 г. [Гоголь 2009–2010. 12: 8]). В 1845 г. Голохвастов, автор трудов по древнерусской истории, первый издатель высоко оцененного позднее Гоголем «Домостроя», писал, имея в виду В. Г. Белинского: «Не

верим Рецензенту “О<течественных> З<аписок>”<sup>1</sup>, когда он говорит, что Русская литература в лице Гоголя “обратилась преимущественно к изображению русского общества”. <...> Грибоедов и Гоголь показали нам одни карикатуры. Если они хотели составить нравственно-патологическую коллекцию уродов, то вполне успели. Если же это изображение нынешнего Русского общества, то любопытно, в ком из действующих лиц в комедии Грибоедова и в романе Гоголя, — а их довольно много, — Рецензент захочет узнать себя, своего отца, мать, брата или сестру? Неужели мы Русские должны так мало уважать в себе человечество, так мало сознавать в себе *человеческого* и *национального* достоинства, что при всякой выставке карикатур должны хлопать в ладоши и с восхищением кричать: это мы! это мы! похожи! похожи как две капли воды!» [Голохвастов: 71–72]. В 1846 г. в обзоре одного из ближайших сотрудников Погодина в «Москвитянине» А. Е. Студитского «Русская словесность в 1845-м году» о Гоголе говорилось как о продолжателе «разрушительного» направления, заданного О. И. Сенковским и поддержанного М. Ю. Лермонтовым. «... Мы хотели, — писал Студитский, — <...>, чтобы поэт взглянул <...> на нашу жизнь, чтобы в его созданиях, как в верном зеркале, мы могли видеть себя со всех сторон». В «Мертвых душах», продолжал критик, «<ни> одного лица нет живого — в благородном значении этого слова, <...> название <“мертвые души”> столько же прилагается и к тем душам, которые торгуются, продаются, покупаются, вводятся в крепости, и к тем, которые торгуют, продают, покупают, заключают крепости! Самое отвращение общества к отвратительному торгу выразилось в мертвой, отвратительной форме! <...> Преклоняемся пред дарованием поэта, но жалеем о том мертвом направлении, по которому он шел до сих пор, изображая великую Русь, и ожидаем с нетерпением новых произведений его гения, кои должны примирить с ним и недовольных» [Студитский: 253–256]. В 1848 г. в погодинском «Москвитянине» появилась также статья М. А. Дмитриева «О натуральной школе и народности», где тот в свою очередь замечал: «Никто не будет отрицать, чтобы в первых произведениях Гоголя, в Вечерах на хуторе — и в Миргороде, не было натуры; однако ж в них он не был копи<и>стом.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду рецензия В. Г. Белинского на книгу «Грамматические разыскания В. А. Васильева» (СПб., 1845), опубликованная в № 8 «Отечественных Записок» за 1845 г.



<...> Напротив (да простят мне и Гоголь, которого люблю, и его прежние поклонники, которых не люблю) — в повести *Мертвые души*, в которой он слишком близко захотел подойти к действительному миру (хотя и не подошел к нему) — я не вижу художника, потому что не вижу целостности идеи в жизни, им изображаемой!» [Дмитриев: 21–23].

Приятель Погодина, цензор и этнограф И. М. Снегирев, через которого в 1842 г. Гоголь безуспешно пытался провести в московской цензуре первый том «Мертвых душ», позднее в частной беседе высказывался о поэме предельно откровенно. Спустя месяц после кончины Гоголя, 19 марта 1852 г., Ф. И. Буслаев записал в дневнике: «Глубокомысленный И. М. Снегирев, по случаю толков о Гоголе, с свойственной ему пако-стию, изволил выразиться: “оно и точно! как посмотришь с другой стороны, так что же такого сделал Гоголь? Разве то-то, что показал Европе жопу России, которой он поднял подол”» [Гоголь в воспоминаниях 3: 16]. (За исключением резкости высказывания, Снегирев, по сути, почти буквально повторял суждение о «Мертвых душах» своего непосредственного начальника в цензурном комитете Голохвастова).

## 2. Зарождение полемики К. С. Аксакова и В. Г. Белинского о «Мертвых душах»

Несмотря на отмеченные Герценом полярные мнения о гоголевской поэме как в кругу славянофилов, так и в среде «антиславянистов», главный водораздел между суждениями, тем не менее, проходил все-таки не внутри партий, а между ними. Центральное место здесь, безусловно, занимает полемика о поэме Гоголя двух наиболее выдающихся зачинателей славянофильского и западнического течений русской мысли К. С. Аксакова и В. Г. Белинского. Не случайно эта полемика, оказавшая существенное влияние на само формирование славянофильства и западничества (она является *первым* публичным актом размежевания в позициях критиков), неоднократно привлекала к себе внимание исследователей<sup>1</sup>. Однако до сих пор до конца не проясненными остаются ни

---

<sup>1</sup> См., в частности, статью В. В. Кожина [Кожин] и обстоятельное исследование В. А. Кошелева [Кошелев 1976]. Особо следует отметить издания текстов К. С. Аксакова, подготовленные А. С. Куриловым [Аксаков К. С., Аксаков И. С.] и В. А. Кошелевым [Аксаков К. С. 1995].

существо спора, ни отношение к этой полемике самого Гоголя. Назрела необходимость определить, по каким причинам полемика о литературном произведении, в частности, наблюдения о жанре гоголевского произведения, приобрели в свое время такое значение, что спор о «Мертвых душах» стал, по выражению Белинского, «вопросом столько же литературным, сколько и общественным» [Белинский 5: 114].

Повод для размышлений был дан самим Гоголем. На рисованной им обложке первого тома «Мертвых душ» слово «ПОЭМА» было напечатано крупными, выделяющимися буквами — крупнее даже самого заглавия. Необычность авторского определения жанра нового произведения была прежде всего замечена первыми критиками поэмы. Недоброжелатели Гоголя, Н. А. Полевой, О. И. Сенковский, Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, расценили его как «шутку» [Полевой Н. А.: 40; Сенковский: 24; Греч: 547], «верх смешного» [Булгарин: 346]. Барон Е. Ф. Розен считал авторское определение жанра «Мертвых душ» «почетным», но «им не подобающим титулом» [Розен: 722]. Е. А. Боратынский летом 1842 г. писал матери по поводу «Похождений Чичикова...», что «рассуждения о чувствах, тирады о России кажутся совершенно не к месту в этом бурлескном произведении, украшенном названием поэмы» [Боратынский: 63]. Более сдержанно на этот счет высказался в 1842 г. рецензент «Литературной Газеты» (издававшейся под редакцией Ф. А. Кони): «Без всякого сомнения, автор “Мертвых душ” только в шутку назвал *поэмою* свое прекрасное произведение. Но если поэма, в сравнении с романом, обхватывает собою более огромную сторону жизни какого-либо народа, то “Мертвые души” не без причины названы поэмою. Это поэма комическая...» [Похождения Чичикова: 470].

Еще более благожелательно отозвался об авторском определении жанра «Мертвых душ» друг Гоголя, поэт и критик С. П. Шевырев, замечая, что «полный ответ» на вопрос, почему новое создание Гоголя названо поэмой, «можно дать только тогда, когда будет окончено все произведение»: «Теперь же значение слова: Поэма, кажется нам двояким: если взглянуть на произведение со стороны фантазии, которая в нем участвует, то можно принять его в настоящем поэтическом, даже высоком смысле; но если взглянуть на комический юмор, преобладающий в содержании первой части, то невольно из-за слова: Поэма, выглянет глубокая, значительная ирония, и скажешь внутренно: не

прибавить ли уж к заглавию: Поэма нашего времени?» [Шевырев 1842b: 376].

В. Г. Белинский в статье «Похождения Чичикова, или Мертвые души», опубликованной в 1842 г. в июльском номере «Отечественных Записок», писал: «...Мы скажем только, что не в шутку назвал Гоголь свой роман “поэмою” и что не комическую поэму разумеет он под нею. <...> Мы не видим в ней ничего шуточного и смешного; ни в одном слове автора не заметили мы намерения смешить читателя: все серьезно, спокойно, истинно и глубоко... Не забудьте, что книга эта есть только экспозиция, введение в поэму, что автор обещает еще две такие же большие книги, в которых мы снова встретимся с Чичиковым и увидим новые лица, в которых Русь выразится с другой своей стороны... Нельзя ошибочнее смотреть на “Мертвые души” и грубее понимать их, как видя в них сатиру» [Белинский 5: 53–54].

Сходное мнение о «Мертвых душах» высказал тогда же двадцатипятилетний К. С. Аксаков — в ту пору начинающий поэт и критик, впоследствии член-корреспондент Академии наук, магистр русского языка и словесности. В конце мая 1842 г. он писал Ю. Ф. Самарину по поводу «Мертвых душ»: «В голове у меня образуется целая статья, и я, может быть, напишу ее, может быть и напечатаю» [Гоголь в неизданной переписке: 624]. К. С. Аксаков выполнил свое намерение и опубликовал статью «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души» [Аксаков К. С. 1842a]. Брошюра К. С. Аксакова вышла в свет во второй половине июля 1842 г., то есть спустя две-три недели после статьи Белинского. Рассматривая сходство Гоголя с Гомером (впрочем, лишь «в отношении к акту творчества»), К. С. Аксаков замечал: «...Глубоко значение, являющееся нам в “Мертвых Душах” Гоголя! <...> ...Древний эпос восстает пред нами. <...>...Эпическое созерцание Гоголя — древнее, истинное, то же, какое и у Гомера... <...>, из-под его творческой руки восстает, наконец, древний, истинный эпос. <...> Да, это поэма, и это название нам доказывает, что автор понимал, что производил; понимал всю великость и важность своего дела» [Аксаков К. С. 1842a: 1, 5, 8].

Очевидно, что взгляды К. С. Аксакова и В. Г. Белинского на гоголевскую поэму — по крайней мере, в том, что «Мертвые души» не являются сатирой, — первоначально почти совпадали. Однако прочитав статью Константина Аксакова, Белинский поспешил размежеваться со

славянофильскими воззрениями: «...Поскольку концепция Аксакова <...> была аргументом в пользу славянофильских идей, Белинский немедленно выступил с резкой полемикой» [Кожин: 74]. Вследствие этого критик отказался рассматривать замысел поэмы в целом и сосредоточил внимание лишь на первом томе. «В смысле поэмы “Мертвые души” диаметрально противоположны “Илиаде”. В “Илиаде” жизнь возведена на апофеозу: в “Мертвых душах” она разлагается и отрицается», — писал Белинский в рецензии на брошюру К. С. Аксакова [Белинский 5: 58].

Ранее в современной Гоголю критике уже высказывалось мнение о сходстве его произведений с поэмами Гомера. Еще в 1835 г., предвзято наблюдая К. С. Аксакова, тот же Белинский замечал о «Тарасе Бульбе»: «Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!.. Если говорят, что в “Илиаде” отражается вся жизнь греческая в героический ее период, то разве одни пиитики и риторики прошлого века запретят сказать то же самое и о “Тарасе Бульбе” в отношении к Малороссии XVI века...» [Белинский 1: 181]. Слова Белинского о гоголевской повести — «дивной эпопее <...> достойной Гомера» [Белинский 1: 175] — запомнились, и в 1842 г. еще один недоброжелатель Гоголя, К. П. Масальский, имея в виду эти высказывания, восклицал: «Мы не понимаем, почему *Мертвые души* названы поэмой. Насмешники, пожалуй, скажут, что автор поверил критикам, которые произвели его за *Тараса Бульбу* в Гомеры, и назвал *Похождения Чичикова* поэмою потому, что Гомерова *Илиада* называется поэмою. Вероятно это шутка; но нам кажется, что шутить в заглавии сочинения неуместно. Всякую вещь должно называть ее именем, говорит французская пословица. Если *Похождения Чичикова* поэма, то мы не видим препятствия назвать *Ревизора* трагедией<sup>1</sup> в пяти действиях» [Масальский: 5].

---

<sup>1</sup> Заметим, что последнее предположение было недалеко от истины. Сам Гоголь видел в «Ревизоре» не простую комедию, но «комедию-трагедию» (подробнее об этом см.: [Виноградов 2000а: 293–295]). Трагический характер гоголевского смеха современники усматривали не только в «Ревизоре». С. Т. Аксаков в письме от 6–8 февраля 1843 г., к примеру, сообщал Гоголю: «Вчера был у меня П<авлов>, который, несмотря на больные глаза, приезжал в театр, который был поражен “Игроками” и, сидя подле меня, говорил, что это — трагедия...» [Гоголь 2009–2010 12: 182]. По наблюдению В. И. Шенрока, «осуждение Н. Ф. Павловым “Игроков”

Таким образом, Белинский, взявший поначалу под защиту гоголевское определение жанра «Мертвых душ», спустя месяц, в полемике с К. С. Аксаковым, отвергнув сравнение поэмы Гоголя с поэмами Гомера, вернулся к своим ранним утверждениям о невозможности жанра «поэмы» в современной литературе (см. ниже). Очевидно, что высказанное тогда Белинским утверждение, что с Гомером у Гоголя «нет ничего общего» [Белинский 5: 144], диктовалось прежде всего тактическими соображениями, — ибо нередко «те или иные высказывания Белинского о Гоголе были продиктованы требованиями литературной политики» [Кожин: 73]. Сказанные в этой полемике слова Белинского о том, что «“Илиаду” может напомнить собою только такая поэма <...> в которой <...> жизнь *полагается*, а не *отрицается*» [Белинский 5: 158], вполне могли быть применены к «Тарасу Бульбе», — а следовательно, не исключали и прежнего сравнения Гоголя с Гомером. Однако к прежнему своему высказыванию о «Тарасе Бульбе» как «гомерической эпопее» Белинский так и не вернулся. Выделяя впоследствии, в «Ответе “Москвитянину”», гоголевскую повесть из других созданий Гоголя (где писатель является «живописцем пошлости жизни») как произведение «высоко трагическое», Белинский подчеркивал, что «из всех известных произведений европейских литератур» пример подобного, как в «Тарасе Бульбе», «слияния серьезного и смешного, трагического и комического, ничтожности и пошлости жизни со всем, что есть в ней великого и прекрасного, представляет только “Дон-Кихот Сервантеса» [Белинский 8: 311–312].

Еще одним примером «тактической» переменчивости суждений Белинского применительно к задачам литературной полемики может служить его статья «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке». Едва успев выступить с возражением на брошюру К. С. Аксакова, Белинский в «Литературном разговоре...», напечатанном месяц спустя, споря с О. И. Сенковским, вновь берет под защиту авторское определение жанра «Мертвых душ». Белинский замечает: «... Что касается до меня лично, я *пока* готов принять слово “поэма”,

---

за то, что эта пьеса вовсе не комедия, а трагедия», а также мнение того же Павлова о том, что ее «не следовало <...> печатать», использовано Гоголем в «Развязке Ревизора», будучи в несколько измененном виде отнесено к «Ревизору»: «Гоголь заставил там Петра Петровича воскликнуть: “Признаюсь на меня *ни одна трагедия*, не производила такого печально-го, такого тягостного, такого безотрадного чувства”» [Шенрок: 102].

в отношении к “Мертвым душам”, за равнозначительное слову “творение”. В этом значении всякое произведение поэзии есть поэма — и ода, и песня, и трагедия, и комедия. <...> Что рецензент насмехается над словом “поэма” в приложении к “Мертвым душам”, это происходит оттого, что он не понимает значения слова “поэма”. Как видно из его намеков, поэма непременно должна воспевать народ в лице ее героев. Может быть, “Мертвые души” и названы поэмою в этом значении; но произнести какой-нибудь суд над ними, в этом отношении, можно только тогда, когда выйдут две остальные части поэмы» [Белинский 5: 129]. По замечанию В. А. Кошелева, «разные полемические соображения заставляют Белинского ставить под вопрос гоголевское обозначение жанра»: «В полемике с Сенковским ему важно указать на *глубину* гоголевского замысла; в споре с Аксаковым — умерить излишнее рвение своего оппонента» [Кошелев 1976: 99].

Таким образом, сделанные наблюдения приводят к выводу, что, судя по раннему отзыву Белинского о «Тарасе Бульбе», по его отзывам о «Мертвых душах» в статьях «Похождения Чичикова...» и «Литературный разговор...», позиция критика в его полемике с Константином Аксаковым, в которой он существенно изменил свою первоначальную точку зрения на связь творчества Гоголя с наследием Гомера, была не вполне искренней. Она диктовалась тактическими соображениями Белинского, всегда считавшего политические задачи литературной критики первостепенными.

### 3. Противники и защитники брошюры Аксакова

Однако первым противником статьи К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя “Похождения Чичикова или Мертвые души”» стал не Белинский, а еще один из близких друзей Гоголя, известный историк, прозаик и публицист М. П. Погодин — а вместе с ним и Шевырев. В 1842 г. Погодин отказался напечатать аксаковскую статью в редактируемом им журнале «Москвитянин». По объяснению его биографа Н. П. Барсукова, «познакомившись с этою статьею, Погодин, любя автора и оберегая его от насмешек, не согласился напечатать ее в Москвитянине; это возбудило неудовольствие С. Т. Аксакова, и он жаловался на Погодина Гоголю» [Барсуков 6: 297–298].

Сергей Тимофеевич Аксаков, отец К. С. Аксакова, известный впоследствии писатель, свою «жалобу» на Погодина изложил в письме к Гоголю от 3–5 июля 1842 г.: «Вчера <4 июля> получил Константин письма от Погодина, который отказывается напечатать его статью о “Мертвых душах”, хотя она уже была набрана<sup>1</sup>; будучи сам слеп, боится, что осмеют человека зрячего... <...> Константин напечатает свою статью особой брошюрой» [Гоголь 2009–2010. 12: 91].

Позднее С. Т. Аксаков в своей «Истории нашего знакомства с Гоголем...» пояснял: «Статья Константина, о которой говорится в этом письме, была принята Погодиным в журнал без всякого сопротивления, но его сбил Шевырев. Погодин очень боялся, что мы с Константином осердимся за его отказ напечатать статью, и написал об этом большое письмо ко мне... <...> Я отвечал очень ласково <...> и уверял его, что Константин не питает никакого неудовольствия... <...> Погодин очень обрадовался и написал к нам пренежную записку, в которой расхвалил Константина за его скромность и кротость. Погодин немедленно уехал за границу и, уже будучи в Париже, получил известие, что статья Константина напечатана» [Гоголь в воспоминаниях 2: 719].

Шевырев 1 сентября 1842 г. сообщал Погодину: «Ты принял ответ Аксакова за смирение: он ту же минуту выдал статью свою брошюрой

---

<sup>1</sup> Цензурная история брошюры К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души» (М., 1842; подпись под текстом: «Июня 16 1842». Цензурное разрешение 7 июля. Цензор Н. Крылов [Аксаков К. С. 1842а]) отражена в «Журналах заседаний Московского цензурного комитета» за июль 1842 г. Из этой истории следует, что статья К. С. Аксакова была представлена в цензуру еще в июне 1842 г., следовательно, действительно предназначалась для журнала, так как М. П. Погодин отказал Аксакову в публикации лишь 4 июля. «Июля 3-го дня <...> Представлены были <в июне>: Рукописи: <...> Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души. Определено: Поручить рассмотреть Г. Цензору Крылову. <...> Июля 10-го дня <...> Одобрены к напечатанию <...> с 9 по 16 число Июня Г. Цензором Крыловым рукопись: Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души. Определено: Выдать представившим. <...> Июля 24-го дня <...> с 17 по 24 число сего Июля месяца выданы были Г. Цензорами билеты на выпуск в свет отпечатанных книг и нот; а именно: <...> Г. Цензором Крыловым на книгу: Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души» (Центральный государственный архив Москвы (ЦГАМ). Ф. 31. Оп. 5. Д. 169. Л. 27 об., 31, 37 об.).

отдельной. Но всеобщий хохот читавших (даже и его стороны) был ему возмездием за гордость. Осрамился совершенно! Даже Белинский в Отеч<ественных> Зап<исках> сказал ему дело — оправдывается у нас в 9-м №» [Гоголь в воспоминаниях 2: 92].

После того, как К. С. Аксаков ответил на рецензию Белинского статьей «Объяснение» в девятом номере «Москвитянина» за 1842 г. (подпись под статьей: 17 авг<уста> 1842; цензурное разрешение 25 сентября [Аксаков К. С. 1842b]), Белинский откликнулся на возражения Аксакова «Объяснением на Объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”», опубликованным в том же году в ноябрьском номере «Отечественных Записок» [Белинский 5: 139–160]. На этом журнальная полемика прекратилась, так как на последнее выступление Белинского Константин Аксаков отвечать не стал. Первоначально он даже сомневался, стоит ли печатать и «Объяснение», а убедившись в том, что любые объяснения бесполезны, воздержался от продолжения спора. Сестра К. С. Аксакова Вера в письме к М. Г. Карташевской от 1 ноября 1842 г. замечала по поводу «Объяснения на Объяснение...» Белинского: «Никакое благородство не защитит против этих бессовестных, бесчестных журналистов...» [Аксаков К. С. 1995: 492], а в письме от 13 ноября 1842 г. добавляла, что статья Белинского «разумеется... останется без ответа» [Аксаков К. С. 1995: 492].

1 октября 1842 г. Погодин писал С. Т. Аксакову из Парижа: «Как горько было мне услышать, что Константин напечатал свою статью о Гоголе! Как досадно мне было на вашу слабость. Неужели и в вас недостало столько литературной доверенности ко мне, чтоб согласиться со мною, что статья не годится для печати в первом виде? Неужели я не напечатал ее без основания? Неужели легко мне было прислать ее назад? Неужели не рад бы я был всякому успеху Константина?» [Гоголь в воспоминаниях: 721].

Дело, однако, заключалось не только в «заботе» Погодина о литературной репутации Константина Аксакова. По-видимому, сыграло роль и личное нерасположение Погодина к К. С. Аксакову. Погодин, в частном пансионе которого одно время обучался Константин Аксаков, относился к своему бывшему воспитаннику неоднозначно. В дневнике под 25–26 августа 1845 г. он, в частности, записал о Константине Аксакове: «Как противе<н> этот болтун: год он был без памяти от Гегеля, потом “Мертвых душ”, потом лекций Грано<вского>, теперь



Шев<ырева>, которого ненавидит и презирает»<sup>1</sup> (ср. также слова С. Т. Аксакова из письма к Гоголю от 21 мая 1848 г. о «давно затаенной злобе» Погодина «на Константина» [Гоголь 2009–2010. 15: 88]).

А. П. Елагина 23 сентября 1842 г. сообщала А. Н. Попову о новостях московской литературной жизни: «Гремит брошюрка Аксакова о Гоголе. Поэма его возвышена до небес и сравнена с Шекспиром, с Гомером. Это бы еще хорошо бы, *как мнение*; но выражено оно не совсем изящно» [Бартенев 1886: 336]. М. Н. Катков 20 февраля 1843 г. извещал того же Попова из Москвы, что «брошюрка Аксакова возбудила и здесь общий смех» [Катков: 480].

Позднее С. Т. Аксаков вспоминал о статье своего сына: «Погодин [и Шевырев] не ошибся в том, что она будет принята всеми враждебно. <...> Как только она вышла из печати, все журналисты, все неприятели и даже почти все приятели Гоголя, говоря буквально, взбесились. Град ругательств, злобных насмешек и всякого рода оскорблений посыпался печатно и письменно на Константина. Надобно сказать, что один только Плетнев оценил печатно брошюрку Констан<ина><sup>2</sup> и отдал ей должную справедливость. Раздражение было так велико, что сначала не было возможности ни с кем спорить. Я ожидал восстания, но не всеобщего и не в такой степени неистового. Я был так удивлен им, что даже на некоторое время усумнился в справедливости моего собственного взгляда и суда. 12 уже лет прошло этому событию; не один раз перечитал я эту брошюру с искренним желанием найти в ней справедливые причины общего раздражения. Собираясь писать эти строки, я еще раз прочел ее и не нахожу ничего, что могло бы оправдать волнение, ею произведенное. Раздавался общий крик, что Константин назвал Гоголя Гомером, что совершенная неправда. Константин сказал только, что у Гоголя *есть эпическое созерцание, древнее, истинное, какое было и у Гомера*. Я спрашиваю по совести каждого: значит ли это, что Гоголь равен Гомеру, что он Гомер? Бесновавшийся тогда Шевырев сам через несколько лет переврал в одной из своих статей именно эту

---

<sup>1</sup> *Погодин М. П.* Дневник. 1840–1845 // Российская государственная библиотека (далее — РГБ). Ф. 231. Разд. I. К. 33. Ед. хр. 1. Л. 74 об. Н. П. Барсуков ошибочно читал иначе: «Как противны эти болтуны: год они были без памяти от Гоголя, потом от “Мертвых душ”, от лекций Грановского, теперь Шевырева, которого ненавидели и презирали» [Барсуков. Кн. 8: 85].

<sup>2</sup> Рецензию П. А. Плетнева см. ниже.

самую мысль Константина, а потом и еще кто-то в одном из петербургских журналов повторил эту же мысль — и никто не обратил даже внимания на них» [Гоголь в воспоминаниях 2: 719].

На непоследовательность Шевырева в полемике по поводу сходства «эпического созерцания» у Гоголя и Гомера указывала также В. С. Аксакова в письме к двоюродной сестре М. Г. Карташевской от 6 сентября 1842 г.: «Получила ли ты Москвитянин и прочла ли ты обе статьи Шевырева о Мер<твых> Душ<ах> (см.: [Шевырев 1842а; 1842б]. — И. В.)... <...> Ты увидишь, как Шевырев сам невольно подтверждает ту мысль, что в Гоголе есть какое-то сходство или сродство с Гомером; он приводит на одной странице сравнение из Гомера и сравнение из Гоголя и потом еще сравнение из Данта... (В 1833 г. Шевырев защитил свою знаменитую диссертацию о Данте. — И. В.) <...> Несмотря на то, что сам его сравнивает в некотором отношении с Гомером, он ужасно нападает на брошюрку... <...> потому что большею частью всех испугало сближение этих имен вместе, и никто больше ничего уже не рассмотрел» [Гоголь в воспоминаниях 2: 828]. Сходство позиций Шевырева и Константина Аксакова в отношении к поэме Гоголя было замечено и в рядах недоброжелателей аксаковской брошюры. К примеру, А. А. Григорьев четыре года спустя настолько не различал особенностей оценки «Мертвых душ» двумя критиками-славянофилами, что даже смешал статьи Шевырева и Константина Аксакова: «...С нетерпением ожидали мы настоящего восточного, неподдельного славянского мнения, того мнения, которое в великой поэме Гоголя понял только Селифана с его словами: “От чего ж мужика и не посечь”, и потом в этой новой Divina Comedia увидело Илиаду» [Григорьев: 23].

Таким образом, у статьи К. С. Аксакова по поводу «Мертвых душ» образовался целый круг противников. Однако сказать, что она подверглась всеобщему осуждению, было бы несправедливо. У аксаковской статьи сложился в то же время не менее значимый ряд авторитетных сторонников: А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, П. А. Плетнев, Н. И. Надеждин, А. О. Смирнова.

По свидетельству самого К. С. Аксакова в письме к Гоголю от начала ноября 1842 г., Хомяков и Самарин поддержали его идею еще при зарождении замысла статьи: «Мне кажется, главная трудность лежит в настоящем уразумении слова: *Поэма*, так по крайней мере, как я его понимаю. Когда стал я говорить о “Мертвых душах”, то нашел соглас-

ным с собой Хомякова и Самарина. “Это древний эпос с его великим созерцанием, разумеется, современный и свободный, в наше время, — но это он”, — услышал от меня <Н. Ф.> Павлов и вдруг то же услышал от Хомякова. Я сказал Хомякову, что хотел бы я написать о “Мертвых душах”; он советовал мне то же, и я написал статью “Несколько слов” для “Москвитянина”; туда не была она принята; тогда я напечатал ее брошюрой...» [Гоголь 2009–2010. 12: 155]. (Ранее, 13 февраля 1842 г., В. С. Аксакова в письме к брату Ивану также свидетельствовала, что в публичных спорах о Гоголе Хомяков «соглашается во всем с Константином» [Гоголь в воспоминаниях 2: 816]).

Действительно, 24 июля 1842 г. известный поэт, публицист, историк и богослов А. С. Хомяков писал Константину Аксакову: «Благодарю вас за письмо и за брошюру. Не понимаю трусости Погодина: чего он испугался? Чего пугался цензор? Храбрость была только с вашей стороны и то в смысле литературном, а не политическом. <...> Право, Погодин сам не понимает своих выгод: ему во всяком случае следовало напечатать вашу статью, <...> чтобы публика видела оценку серьезную, бесстрастную (т. е. без личной страсти) и чтобы петербургские журналы видели, что вопрос о Гоголе ими не понят, даже и теми, которые его хвалят. Кстати скажу, что в О<течественных> З<аписках> похвалы относятся более к уму журналиста, чем к гению писателя, и что ровно никакого смысла нет в самом разборе. <...> Вы высказали смело свою мысль: вы указали на достоинство поэмы и на ее народное значение, и вы не побоялись насмешек за фанатическую любовь к Гоголю, или за еще большую любовь к в<елико>-русскому началу» [Хомяков 1900: 344–345].

По поводу содержания брошюры Хомяков высказал лишь ряд частных замечаний: «Я, как вам известно, вполне разделяю с вами мнение о М<ертвых> Душах и об авторе и о том, что в нем заметно воскресение первобытной искренней поэзии; но не прогневайтесь за некоторые критические замечания. Жаль, что вы не назвали нескольких имен великих поэтов, задавших себе большие задачи, но не вполне разрешивших свои задачи. Это пояснило бы мысль вашу, и даже благоговение, с которым вы назвали бы Гёте или Шиллера или Байрона, показало бы, что в вас не пристрастие, а чисто эстетическое чувство. <...> ...Вы совершенно правы, сказав, что М<алая> Россия получила возможность полного выражения, только подчинив себя в<елико>-русскому началу;

но вы не сказали ничего лестного для М<алой> России, а она заслуживает особую похвалу. Она имеет то, чего мы не имеем, да и иметь не будем: большую грацию, большую склонность к объективности, большую художественность. Сравнение В<елико>-России с головою справедливо, но унизительно для других областей. Быть может, ее скорее можно сравнить с высшими органами головы по черепословию. В них низшие органы получают свою общую гармонию; но они не заключают в себе весь смысл головы. Вот вам мои замечания не на ошибки, а на недосказы» [Хомяков 1900: 345–346].

Позднее в письме Шевыреву от второй половины августа 1842 г. Хомяков замечал: «Аксакову досталось от О<течественных> З<аписок>; да они, кажется, уже готовы и от Гоголя отступить. Что за глупый народ! У них на одном ряду Сервантес, Байрон, Жорж Занд и Беранже. Аксаков увлекся далеко, но если он будет продолжать брошюрку свою, то, полагаю, выйдет дельное. Он пояснит то, что без пояснения кажется смешным и нелепым. Мысль его главная следующая: “Искусство утратило везде свою беззаботную свободу; в нем более придуманного, чем созданного. Гоголь (как древние и Шекспир) есть художник поневоле и без намерения”. В этом много правды. О<течественные> З<аписки> говорят: “Тоголь зарожден В. Скоттом; без В. Скотта он был бы невозможен”. Это просто бессмыслица. Ничего общего нет между ними» [Бартенев 1878: 61–62]. 22 декабря 1842 г. В. С. Аксакова сообщила М. Г. Каргашевской по поводу статьи брата: «На днях приехал в Москву Хомяков, он совершенно согласен с брошюрой и уже спорил за нее» [Гоголь в воспоминаниях 2: 833].

В поддержку Константина Аксакова по поводу его суждения о «воскресении» в «Мертвых душах» «первобытной искренней поэзии» Хомяков выступил еще раз в 1843 г. в погодинском «Москвитянине»: «...Сам великий Гете, — создатель Фауста, гениальный поэт, смешон, когда античествуется и оглядывается: ладно ли? <...> В наш век явился художник гениальный, который и чувства, и мысль, и форму берет только из глубины своей души, из сокровища современной жизни; и в его творении все дышит, все говорит, все движется так живо, так самобытно, как в самой природе. Поймут ли его другие художники слова? Воспользуются ли его примером искусства пластические? Поймут ли и баварцы, что современному немцу нельзя быть ни эллином, ни мавром, ни византийцем?» [Хомяков 1843: 221–222].

В той или иной форме Хомяков повторял и развивал эти размышления о Гоголе и в своих позднейших статьях. В 1844 г. он замечал: «Новая эра не будет уже довольствоваться <...> подражаниями старым формам, этим мертвым торжествам баварского искусства. Она создаст новые живые формы, полные духовного смысла, в живописи и зодчестве, были бы только художники вполне русские и жили бы вполне русской жизнью. Словесность и музыка дали уже великий пример в Гоголе и Глинке. Нет человечески истинного без истинно народного!» [Хомяков 1844: 103].

В 1846 г. Хомяков добавлял: «Наша жизнь не перекипела, и наши духовные силы еще бодры и свежи. Действительно, единственное высокое современное художественное явление (в художестве слова) принадлежит нам. Эту радость подарила нас Малороссия, менее Средней России принявшая в себя наплыв чужеземных начал» [Хомяков 1846: 163].

По сути, в своих замечаниях о поэме Гоголя Хомяков окончательно «примирил» сходные позиции Аксакова и Шевырева. Последний еще в 1842 г., в статье о «Мертвых душах», отмечал: «Пора, пора уже нам от блестящей жизни внешней, которая нас слишком увлекает, возвращаться ко внутреннему бытию, к действительности собственно Русской, как бы ни казалась она ничтожна и отвратительна нам, увлекаемым незаслуженною гордостью чужого просвещения, — и потому каждое значительное произведение Русской Словесности, напоминающее нам о тяжелой существенности нашего внутреннего бытия, <...> может по всем правам иметь достоинство и благородного подвига на пользу Отечества. Русская Словесность никогда не чуждалась этого практического направления, а всегда призывала народ к сознанию своей внутренней жизни, — и Правительство наше (честь и хвала ему) никогда не скрывало от нас таких созданий, если только совершались они талантами истинными, с искренним чувством любви к России и с уверенностью в ее высоком назначении. В пышном веке Екатерины Фон-Визин вывел перед нами семейство Простаковых, и раскрыл одну из глубоких ран тогдашней России в семейном быту и воспитании. В наше время тот же подвиг совершен был Гоголем в Ревизоре, и совершается теперь в другой раз в Мертвых Душах» [Шевырев 1842а: 227–228].

Вслед за Шевыревым (и Хомяковым) мысль о глубокой связи «Мертвых душ» с русской жизнью повторил также в 1845 г. И. В. Киреевский: «До сих пор мы были и находимся еще под влиянием

французов и немцев. Жизнь нашей Словесности оторвана от жизни нашего народа. Но читая Гоголя, мы понимаем возможность их соединения» [Киреевский: 4–5].

Как писал С. Т. Аксаков, в печати в 1842 г. положительно отозвался о брошюре его сына лишь П. А. Плетнев. Впрочем, голос этого поэта и критика, профессора и ректора Петербургского университета, друга Пушкина и Жуковского, был едва ли не весомее целого отряда противников брошюры. В обзоре новых книг, напечатанном в № 4 редактируемого им журнала «Современник» за 1842 г., Плетнев замечал: «В отношении к поэзии и вообще к искусствам, называемым изящными, эта брошюра содержит в себе много новых для нашей публики идей, много мыслей, по-видимому смелых, но тем не менее выведенных из сущности искусств. Мы сожалеем, что автор бросил их слегка, не развивши каждой и не дав им системы. Если бы на своем основании вывел он здание целой науки, мы уверены, что она подействовала бы благотворнее на читателей. Гоголь именно потому и является у нас чем-то загадочным, что наука, объемлющая все стороны искусства его, едва по частям промелькнула перед нами. От того одни смотрят на Гоголя с энтузиазмом, другие хулят его донельзя» [Плетнев: 82]. (Двумя месяцами ранее сам Плетнев отозвался на поэму Гоголя статьей «Чичиков или Мертвые души, Гоголя», вызвавшей живой интерес Гоголя; см. подробнее: [Виноградов 2001с: 523–524].) В. С. Аксакова 22 декабря 1842 г. сообщала М. Г. Карташевской по поводу заметки П. А. Плетнева о брошюре К. С. Аксакова: «В № 4 Современника помещено защищение брошюрки, говорят, ее расхвалили как только можно» [Гоголь в воспоминаниях 2: 833].

В числе безусловных сторонников брошюры был также известный впоследствии критик, публицист и общественный деятель Ю. Ф. Самарин. В сентябре-октябре 1842 г. Самарин писал А. Н. Попову: «Аксаков напечатал о поэме Гоголя брошюру, с которою я вполне согласен, хотя многие в этом случае сомневаются в моей искренности и на которую все восстали...» [Попов Н. А.: 283]. В письме к самому К. С. Аксакову от второй половины октября 1842 г. Ю. Ф. Самарин замечал: «В наше последнее свидание мы говорили о поэме Гоголя и о том, как ее судят и понимают. <...> Я сам после второго чтения начал было писать об ней статью, но прочтя твою брошюрку, я вполне ею удовлетворился и отложил это дело. Мне кажется, ты сказал о “Мертвых ду-

шах” все, что можно и что должно было сказать, представив характер созерцания Гоголя, акта творчества, и устранив вопрос о содержании. В самом деле, о содержании поэмы пока еще говорить нельзя, оттого что мы имеем перед собою только начало» [Гоголь 2009–2010. 12: 226]. К. С. Аксаков в письме к А. Н. Попову от конца октября 1842 г. также сообщал: «Я написал брошюрку о “Мертвых душах” наскоро для журнала, и она не попала в журнал (Шевырев не захотел), и я напечатал отдельно. На меня все напали, за исключением Самарина и Хомякова, со мною согласных...» [Кулешов: 203–204].

На сторону Константина Аксакова в его полемике с Белинским встал также известный критик Н. И. Надеждин, негативно отзывавшись о Белинском. По свидетельству М. Г. Карташевской в письме к В. С. Аксаковой от 13 ноября 1842 г., Надеждин, хотя и говорил, что ему «больно читать» «Мертвые души», «больно за Россию и русских», однако был «ужасно возмущен дерзостью» Белинского в его споре с К. С. Аксаковым [Гоголь в неизданной переписке: 642]. Сам Надеждин осенью 1842 г. сообщал С.Т. Аксакову о своей случайной встрече с Белинским на вечере у И. И. Панаева: «...Встретил Белинского. После гнусной выходки против Константина эта рожа мне опротивела еще более» [Аксаков К. С. 1995: 492].

Позднее неожиданную косвенную поддержку положения брошюры К. С. Аксакова получили в статье французского поэта и критика Ш. О. Сент-Бёва, посвященной публикации во Франции в 1845 г. Л. Виардо перевода на французский язык пяти повестей Гоголя («Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Коляска», «Старосветские помещики», «Вий»), сделанного в 1844 г. И. С. Тургеневым и С. А. Геденовым. Напечатанная в № 12 «Revue des Deux Mondes» («Обозрение двух миров») за 1845 г. статья Ш. О. Сент-Бёва, была перепечатана в переводе в «Отечественных Записках» (1846. № 1) в статье Белинского «Отзывы французских журналов о Гоголе» (статья без подписи). 27 декабря 1845 г. В. С. Аксакова писала М. Г. Карташевской: «Слышала ли ты, милая Машенька, об статье St. Beuve о Гоголе в “Revue des Deux Mondes”? Мы ее еще не читали, но Иван <И. С. Аксаков> читал ее. Он почти сравнивает Гоголя с Гомером... и... Шекспиром, словом сказать, напоминает брошюрку брата, против которой многие так восставали, а с St. Beuve, вероятно, те же самые согласятся» [Гоголь в воспоминаниях 2: 845].

А. О. Смирнова, «не стовариваясь» с Верой Аксаковой, в январе 1846 г., в свою очередь, сообщала Плетневу: «Читали ли вы коротенькую critique de Ste-Beuve на Гоголя? Он славно разобрал Тараса для француза: полагает, что Гоголь напитан Шекспиром и Гомером...» [Грот, Плетнев: 931]. 14 января 1846 г. она писала самому Гоголю в Рим о «разборе St. Beuve»: «Для француза его статья очень замечательна, так об ней писал мне Аркадий <брат Смирновой, А. О. Россет> и Самарин, так же показалась она и мне. Странно довольно, что он повстречался мыслью с Константином Аксаковым в сближении описаний сражений с гомеровскими описаниями. Теперь замолчит вся болгаринщина, краевщина и проч. <...> Ведь для этих ослов мнения Запада авторитет, и в глазах Петербурга вы уже замечательное лицо...» [Гоголь 2009–2010. 13: 266–267].

Важно отметить и то, что, несмотря на недоразумения и «град ругательств, злобных насмешек и всякого рода оскорблений» [Гоголь в воспоминаниях 2: 719] в адрес Константина Аксакова по поводу его брошюры, высказанное в ней представление об исключительной самобытности гоголевского творчества разделяло большинство современников Гоголя.

К. А. Фарнгаген фон Энзе в 1841 г. писал, что Гоголь — писатель «гениальный, глубоко самобытный, <...> не сравнимый ни с каким образцом, не заслоненный никаким последователем» [Ботникова: 112].

И. В. Киреевский в 1845 г. указывал: «После появления Мертвых душ Гоголя много говорено было за них и против них <...> между тем от восторженных похвал и страстных порицаний осталось, кажется, одно общее убеждение, что Гоголь в словесности нашей есть представитель той новой, великой, до сих пор в ясном виде еще не являвшейся силы, которой неисчислимые результаты могут произвести совершенный переворот в нашей Литературе, и которую называют *силою Русской народности*» [Киреевский: 4–5].

Плетнев 21 ноября 1846 г. писал С. П. Шевыреву: «По совету вашему я непременно займусь новым периодом рус<ской> лит<ературы>. Но признаюсь, немного нахожу такого, что сообщило бы труду цену общечеловеческую. Все наше великое поднялось на каком-нибудь пьедестале иностранном. Державин, Карамзин, Крылов, Жуковский и Пушкин — это вся наша слава. Но поставьте подле них Клопштока, Гердера, Лафонтена, Шиллера и Байрона: на нашу долю остается небольшая часть творчества. Ежели Бог сохранит Гоголя и даст ему силы



вполне высказаться: вот где будет начало самобытной русской литературы. Мы еще не дотронулись до своей земли и жизни. Мы ученики, не вышедшие из школы. А литература должна отразить верно и жизнь, и язык, и место действия, и веру, и нравы, и законы, и правительство. О, это чудный предмет, когда его вообразишь ясно и полно!» [Н. В. Гоголь. Материалы и исследования: 172].

Примечательно также мнение графа В. А. Соллогуба, высказанное им в 1865 г. в публичном заседании московского Общества Любителей Российской Словесности: «Пушкин был великим художником, Гоголь гением. Пушкин все подчинял условиям пластики, эстетики, искусства: Гоголь ни к чему не готовился, не следовал никаким правилам, никаким образцам, не знал ни грамматики, ни правописания. Он был самобытен, самороден, и часто грешил против эстетического вкуса. Он обогатил русскую словесность своей личностью, своими произведениями...» [Соллогуб: 745–746].

По-своему о самобытности гоголевского творчества отзывался одноклассник Гоголя В. И. Любич-Романович. Говоря о литературных подражаниях учащихся Нежинской гимназии произведениям Пушкина, он писал: «Но Гоголь никаких примеров не выносил, не умел их ставить себе на вид; он был самобытен, бесподражателен, оригинален по-своему. Черта эта в нем нами не одобрялась, потому что мы в то время переживали эпоху подражания какому-либо из прославившихся своими литературными произведениями поэтов и ставили себя в зависимость от его влияний на нас. <...> ...Мы, простые смертные <...> не находили в Гоголе никаких заслуг перед обществом и смотрели на его литературные труды с презрением... <...> ... Среди нас, современников Гоголя, трудно было отыскать человека, хотя бы сколько-нибудь симпатизировавшего “Мертвым Душам” или “Ревизору”, и тем более еще “Кузнецу Вакуле”, ибо мы в то время смотрели на литературу как на творчество высшей среды. А Гоголь занялся какими-то Коробочками, Ноздревыми и Дмухановскими-Сквозниками... Это-то и отталкивало нас от него» [Глебов: 548–560].

Даже Белинский, несмотря на полемику с Аксаковым по поводу его статьи, до конца разделял подчеркнутое тем ощущение редкого своеобразия творчества Гоголя. В 1847 г., в «Ответе “Москвитянину”», критик писал: «...Гоголю не было образца, не было предшественников ни в русской, ни в иностранных литературах» [Белинский 8: 350].

#### 4. Отзывы Гоголя о брошюре Аксакова: ошибка комментаторов

В исследовательской литературе сложилось мнение, будто сам Гоголь неодобрительно воспринял брошюру К. С. Аксакова. Это мнение, как позволяет судить переписка Гоголя с Аксаковыми, отчасти основано на случайном недоразумении. Отзыв Гоголя, несмотря на упреки в «незрелости», был в целом положительным. На предположение Аксакова-отца, что Гоголь может «досадовать за брошюрку Константина» (письмо С. Т. Аксакова к Гоголю от 6–8 февраля 1843 г. [Гоголь 2009–2010. 12: 184]), писатель 18 марта (н. ст.) 1843 г. отвечал: «Константину Сергеевичу скажите, что я и не думал сердиться на него за брошюрку; напротив, в основании своем она замечательная вещь. Но разница страшная между диалектикою и письменным созданием, и горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще ребенок, не вызрела и не получила образа, видного всем, где бы всякое слово можно почти щупать пальцем. И вообще, чем глубже мысль, тем она может быть девственной самой мелкой мысли» [Гоголь 2009–2010. 12: 197].

Строки эти являются единственным известным нам откликом Гоголя на брошюру К. С. Аксакова, если не считать предупреждения, высказанного Гоголем еще до знакомства с аксаковской статьей в письме к С. Т. Аксакову от 18 августа (н. ст.) 1842 г. [Гоголь 2009–2010. 12: 109], а также позднейшего гоголевского замечания в послании к нему же от 21 декабря (н. ст.) 1844 г. [Гоголь 2009–2010. 12: 546].

В 1842 г. Гоголь писал: «Я был уверен, что Кон<стантин> Сер<геевич> глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы. Но, с другой стороны, чувствую заочно, что Погодин был отчасти прав, не поместив ее, несмотря на несправедливость этого дела. Я думаю просто, что ей рано быть напечатанной теперь. Молодой человек может встретить слишком сильную оппозицию в старых. Уже вопрос: почему многие не могут понять “Мертвых душ” с первого раза? — оскорбит многих. Мой совет — напечатать ее зимою, после двух или трех других критик. Недурно также рассмотреть, не слышится ли явно: *Я первый понял*. Этого слова не любят, и вообще лучше, чтобы не слышалось большого преимущества на стороне прежде понявших. Люди не понимают, что в этом нет никакого греха, что

это может случиться с самым глубоко образованным человеком, как случается всякому, в минуты хлопот и мыслей о другом, прослушать замечательное слово. Лучше всего, если бы Кон<стантин> Сер<геевич> прислал эту критику мне в Рим, переписавши ее на тоненькой бумажке для удобного вложения в письмо. Я слишком любопытен читать ее» [Гоголь 2009–2010. 12: 109].

В письме к С. Т. Аксакову 1844 г. Гоголь также добавлял, что К. С. Аксаков «опозорился в глазах света <...> написавши статью о “Мертвых душах”» [Гоголь 2009–2010. 12: 546].

Основанием для закрепившегося в литературе мнения о неодобрительном отношении Гоголя к брошюре Константина Аксакова служит главным образом ошибка, допущенная в свое время С. Т. Аксаковым при комментировании в его «Истории нашего знакомства с Гоголем...» письма Гоголя к К. С. Аксакову от 24 мая (н. ст.) 1843 г. Вследствие неочевидности допущенной С. Т. Аксаковым ошибки, этот эпизод требует более обстоятельного рассмотрения.

К. С. Аксаков при письме к Гоголю от начала ноября 1842 г. послал ему в Рим две свои статьи о «Мертвых душах» — «Несколько слов о поэме Гоголя...» и «Объяснение» (отдельный оттиск из журнала «Москвитянин»). Кроме того, в то же послание к Гоголю Аксаков вложил копию письма к нему Самарина от второй половины октября 1842 г., посвященного «Мертвым душам». (Сам К. С. Аксаков, в ответ на упомянутую просьбу Гоголя в письме от 18 августа (н. ст.) 1842 г., в послании от начала ноября сообщал: «Посылаю вам и брошюрку и мое возражение» [Гоголь 2009–2010. 12: 155], но В. С. Аксакова в письме М. Г. Карташевской от 18 ноября 1842 г. добавляла, что было отправлено и «письмо Самарина»: «Разумеется, все статьи невозможно сообщить, но брошюрка <К. С. Аксакова> и письмо Самарина уже посланы в Рим» [Гоголь в воспоминаниях 2: 832].) Но получив тогда письмо К. С. Аксакова, Гоголь, согласно строкам его следующего письма к Константину Аксакову, около 29 ноября (н. ст.) 1842 г., писал, что «статью <...> или критику» [Гоголь 2009–2010. 12: 157] он не получил (очевидно, не было получено и письмо Ю. Ф. Самарина). Тем не менее, в письме к С. Т. Аксакову от 18 марта (н. ст.) 1843 г. Гоголь отзывался о брошюре К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя...» как о прочитанной: «Константину Сергеевичу скажите, что я и не думал сердиться на него за брошюрку; напротив, в основании своем она замеча-

тельная вещь» и т. д. (см. выше) [Гоголь 2009–2010. 12: 197]. (Вероятно, статья была получена Гоголем из другого источника.) Позднее, в письме к С. Т. Аксакову от 7 апреля (н. ст.) 1843 г., Гоголь спрашивал о своих письмах к О. Сем. Аксаковой и К. С. Аксакову около 29 ноября 1842 г.: «Получили ли они эти письма и отчего никто из них не отвечал ниже двумя строчками» [Гоголь 2009–2010. 12: 206]. Вероятно, в ответ на это послание К. С. Аксаков в апреле 1843 г. вновь послал Гоголю *вторую* из своих статей — «Объяснение» (так как из упомянутого письма Гоголя от 18 марта (н. ст.) 1843 г. с очевидностью явствовало, что первую тот уже прочел). При этом Константин Аксаков вновь сопроводил свое «Объяснение» письмом о «Мертвых душах» Самарина. 24 мая (н. ст.) 1843 г. Гоголь отвечал К. С. Аксакову: «Простите, что я вас не благодарил до сих пор за присылку ваших статей о “М<ертвых> д<ушах>”. И та и другая имеют свои достоинства (писанная, как мне кажется, должна принадлежать Самарину), но в печатной, не прогневайтесь — видно много непростительной юности, и написанная кажется перед нею написанною стариком, хотя в ней и нет тех двух–трех истинно поэтических мыслей, как в вашей» [Гоголь 2009–2010. 12: 239]<sup>1</sup>.

Очевидно, что последний отзыв относился только к статье К. С. Аксакова «Объяснение», но отнюдь не к прочитанной ранее статье «Несколько слов о поэме Гоголя...» — вопреки мнению на этот счет, высказанному С. Т. Аксаковым [Гоголь в воспоминаниях 2: 747] и поддержанному затем В. И. Шенроком [Шенрок: 109–110] и последующими исследователями [Фридлендер: 627; Кошелев 1976: 87; Попов В. П.: 50].

С. Т. Аксаков в «Истории нашего знакомства с Гоголем...», комментируя приведенный критический отзыв Гоголя об «Объяснении» К. С. Аксакова (в письме к последнему от 24 мая (н. ст.) 1843 г.), ошибочно предположил, что этот отзыв относится к «печатной брошюрке Константина», т. е. к статье «Несколько слов о поэме Гоголя...». С. Т. Аксаков замечал: «Вместе с печатной брошюрой Константина была послана рукописная статья Самарина...» [Гоголь в воспоминаниях 2: 747] (курсив наш. — И. В.). Несмотря на допущенную ошибку, тот же С. Т. Аксаков тем не менее не без оснований полагал, что «недовольство» Гоголя брошюрой К. С. Аксакова было вызвано не содер-

---

<sup>1</sup> Прочитав эти строки, К. С. Аксаков писал Ю. Ф. Самарину: «Слова Гоголя породили во мне некоторую недоверчивость, которая и без того, вероятно, возбудилась бы» [Кошелев 1976: 87].

жанием, а несвоевременностью ее появления в печати. С. Т. Аксаков вспоминал: «Гоголь также остался недоволен появлением брошюры Константина, осуждая не столько ее смысл, как то, что она появилась не вовремя, в минуту общего недоумения, поражения, так сказать, произведенного “Мертвыми Душами”, когда большинство публики, оскорбленное, раздраженное восторгами поклонников Гоголя, не знало, что [ему] делать: хвалить или бранить? Первого не хотелось делать, на второе не смели вдруг решиться. Брошюра Конст<ант>ина как будто развязала им язык, и скрываемая многими злоба на Гоголя излилась сначала на сочинителя брошюры, а потом и на творца поэмы. В этом отношении Гоголь был совершенно прав. Брошюра наделала ему много зла. Нашелся, однако, один добросовестный человек, П. А. Плетнев, который, в издаваемом им журнале “Современник”, отозвался с большою похвалою и уважением о статье Константина» [Гоголь в воспоминаниях 2: 720].

## 5. Культурно-исторический контекст полемики о «Мертвых душах»: предыстория спора Аксакова и Белинского

Тем не менее, несмотря на допущенную С. Т. Аксаковым ошибку, по-видимому, не только преждевременность появления брошюры К. С. Аксакова была причиной сдержанного отношения к ней Гоголя. Хотя позиции Гоголя и Константина Аксакова в главном совпадали, существовали и определенные различия в их взглядах на существо поэмы.

Сам по себе вопрос о преждевременности выступления К. С. Аксакова имел для Гоголя принципиальное значение. Дело в том, что спор Аксакова с Белинским о «Мертвых душах» не ограничивался значением одной лишь гоголевской поэмы или даже определением места Гоголя в мировой литературе<sup>1</sup>. Вопрос стоял гораздо шире. Речь шла

---

<sup>1</sup> Ср.: «В центре спора — соотношение Гоголя с другими великими писателями. Спор продолжал проблему, поставленную в московском кружке (прежде всего К. С. Аксаковым и Белинским), — о мировом значении и достоинстве гоголевского творчества» [Манн: 178]. Сводить содержание полемики лишь к вопросу «рейтинга» представляется существенным сужением проблематики спора, даже если «для философской критики, традиции которой питали Белинского, это была часть историко-фило-

о роли культурной традиции в современном обществе вообще, в виду усиливающихся нигилистических тенденций западничества. Именно стремлением пресечь попытку западников вписать гоголевскую поэму в иную, нигилистическую «традицию» и объясняется прежде всего появление аксаковской брошюры<sup>1</sup>. В этом убеждает то общее направление деятельности К. С. Аксакова, в контексте которой спор об эпическом начале в «Мертвых душах» является лишь отдельным «эпизодом», составным звеном.

---

софской системы» (речь идет стремлении Белинского поставить Гоголя в один ряд с «смертельными врагами мракобесия, невежества, феодальных институтов и представлений») [Манн: 178–180].

<sup>1</sup> Под нигилистической «традицией» подразумевается та традиция «отрицания», которой следовал в оценке мировой классики Белинский и которую после него столь же последовательно выстраивали (подчас из весьма посредственных имен) в русском и мировом наследии советские идеологи, пытаясь оправдать свой разрушительный нигилизм по отношению к традиционной русской культуре в целом. Пытаясь обосновать свою нигилистическую «традицию», ища в истории авторитетов для подкрепления своей разрушительной идеологии, марксистские историки литературы, вслед за Белинским, закономерно стремились поставить на службу своим интересам творчество Гоголя. При этом идея воскрешения «мертвых душ», обращенная в гоголевских произведениях к каждому человеку лично, религиозный призыв к очищению нравов, восстановления «узаконенного порядка» и «невидимая брань» с мистически реальным злом, превращалась под пером нигилистической критики в прямую проповедь уничтожения и человеконенавистничества. Рассмотрение «Ревизора» и «Мертвых душ» как сатиры на русскую действительность преследовало цель представить героев гоголевских произведений в качестве «типичных» представителей тех лиц, которые «годны» были лишь к тому, чтобы ставить их к стенке, — а то, что утверждалось в сфере идеологии, получало, как известно, самое широкое применение на практике. Попытка же самого Гоголя, в автокомментариях к его произведениям, остановить нигилистическое, несовместимое с подлинной культурой, «употребление» его наследия выдавалось, вопреки здравому смыслу, за умаление их «общественного звучания». (Такую же судьбу в руках распространителей противообщественных учений разделили в XIX–XX вв., вместе с гоголевскими произведениями, многие явления отечественной культуры, не исключая текстов Священного Писания. В этой связи Гоголь в неотправленном письме к Белинскому 1847 г. прямо упоминал о «нынешних ком<м>унистах и социалистах, [объясняющих, что Христос по]велел отнимать имущества и гра<бить> тех, [которые нажили себе состояние]» [Гоголь 2009–2010. 14: 388].)

Хотя размышления о поэме Гоголя послужили поводом для первой публичной полемики Аксакова и Белинского, однако их первая размолвка случилась ранее — и не по поводу «Мертвых душ». Из письма В. С. Аксаковой к брату от 26 ноября 1839 г. известно, что накануне этого дня, 25 ноября, В. Г. Белинский и И. И. Панаев занесли С. Т. Аксакову свои письма К. С. Аксакову [Белинский в неизданной переписке: 135]. Письма эти не сохранились. Однако известно, что письмом Белинского К. С. Аксаков был крайне оскорблен. В ответном послании, отправленном в начале 1840 г., он замечал: «Я давно уж получил письмо твое, Виссарион, но не отвечал на него до сих пор. Ты нападаешь на Русских, на народность их, и между тем, в письме твоем, ты являешься Русским по преимуществу (по твоему определению Русского человека) в отношении к воню. Оно конечно, запах силен, но все мне гадко оставаться в нужнике: таково письмо твое» [Коншина: 205].

Позднее брат Константина Аксакова, И. С. Аксаков, публикуя ряд писем Белинского, сообщал: «Сколько помнится из рассказов К<онстантина> С<ергееви>ча (пишущий эти строки с 1838 по 1842 г. не жил в Москве, а воспитывался в Петербурге), было еще письмо Белинского, преисполненное самых грубых, неистовых, цинических ругательств на Россию и русского человека и самоуверенной похвалы, что в этом его новом отношении к русской народности заключался “новый момент развития”, высшая точка зрения, истинное разумение действительности. С свойственным ему остервенением искренности, Белинский мял и топтал беспощадно то, чему еще недавно сам поклонялся, глумился над Москвою и над новым направлением, которое уже возникало и созревало в К<онстантине> С<ергееви>че» [Аксаков И. С. 1881: 15].

(Судя по всему, «грязное и не эстетическое», «преисполненное» нападок «на Россию и русского человека» письмо Белинского 1839 г., оскорбившее Константина Аксакова, явилось определенным предвестием позднейшего, столь же оскорбительного письма Белинского к Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» 1847 г.)

Спустя год, в начале 1841 г., К. С. Аксаков писал отцу: «Я не читал статьи Белинского о Ломоносове<sup>1</sup>, потому что не получил

---

<sup>1</sup> Незадолго перед тем В. С. Аксакова сообщала родителям, С. Т. и О. Сем. Аксаковым: «Что это написано о Ломоносове в “Отеч<ественных> зап<исках>”? Константин, вероятно, взбесится на это?..» [Гоголь в воспо-

“О<течественных> Записок” этого номера. Я воображаю, что наврано о Ломоносове; на это точно надо отвечать диссертацией <...> предвижу, что мы с Белинским так схватимся литературно, как еще никто с ним не схватывался...» [Белинский в неизданной переписке: 145]. В этом письме К. С. Аксаков как бы заранее обозначил и свой будущий спор с Белинским по поводу «Мертвых душ», и позднейший «ответ» Белинскому по поводу М. В. Ломоносова — свою магистерскую диссертацию «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», напечатанную в 1846 г., но вчерне законченную еще в 1839-м. В обоих этих «ответах» западничеству речь шла именно о защите культурной традиции. И хотя полемика Аксакова с Белинским о Ломоносове оказалась не вполне последовательной, «половинчатой» (главным образом потому, что Аксаков разделял негативное отношение Белинского по отношению к «одической» литературе XVIII в. [Виноградов 2019а]), однако не случайно, в диссертации, посвященной ломоносовскому наследию, непосредственно оказываются строки, как бы продолжающие полемику Аксакова с Белинским по поводу гоголевской поэмы. Впервые на это указал брат Константина Аксакова Иван. К сожалению, исследователи до настоящего времени не обращали должного внимания на это указание. 1 декабря 1845 г. И. С. Аксаков сообщал отцу из Калуги: «Каждый вечер провожу я у А. О. Смирновой... <...> Я объяснял ей

---

минаниях 2: 811]. Можно предположить, что В. С. Аксакова имела в виду напечатанную в № 11 «Отечественных Записок» за 1840 г. (цензурное разрешение 14 ноября) рецензию В. Г. Белинского на трехтомное собрание сочинений М. В. Ломоносова, вышедшее в свет в 1840 г. В рецензии Белинский заявлял, что «в трудах и жизни Ломоносова гораздо больше поэзии, чем в его вдохновениях, принявших на себя форму тяжелых стихов», и утверждал, что Ломоносов «не нужен публике» [Белинский. Т. 3: 445–446]. Однако вероятнее, что письмо к родителям В. С. Аксакова написала после получения из Петербурга послания ее двоюродной сестры М. Г. Каргашевской от начала 1841 г., в котором та сообщила: «Сегодня Гришенька <Г. С. Аксаков> принес мне 1 № “Отечественных Записок”... <...> В этой же книге есть опять критика Б<елинского>, и, пробежав листы, я видела имя Ломоносова. Теперь мне досадны его глупые слова» [Гоголь в воспоминаниях 2: 811]. Под «глупыми словами» Каргашевская, вероятно, подразумевала следующую фразу Белинского о Ломоносове в статье «Русская литература в 1840 году»: «Что же до его прозы — трудно решить, больше вреда, или больше пользы оказал он русскому языку, заковав его в чуждое ему построение латинских и немецких периодов» [Белинский 3: 445–446].



и содержание Костиной брошюрки, толковал ей ту чудесную вещь, которая находится в третьей части его диссертации о воззрении на мир древнего человека<sup>1</sup>, о Гомере, о значении юмора в наше время...» [Аксаков И. С. 1888а: 302, 304; Аксаков И. С. 1988: 228–230].

Не случайно и то, что в защите К. С. Аксаковым культурных традиций, в противовес западническому нигилизму, в одном ряду оказываются не только его размышления о Ломоносове и о поэме Гоголя, но и... небезызвестный факт ношения К. С. Аксаковым русского кафтана и бороды. Во всяком случае, определено в одном ряду рассма-

---

<sup>1</sup> Имеются в виду следующие строки из третьей, заключительной части диссертации К. С. Аксакова, которые могут служить комментарием к словам его статьи 1842 г., что «эпическое созерцание Гоголя — древнее, истинное, то же, какое и у Гомера». В диссертации Аксаков писал: «Первобытное созерцание и первобытное слово таково, что оно видит и наполняется совершенно созерцаемым предметом... <...> Но слово не осталось и не могло остаться в таком положении; человек имеет свой путь, свои заботы, свою частную жизнь, свою частную природу и свои новые требования, перешагивающие за границы природы... <...> Слово последовало с ним; оно стало выражением его нужд, стало выражением его человеческой жизни, стало ему орудием, — и возмutilась его созерцательная ясность, побледнели его краски, стал отвлеченным его образ. <...> Поэзия сама уже не может быть та, что была прежде; содержание ее, также и жизнь переменились; она отрывает от случайности эту жизнь; перед ней падает в прах все мелкое, все корыстное и низкое, — и то высокое стремление, которое несется в жизни, с одной стороны, — та скорбь и горькая насмешка, юмор, с другой, — одушевляют ее. Этой жизни служит слово; и поэзия, отрывая жизнь от случайности, при этом новом состоянии жизни человеческой, себе преданной, не удовлетворяясь созерцанием жизни: — с одной стороны, отрывая ее благородное внутреннее стремление, с другой, противопоставляя ей, ее образу, более или менее человеческий юмор, — поэзия отрывает от случайности и самое слово; тогда как прежде слово само было оторвание от случайности и было уже потому изящно; в поэзии является эта вечно прекрасная и великая область, великое благородное наслаждение, деятельность человека, освобождающая человека от случайности и дрязга жизни, дающая мир его душе, дающая простое, человеческое наслаждение. <...> В поэзии вновь является изящным слово, вновь во всем благородстве предстает оно, и, не имеющее уже созерцательного характера, как прежде, оно своею же силою, как слово, выражает, осуществляет внутреннее духа человеческого, содержание поэзии, какой бы ни было» [Аксаков К. С. 1846а: 402–403, 406–407] (экземпляр РГБ с шифром: S 23/46, с дарственной надписью: «Федору Васильевичу / Чижову / от [Акса<кова>] Сочинителя»).

тривал эти выступления К. С. Аксакова против западного влияния сам Гоголь.

Как уже отмечалось, в обоих отзывах о брошюре К. С. Аксакова (и в том, что написан до знакомства с ней, и в том, что высказан после прочтения) Гоголь так или иначе говорит о преждевременности ее появления: «Я думаю просто, что ей рано быть напечатанной теперь» [Гоголь 2009–2010. 12: 109]; «...горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще ребенок...» [Гоголь 2009–2010. 12: 197]. Есть в обоих отзывах Гоголя и признание правоты К. С. Аксакова: «...Уверен, что Кон<стантин> Сер<геевич> глубже и прежде поймет, и <...> критика его точно определит значение поэмы» [Гоголь 2009–2010. 12: 109]; «Константину Сергеевичу скажите, что я и не думал сердиться на него за брошюрку; напротив, в основании своем она замечательная вещь» [Гоголь 2009–2010. 12: 197].

Но так же точно оценивает позднее Гоголь и ношение К. С. Аксаковым русской национальной одежды и запрещенной Императором бороды. В отношении к этой форме защиты К. С. Аксаковым традиционных ценностей Гоголь также указывает одновременно и на правоту К. С. Аксакова, т. е. на ценность самой традиции, и на преждевременность ее возрождения Аксаковым. 25 ноября (н. ст.) 1845 г. Гоголь писал К. С. Аксакову: «Ко мне дошли слухи, что вы <...> носите бороду, русский кафтан и проч. <...> Я слишком понимаю, в каком значении вы носите это, и дай Бог побольше Государю таких истинно русских душ и таких верных подданных, каковы вы <...> но знаю, что до времени от многого следует воздержаться... <...> Царь — глава <...> А что он медлит, на то он имеет законные причины, и мы должны терпеливо дожидаться»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Позднее, 16 мая 1849 г., И. С. Аксаков сообщал А. О. Смирновой: «...Брата Константина и батюшку (который, как человек большой, неслужащий и старый, а главное — решительно никуда не выезжающий, отпустил также себе бороду, большую, длинную, седую бороду) обязали подпискою: “чтобы имеющуюся у себя бороду сбрить и впредь не отпускать, согласно Высочайшей воле”. Делать нечего, Высочайшая воля о бородах была исполнена, и Константин уже переоделся в немецкое платье» [Бартенев 1895: 431–432]. Вследствие активного западного влияния отношение к бороде и понимание ее значения (знак мужества) оставляло в тогдашнем светском образованном обществе желать лучшего. В официальных кругах в бороде видели даже подражание «жидам» и «французским модам». 2 апреля 1837 г. был издан специальный указ «О воспрещении гражданским чиновникам носить усы и бороду», где говорилось:

Добавим, что подобно тому, как К. С. Аксаков защищал творчество Ломоносова от нападок Белинского, точно так же в 1842 г. по поводу сходных суждений критика о поэзии Г. Р. Державина критически отозвался о Белинском Гоголь. В 1841–1842 гг., будучи в Москве, он составил обширный рукописный сборник «Сочинения Ломоносова и Державина», материалами которого пользовался позднее за границей при создании незавершенной «Учебной книги словесности для русского юношества» (1845), а также статей о русской поэзии в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Незадолго перед тем как Гоголь приступил к составлению этого сборника (или уже составлял его), Белинский в статье «Русская литература в 1841 году», опубликованной в первом номере «Отечественных Записок» за 1842 год, писал о Державине: «Державин поздно ощутил свою силу, а ощутив, обнаружил ее в исполинских и бесплодных проявлениях... <...> Это только имя — не больше; поэт, а не поэзия... <...> поэзия Державина <...> чужда всякого содержания» [Белинский 4: 283–284]. Прочитав тогда статью Белинского, Гоголь отметил в этих «прогрессивных» высказываниях «неуважение к Державину». В. П. Боткин сообщил об этом отзыве самому Белинскому, на что тот 31 марта 1842 г. в свойственной ему манере отвечал: «Неуважение к Державину возмутило мою душу чувством болезненного отвращения к Гоголю...» [Белинский 9: 499]. В конце жизни Гоголь даже настоял на том, чтобы о своем знакомстве с Державиным рассказал С. Т. Аксаков<sup>1</sup>.

Однако, как и в случае с брошюрой, Гоголь, несмотря на близость своих взглядов на творчество Ломоносова и Державина с оценками

---

«...Государь Император, сверх доходящих до Его Величества из разных мест сведений, Сам изволил заметить, что многие гражданские чиновники, в особености вне столицы, дозволяют себе носить усы и не брить бороды по образу жидов, или подражая Французским модам. Его Императорское Величество изволит находить сие совершенно неприличным...» [Полн. собр. законов: 206]. Ср. также реплику Императора, обращенную к князю А. С. Долгорукому в октябре 1834 г.: «Здравствуй, Долгорукий! Что ты, просишься в евреи, что это за безобразная борода, прошу ее обрить, чтобы завтра не было!» [Император Николай Первый: 210].

<sup>1</sup> Свой очерк «Знакомство с Державиным» С. Т. Аксаков закончил уже после смерти Гоголя — в мае 1852 г. (опубл. в 1856). Однако еще в 1849 г., в письме сыну Ивану от 5 октября, он сообщал: «...Напишу о знакомстве своем с Державиным, что я обещал Гоголю» [Гоголь в неизданной переписке: 720].

К. С. Аксакова, диссертацию последнего о Ломоносове не поддержал. В письме к С. П. Шевыреву от 20–25 ноября (н. ст.) 1845 г. он только заметил: «Что же касается до диссертации его, то, еще не читая ее, советовал ему не подавать ее, даже уничтожить ее вовсе, напечатав из нее одни только отрывки, как отдельные статьи». Дело опять-таки, заключалось, очевидно, не столько в сути аксаковской концепции, сколько, по Гоголю, в незрелости, или «ребячестве» К. С. Аксакова, выразившейся, в частности, в крайне схоластическом стиле работы<sup>1</sup>, также заслужившем порицания писателя. Кроме того, Гоголю, вероятно, были известны и те «задние мысли» — критические по отношению к Ломоносову, с которыми Константин Аксаков писал свою диссертацию и которые в нее не вошли<sup>2</sup>.

Сходные упреки Гоголь адресовал в те же годы К. С. Аксакову и по поводу поднятого тем вопроса о значении Москвы (см., в частности: [Аксаков К. С. 1845; 1846а; 44–46, 57–59; 1846б]. 29 ноября (н. ст.) 1842 г. Гоголь писал ему: «Я не прощу вам того, что вы охладили во мне любовь к Москве. Да, до нынешнего моего приезда в Москву я более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой предмет. <...> Всякую мысль, повторяя ее двадцать раз, можно сделать пошлою. Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: Не приемли имени Господа Бога

---

<sup>1</sup> Ср.: «Отрицание само есть вместе и подтверждение; вспомним, что мы ничего не видим, кроме отрицания; в таком случае отрицая вещь, мы ее признаем, и становим моментом самое отрицание» [Аксаков К. С. 1846а: 18].

<sup>2</sup> В своих позднейших статьях Аксаков так характеризовал весь тот период русской литературы, начало которому положил Ломоносов: «Отвлеченный стихотворный период, начавшийся <...> с Ломоносова, давший много прекрасных, хотя отвлеченных, ненародных созданий и продолжавшийся до сих пор... <...> Бог с ним, с этими временем <...> отвлеченной и заемной умственной деятельности... <...> неискренней, чуждой родной почве поэзии...» [Аксаков К. С. 1857: 14]. «Ломоносов <...>, Карамзин и другие изображали русскую историю так, что в ней русско-го собственно ничего не было видно» [Аксаков К. С. 1852: 52]. В самой диссертации Аксаков замечал, что после Ломоносова в русском языке «образовался односторонний, тяжелый слог, удалявший простую форму фразы»: «Это противоречило совершенно существу Русского языка... <...> Сумароков, Державин, Херасков и др., все имеют этот общий характер... <...> ...Этот отвлеченный, односторонний слог <...>, противоречивший существу Русского языка, стал тяготеть над Русским словом. <...> Направление это было ложно...» [Аксаков К. С. 1846а: 385–386].

твоего все?» (Исх. 20, 7) [Гоголь 2009–2010. 12: 157]. Спустя три года Ю. Ф. Самарин писал К. С. Аксакову и А. С. Хомякову: «Мысль о современном значении Москвы, пущенная в ход Аксаковым, встретила между нами и даже в более широком кругу сочувствие и одобрение... <...> В то время уезжал Гоголь. Ты помнишь, Аксаков, то письмо, которое он написал тебе? <...> Гоголь предчувствовал то, что теперь сбылось. Толки о Москве продолжались три года; вражда к Петербургу усилилась... <...> Между тем, в продолжении этого времени Москва не явила ни одного плода своей умственной деятельности; таким образом она стала известна <...> России только с одной, чисто отрицательной стороны» [Самарин: 149–150].

Едва ли не Константина Аксакова имел в виду Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», замечая здесь, в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”», о преждевременности некоторых славянофильских начинаний: «Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: “Смотрите, немцы: мы лучше вас!” Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похващаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! <...> Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе “Мертвых душ”, а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен» [Гоголь 2009–2010. 6: 86–87].

Тот же упрек в «незрелости» звучит в «Выбранных местах...» Гоголя и в статье «О том, что такое слово», обращенной в большей степени к М. П. Погодину, но, безусловно, затрагивающей и К. С. Аксакова: «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, державшие произносить имя Его неосвященными устами» [Гоголь 2009–2010. 6: 21].

С другой стороны, несомненной поддержкой славянофильства (но, опять-таки, с намеком на незрелость и преждевременность) выступает в статье «О лиризме наших поэтов» возражение Гоголя В. А. Жуковскому по поводу отзыва последнего о поэмах И. С. Аксакова «Жизнь чиновника» (1843) и «Зимняя дорога» (1845) [Виноградов 2018а: 258–260]: «Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая того, что их мысли еще глупые ребенки, вот и все. И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг<sup>1</sup>: из них один только бывал избранник Божий, которого сказанья вносились в святую книгу еврейского народа; все же прочие, вероятно, наговаривали много лишнего, но тем не менее они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умели сказать здраво и ясно; иначе народ побил бы их камнями. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, что сильнее других слышит Божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближенье иного Царствия» [Гоголь 2009–2010. 6: 40–41].

### **6. Пафос утверждения: авторское определение жанра «Мертвых душ» и формирование замысла статьи Аксакова**

Определенные разногласия между Гоголем и К. С. Аксаковым на почве общих коренных убеждений можно усмотреть и по поводу идей, непосредственно высказанных в аксаковской брошюре. По наблюдению В. А. Кошелева, пояснением к брошюре К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя...» могут служить строки одного из вариантов его поздней статьи «Обозрение современной литературы», относящегося к концу 1840-х гг. и озаглавленного «О современном стихотворстве в нашей литературе». Здесь К. С. Аксаков рассуждает об отличии гоме-

---

<sup>1</sup> См. в Третьей книге Царств (гл. 22). Возможно также, что Гоголь подразумевает слова св. пророка Амоса: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам. Лев начал рычать, — кто не содрогнется? Господь Бог сказал, — кто не будет пророчествовать?» (гл. 3, ст. 7–8).

ровского отображения мира от «акта создания» позднейших художников, полагая, что в современном романе, «воспевающим» жизнь современных людей, возврат к древнеэпической системе воспроизведения мира невозможен. На этот раз Аксаков «противопоставляет “личное” начало современной “не комической” литературы сатире, ведущей свою генеалогию из древности»: «Другое значение имеет у нас комедия и вообще вся комическая сторона литературы; деятельность ее несравненно выше; в ней есть действительный смысл; так и должно быть при ложном положении всего общества; в ней — обличение лжи отвлеченной общественной жизни, и потому наша комическая поэзия имеет в себе много трагического. И в нашей литературе восторг часто смешон, а смех серьезен. Этот серьезный, трагический смех слышится в Фонвизине, в Капнисте, в Грибоедове, в Гоголе. — Общественная ложь — вот предмет русской комедии. Грибоедов сверх того имеет особенный, ему принадлежащий характер сознательного и прямого, горячего обличения лжи» [Кошелев 1976: 89–90]. В. А. Кошелев ставит эти размышления Константина Аксакова в один ряд с упоминанием в его «Проектах литературных занятий» начала 1850-х гг. статьи о Гомере, — «причем в интересном контексте»: «Очерк истории нашей литературы. Гомер. “Горе от ума”» [Кошелев 1976: 89].

В. А. Кошелев полагает, что эстетическая концепция К. С. Аксакова, включая представления о «трагическом смехе», пребывала неизменной уже с начала 1840-х гг. Думается, однако, что если Константин Аксаков, по словам исследователя, и «выделил как совершенно особую и единственную имеющую в современной литературе “поэтическое значение” “комическую сторону литературы”», полагая, что «только в сатире “человеческое начало” представляется ему естественным, ибо оно отражает “ложное положение” всего общества» [Кошелев 1976: 90], то сделал это Аксаков, как нам представляется, немного позднее. Думается, что к осмыслению проблемы «трагического смеха», или смеха сквозь слезы, проблемы «комедии-трагедии» подтолкнул позднее Аксакова сам Гоголь, поскольку ни в статье «Несколько слов о поэме Гоголя...», ни в «Объяснении» мы подобных размышлений не находим. Напротив, при анализе образа Манилова, Аксаков, к примеру, утверждает, что «без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием, смотришь, как он стоит на крыльце, куря свою трубку» [Аксаков К. С. 1842а: 14], — то есть ни о каком «трагизме» в комическом изображении этой, по Го-

голю, «мертвой души» у Аксакова речь не идет. Строки из «Объяснения», в свою очередь, свидетельствуют, что Аксаков усматривал тогда в гоголевском «юморе» скорее «оптимистический», чем «трагический» характер. По Аксакову, «юмор» Гоголя не столько разоблачает, сколько «реабилитирует» «опустевшую» жизнь: «Юмор <...> у Гоголя <...> не мешает <...> во всем ничтожном уметь находить живую сторону. <...> Отнимите у эпического созерцания прекрасную жизнь, с которой некогда прямо соединялось оно; представьте пред ним современную жизнь, уже не прекрасную, уже опустевшую: ибо перешагнули за нее, перешагнув за сферу художественной красоты, интересы человека, и глубокое созерцание поэта необходимо примет юмор, то посредствующее, что одно может соединять его еще с жизнью (без чего бы оно отворотилось и закрыло глаза, да позволено будет это выражение), примет юмор, *но вместе с тем сохраняя в себе свой характер всевидения и в то же время свою справедливость к жизни, умея везде находить ее сквозь юмор.* Только при последних условиях эпическое созерцание полно, истинно и вместе может быть современно, ибо характер его не препятствует современному определению; и мы в таком виде находим его у Гоголя» [Аксаков К. С. 1842b: 225–226]. По словам Аксакова, Манилов — это «лицо, в котором, как и во всех лицах Гоголя <...>, есть своя сторона жизни», «великое достоинство» Гоголя — «везде находить тайну жизни, в какую бы грязь и тину она ни запряталась» [Аксаков К. С. 1842b: 226]. «Общий характер лиц Гоголя тот, — замечал также Аксаков в брошюре, — что <...> все воображены в полноте жизни; на какой бы низкой степени не стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образу и подобию Божию» [Аксаков К. С. 1842a: 14]. Скорбь создателя «Мертвых душ» об искажении и утрате в себе падшим человеком образа и подобия Божия Константин Сергеевич Аксаков, как и его отец Сергей Тимофеевич, в гоголевской поэме словно не замечают. 20 января 1850 г., на другой день после чтения Гоголем С. Т. и К. С. Аксаковым второй главы второго тома «Мертвых душ», Сергей Тимофеевич, в частности, сообщал сыну Ивану: «Такого высокого искусства: показывать в человеке пошлом высокую человеческую сторону, нигде нельзя найти, кроме Гомера. Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность» [Аксаков С. Т. 1960: 204–205].



При всем том примечательно, что в споре К. С. Аксакова с Белинским о «Мертвых душах» по-настоящему интересен (и остается таким до сих пор) именно Константин Аксаков своей попыткой определить, наряду с творческим методом Гоголя, потенциальные, сокрытые в героях «Мертвых душ» возможности. А что такие возможности действительно существуют, свидетельствует последующее изучение образов Гоголя, приводящее к неожиданным открытиям (см: [Феодор (Бухарев), архимандрит, 2004: 205–230; Виноградов 2000а: 313–346; 2009b; 2017b; 2017с]). Прав был Константин Аксаков и в оценке мирового значения Гоголя. К тому же, несмотря на то, что свои мысли в брошюре Аксаков выразил «не совсем изящно», скороспелыми их назвать нельзя. Как свидетельствует его письмо к братьям от 2 января 1840 г., мысль о единстве «акта творчества» Гомера, Шекспира и Гоголя появилось у него еще в 1839 г., когда он слышал начальные главы «Мертвых душ» в чтении самого автора. (Чтение Гоголем у Аксаковых первой главы первого тома поэмы состоялось 14 октября 1839 г., второй и третьей глав — 23 декабря того же года.)

2 января К. С. Аксаков сообщал братьям в Петербург: «Гоголь бывает часто у нас, читал уже два раза после приезда. Я дивлюсь ему, и не только во время слушания его сочинений, но и тогда, когда просто с ним разговариваю. Можно бы много написать о характере его как художника, характере, который делает его художником по преимуществу и ставит его в один круг с знаменитым бессмертным Греком и Англичанином. *Гомер, Шекспир и Гоголь* — вот чудное, пышное созвездие» [Кошелев 1984: 116; 1995: 491; 2000: 239; Гоголь в воспоминаниях 2: 789].

По-видимому, об этом Константин Аксаков написал тогда же не только братьям, но и И. И. Панаеву, который 14 октября 1839 г. присутствовал на авторском чтении поэмы. Позднее Панаев (петербургский приятель Белинского) вспоминал, как Аксаков после чтения «ударял кулаком о стол и говорил: “Гомерическая сила! гомерическая!”» [Панаев: 174]. (Представление о том, что произведения разные по содержанию могут быть «равны» между собой «в художественном отношении», Аксаков высказывал, применительно к гоголевским повестям — «Тарасу Бульбе» и «Коляске», еще в 1837 г. [Виноградов 2009d: 502].) Далее в своих мемуарах Панаев сообщал, что на следующий день он вместе с Константином Аксаковым отправился к проживавшему тогда еще в Москве Белинскому (незадолго до его отъезда в Петербург)

и что Аксаков «с энтузиазмом» передал Белинскому свои впечатления от гоголевского чтения: «...Он говорил, что после первой главы “Мертвых душ” нельзя уже сомневаться в том, что Гоголь гений и что он подарит русскую литературу колоссальным произведением, в котором отразится вся Русь. Белинский слушал Аксакова с жадностью и смотрел на нас с завистью. “<...> ...Счастливыцы! — сказал он. — Я не знаю, чего бы я не дал, чтобы выслушать теперь эту главу...”» [Панаев: 174]. Хотя Белинский был знаком с Гоголем с 1835 г., но приглашен на чтение не был. (Как указывалось, спустя полтора месяца, в конце ноября 1839 г., последовала первая, хотя и заочная, но вполне принципиальная размолвка Аксакова с Белинским.)

По поводу несохранившегося послания Константина Аксакова к Панаеву от конца декабря 1839 г. Белинский в письме к Аксакову от 10 января 1840 г., замечал: «Радуюсь твоей новой классификации — Гомер, Шекспир и Гоголь <...> Вот мы и сошлись с тобою; только у меня на месте Гоголя стоит Пушкин...» [Белинский 9: 299]. Несомненно, помнил тогда Белинский и свое прежнее (1835 г.) сравнение «Тараса Бульбы» с поэмами Гомера. В следующем письме к Аксакову, от 14 июня 1840 г., критик добавлял: «Пушкинская поэзия — наше искупление, а в созданиях Гоголя я вижу только “Тараса Бульбу” <...> “Тарас Бульба” выше всего остального, что напечатано из сочинений Гоголя» [Белинский 9: 388].

Интересна в связи поднятой Белинским «гомеровской» темой в «Тарасе Бульбе» (а также с оценкой им же «сатирической» составляющей гоголевского творчества) эволюция воззрений критика в целом. Весьма показательной в этом отношении является его статья «Горе от ума... Сочинение А. С. Грибоедова», посвященная главным образом «Ревизору». Эта статья, хотя и была задумана в августе 1839 г. (и вышла в свет спустя некоторое время в январском номере «Отечественных Записок» за 1840 г.), однако представляет собой итог размышлений не нескольких месяцев, а более чем трехлетия, истекшего со времени появления на сцене и в печати гоголевской комедии (1836). Осмысление «поэзии» «Ревизора» оказалось для Белинского настолько сложной задачей, что, вопреки своему обычаю незамедлительно откликнуться на новинки литературы, критик молчал о комедии Гоголя более трех с половиной лет [Курилов: 62–63, 77–79, 119]. Тем живее был интерес Белинского к мнению Гоголя о его статье, когда она была закончена. В упомянутом пись-

ме к К. С. Аксакову от 10 января 1840 г. Белинский спрашивал: «Бога самого ради, уведошь меня тотчас же, какое произведет впечатление статья о “Торе от ума” на Гоголя. Я что-то и почему-то не ожидаю хорошего, — но во всяком случае не церемонься: надо *все* знать» [Белинский 9: 299]. Действительно, оснований «не ожидать хорошего» в отзыве Гоголя об этой статье у Белинского было более чем достаточно. Дело в том, что, помимо размышлений о «Ревизоре», в статье содержался также хотя и сделанный «мимоходом», но тем не менее весьма «знаковый» разбор «Тараса Бульбы». Этот разбор, мягко говоря, оставлял желать лучшего. По поводу гоголевской повести Белинский, вопреки замыслу писателя показать в ней общину людей, нашедших свое призвание в исполнении заповеди Спасителя о любви к братьям, заявлял, что сила сплочения запорожцев кроется... — «нет <...> не в Православии», но в «кровавой сече» во время войны и «бешеной гульбе» во время мира<sup>1</sup>. (Хотя в начале и в заключении своего разбора Белинский причислял Тараса Бульбу к «разумной» и даже «великой действительности», однако сосредоточил свой анализ преимущественно на снижающих чертах в образе героя, — на тех, что, по замыслу самого Гоголя, служат в повести указанием на то, что мешает запорожцам в исполнении их главного призвания.)

На что же мог в таком случае рассчитывать Белинский, желая услышать отзыв Гоголя о своей новой статье? Очевидно, по мнению Белинского, было в его работе то, за что Гоголь мог простить ему неприязненные выходки против «Тараса Бульбы». И действительно, отзыв Гоголя Белинский получил — и, конечно, не за «развенчание» Тараса Бульбы, а именно за развернутую далее в статье оценку «Ревизора». В письме от 14–15 марта 1840 г. Белинский сообщал В. П. Боткину: «Гоголь доволен

---

<sup>1</sup> Вопреки замыслу Гоголя показать в «Тарасе Бульбе» общину людей, нашедших свое призвание в исполнении заповеди Спасителя о любви к братьям, Белинский заявлял о главном герое эпопеи, что «он был христианин <...> в самом отвлеченном смысле» и что православие запорожцев «бестребовательно», «ограничено и бедно в своей сущности» и «мало походит на религию». «Цементирующим» принципом запорожского братства Белинский называл «кровавую сечу <...> во время войны» и «бешеную гульбу во время мира»: «Что ты видите в этой поэме? <...> Общество <...> связанное каким-то крепким цементом. В чем же эта связь? — в Православии? Нет, тут <...> другая, сильнеешая связь...» [Белинский 2: 200].

моею статьею о «Ревизоре» — говорит — многое подмечено верно. Это меня обрадовало» [Белинский 9: 354]. Очевидно, гоголевский доброжелательный отзыв касался лишь той части статьи Белинского, которая была посвящена «Ревизору». Похвалить статью критика Гоголь мог лишь за то, как тот оценивал здесь его знаменитую комедию. После трех с половиной лет размышлений Белинский рассматривал «Ревизора» вне всяких политических тенденций, исключительно с художественной точки зрения, — пытаюсь, в соответствии со своими теориями, понять, как вообще однозначно отрицательные (не приукрашенные, не фальсифицированные) образы могут быть содержанием поэзии: «...Это отрицание жизни, пошлая, грязная действительность <...> каким же образом могла она сделаться содержанием художественного произведения, и не унизил ли художник своего таланта, сделав из него такое употребление?» [Белинский 2: 201–202]. Как раз эту проблему решал для себя в те же месяцы и Константин Аксаков, прослушав начальные главы первого тома «Мертвых душ». И ему отрицательные образы гоголевского произведения тоже не помешали сделать вывод о высочайшем — «гомеровском» уровне мастерства писателя. (Сама проблема была поставлена в 1836 г. князем П. А. Вяземским в статье о «Ревизоре»: «В Природе не все изящно; но в подражании природе изящной может быть изящность в художественном отношении» [Вяземский 1836: 309]. Ответ на этот вопрос попытался дать в 1851 г. С. П. Шевырев: «... Чем полнее, чем ярче представляет нам комедия неразумную сторону существа нашего, тем сильнее в сознании нашем возбуждает идею разумного существа — Богом определенного бытия нашего» [Шевырев 1851: 119].)

В связи со статьей Белинского «Горе от ума...» следует отметить еще один важный момент, имеющий отношение не только к полемике 1842 г. по поводу «Мертвых душ», но и к собственно авторскому определению жанра этого произведения. Сам Гоголь, сравнительно с современными ему «романтиками», всегда ощущал себя «классиком», или, вернее, стремился быть таковым. В 1836 г., в статье «Петербургская сцена в 1835–1836 гг.», он, в частности, замечал: «... Что такое было то, что называли романтизм? Это было больше ничего, как стремление подвинуться ближе к нашему обществу... <...> Но как только <...> выказывался талант великий, он уже обращал это романтическое, с великим вдохновенным спокойствием художника, в классическое, или,

лучше сказать, в отчетливое, ясное, величественное создание» [Гоголь 2009–2010 7: 503]. В прочитанной Гоголем в 1840 г. статье Белинского «Горе от ума...» говорилось: «...Для классиков хуже чумы те авторы, которые не выставляют на своих сочинениях слов: *поэма, трагедия, драма, комедия* <...> и пр.» [Белинский 2: 191]. Можно предположить, что именно эти строки и побудили «классика» Гоголя в 1842 г., продолжая тлевшую с 1835 г. скрытую полемику с Белинским, «выставить» на заглавном листе первого тома «Мертвых душ» слово «ПОЭМА». В этом смысле, т. е. в соответствии с содержанием статьи Белинского, это определение должно было означать не что иное как единство христианского содержания и классической формы, — что вполне отвечало воззрениям самого Гоголя (см. ниже). «Только в наш век искусство получило полное свое значение, примирение христианского содержания с пластицизмом классической формы...» — замечал Белинский в статье [Белинский 2: 194]. Образно говоря, Гоголь «ловил» критика на слове, и авторским определением жанра «Мертвых душ» закреплял то, что в их противостоянии служило упрочению христианских ценностей. К сожалению, Белинский, уже расставшийся к тому времени с попытками «примирения с действительностью», на вопрос, «что это такое, почему “поэма”, так и не смог ответить ни после третьего, ни после последующих чтений этого “великого произведения”...» [Курилов: 113].

Как уже отмечалось, в 1842 г. Белинский, хотя и замечал поначалу, что «нельзя ошибочнее смотреть на “Мертвые души” и грубее понимать их, как видя в них сатиру» [Белинский 5: 54], вскоре занял вполне однозначную — и, согласно с его собственным определением, «грубую» и «ошибочную» позицию. Вследствие этого его замечания, высказанные в споре о «Мертвых душах», явились, сравнительно с суждениями Константина Аксакова, весьма заурядными, и то, на что с сознанием превосходства указывал он Аксакову в поэме Гоголя, лежит в общем-то на поверхности и очевидно для всякого<sup>1</sup>. Знакомая Гоголя княжна

---

<sup>1</sup> «Линия Белинского» в интерпретации гоголевского произведения, в свою очередь, привела к крайне скудным и примитивным толкованиям «Мертвых душ» в работах советского периода. В седьмом томе советской академической «Истории русской литературы» (1955) по поводу героев поэмы читаем: Манилов — «выражение той праздности, того экономического и духовного паразитизма, который порождался крепостническим строем»; «Ноздрев — типичный представитель безвременья и реакции <...> в котором Гоголь уловил и типизировал самые отвратительные

В. Н. Репнина-Волконская, в частности, вспоминала: «...Для меня непостижимо было, почему вся читающая и образованная публика пришла в такой восторг при появлении первого тома “Мертвых Душ”. Я дала слово Г. П. Галагану прочесть эту книгу; это Гомер, говорил он. Но типы “Мертвых Душ” и “Ревизора” так отвратительны, что ни ум автора, ни прелесть слога не могут заставить забыть, что утопаешь в грязи, ходя по тем дорогам, по которым шагают герои “Мертвых Душ” и “Ревизора”» [Бартенев 1890: 229].

Косвенным подтверждением того, что именно в «оптимизме» восприятия Константином Аксаковым гоголевских образов лежит главный нерв его размышлений о «Мертвых душах», может служить попытка объяснить это восприятие, которую в 1874 г. собирался предпринять его брат Иван. Собираясь издать рукопись «Истории... знакомства с Гоголем...» своего отца, И. С. Аксаков 7 ноября 1874 г. писал А. О. Смирновой: «То <...> наслаждение, которое доставляло художественное воспроизведение пошлых, грязных и сальных сторон русской жизни, наслаждение чуждое всяких тенденциозных, социалистических соображений, все это теперь — вещи невнятные. Это необходимо истолковать, и потому мне хочется написать, в виде предисловия к рукописи моего отца, два этюда о Гоголе: один — «место или значение Гоголя в истории русской литературы и русского общества», а другой — психологический этюд о самом Гоголе...» [Бартенев 1895: 475].

К сожалению, предполагаемых статей И. С. Аксаков не написал, поэтому объяснение «оптимистической» позиции Аксаковых в восприятии «пошлого» содержания «Мертвых душ» остается искать в современных выходу в свет первого тома поэмы высказываниях читателей. Таким объяснением может служить уже упоминавшееся письмо к К. С. Аксакову Ю. Ф. Самарина от второй половины октября 1842 г., которое Константин Аксаков, вместе с двумя своими статьями о «Мертвых душах»,

---

черты дворянской реакции»; «С образом Собакевича связан у Ленина типический облик помещика-черносотенца»; «Образ Плюшкина вырастает в отвратительный символ дворянского разложения, оскудения и распада крепостнического хозяйства...»; «...Чичиков <...> является как бы воплощением всей той пошлости, хищничества, нравственной пустоты, цинизма, угодливости и всех прочих отвратительных качеств, которые создавались и культивировались всем строем помещичье-крепостнического общества того времени» [Степанов: 208–211]. Это *всё*, о чем исследователь счел нужным сказать о героях поэмы.

дважды посылал Гоголю в Рим (в начале ноября 1842 г. и в апреле 1843). В этом письме Самарин замечал: «Не касаясь вопроса о России вообще и о современном ее состоянии, я думаю, что из возможности явления в наше время чисто художественного произведения <...> можно вывести заключение о самой жизни. <...> Скажите, найдете ли вы в поэзии народов отживающих что-нибудь похожее на “Мертвые души”? И есть ли в “Мертвых душах” хотя призрак сатиры? <...> Нет, та жизнь, которую поэт мог полюбить и возвести в ясное, светлое создание искусства, та жизнь, поверьте, далека от разрушения. <...> Один огромный, неопровержимый факт — возможность возведения этой жизни в мир искусства, становится против темной ее стороны и наполняет душу упованием и укрепляет нас на трудный подвиг, на трудное странствование сквозь эту жизнь» [Гоголь 2009–2010.12: 229, 231].

Можно заметить, что содержание этого письма прямо перекликается со строками послания самого К. С. Аксакова к А. Н. Попову от конца октября 1842 г., где, говоря о великом будущем русского народа, Аксаков подчеркивает: «Сильнейшим подтверждением этого убеждения была поэма Гоголя “Мертвые души”, в которых явилось такое чудо создания, такая великая, древняя классическая простота, которая смогла явиться разве только в России, у народа цельного, великого, жизненного, назначенного к великим подвигам» [Кулешов: 203–204; Кошелев 1984: 138].

Но здесь вновь напрашивается существенное — как бы от лица самого Гоголя — возражение Константину Аксакову. Ибо, согласно Гоголю, «пути и дороги к этому *светлому* будущему сокрыты именно в этом *темном* и *запутанном* настоящем, которого никто не хочет узнавать: всяк считает его низким и недостойным своего внимания и даже сердится, если выставляют его на вид всем» (письмо к А. О. Смирновой «Что такое губернаторша» «Выбранных мест из переписки с друзьями» [Гоголь 2009–2010. 6: 108]). Позднее, 29 декабря 1854 г., Вера Сергеевна Аксакова как бы от лица всей семьи Аксаковых свидетельствовала: «*Теперь только* (курсив мой. — И. В.), при чтении стольких писем к стольким разным лицам, начинаем мы постигать всю задачу его жизни и все его духовные внутренние труды. Какая искренность в каждом слове! И этого человека подозревали в неискренности! Прекрасны его слова к Смирновой о России, как замечательны они теперь! Он верил в светлое будущее России, но путь к нему указывал в настоящем» [Аксакова: 28].

Предназначение «к великим подвигам», великое будущее России Гоголь видел именно в преодолении недостатков, в возрождении «мертвых душ» соотечественников. Имея в виду строки лермонтовского «Бородино» — «Да, были люди в наше время, / Не то, что нынешнее племя: / Богатыри — не вы!», — Гоголь писал: «В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое званье и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего званья и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Я слышал то великое поприще, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что перед ним только такой простор и только его душе знакомо богатырство...» («Четыре письма к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» [Гоголь 2009–2010. 6: 80–81]).

### **7. Авторское понимание жанра «Мертвых душ» и истолкование поэмы Белинским**

Вопрос о том, как отнесся Гоголь к возражениям Белинского на статьи К. С. Аксакова о «Мертвых душах», казалось бы, не требует пояснения, если иметь в виду позднейшую книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», одним из существенных мотивов создания которой явилось как раз стремление Гоголя открыть читателю свой настоящий писательский облик, существенно искаженный в интерпретациях Белинского [Виноградов 1999; 2009с]. Получив в начале июня (н. ст.) 1843 г. от Н. Я. Прокоповича статьи Белинского, посвященные «Мертвым душам», в частности, статью «Объяснение на Объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”», Гоголь в письме к Прокоповичу от 1 сентября (н. ст.) 1843 г. заметил: «Белинский смешон» [Гоголь 2009–2010. 12: 265].

Прямо противоположно пониманию «Мертвых душ» Белинским звучат и строки Гоголя в письме к А. О. Смирновой от 25 июля (н. ст.) 1845 г.: «Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет “Мертвых душ”. Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах...» [Гоголь 2009–2010. 13: 153].



Ввиду очевидности противостояния Гоголя и «неистового Виссариона», исследователи, изучавшие полемику Аксакова с Белинским, обычно не принимали во внимание реакцию самого Гоголя на критику Белинским брошюры Аксакова. Тем не менее, вопрос этот также требует пояснения.

Уточним главный смысл интерпретаций Белинским гоголевской поэмы. Помимо собственных подцензурных высказываний критика, о его восприятии «Мертвых душ» можно судить из воспоминаний Ф. М. Достоевского, начинавшего свою писательскую карьеру в кругу западников. В 1871 г. Ф. М. Достоевский в письме к Н. Н. Страхову (от 30 мая н. ст.), замечал о Белинском: «Я помню мое юношеское удивление, когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям (н<a>прим<ер>, о “Мертв<ых> душах”). Он до безобразия поверхностно и с пренебрежением относился к типам Гоголя и только рад был до восторга, что Гоголь *обличил*» [Достоевский 29-1: 215]. Западник П. В. Анненков в «Замечательном десятилетии», в свою очередь, свидетельствовал: «...Белинский <...> как бы считал своим жизненным призванием <...> отстранить и уничтожить попытки к допущению каких-либо других, смягчающих выводов из знаменитого романа, кроме <...> строго обличающих...» [Анненков: 221]. Выше уже отмечалось, что такой позиции Белинский придерживался в некоторой степени из «тактических» соображений. При этом критик хорошо сознавал, что его толкования «обличающего» характера не могут быть одобрены самим Гоголем. «Когда мы хвалили сочинения Гоголя, — заявлял он, например, в 1847 г. в статье, посвященной «Выбранным местам из переписки с друзьями», — то не ходили к нему справляться, как он думает о своих сочинениях...» [Белинский 8: 237]. Еще более определенно на этот счет высказался в том же году В. П. Боткин: «...В русской литературе есть направление, с которого не совратить ее и таланту посильнее Гоголя; русская литература брала в Гоголе то, что ей нравилось, а теперь выбросила его, как скорлупку выеденного яйца» [Белинский, Боткин: 58].

Остается только удивляться, как в своем письме из Зальцбрунна — рассчитанном на публичную огласку — Белинский не постеснялся даже Гоголю поставить в упрек то, что будто бы писатель «обвинил» его (якобы несправедливо) «в намерении дать какой-то предосудительный толк» его сочинениям. «Я не умею говорить наполовину, — заяв-

лял при этом Белинский, — не умею хитрить: это не в моей натуре» (письмо от 15 июля (н. ст.) 1847 г. [Белинский 8: 288]). О том, как «не умел хитрить» Белинский, вполне позволяют судить как уже отмеченные выше его многочисленные «тактические» уловки в полемике с Константином Аксаковым, так и целый ряд других высказываний критика. К примеру, в 1847 г. Белинский поучал К. Д. Кавелина: «Насчет Вашего несогласия со мною касательно Гоголя и натуральной школы я вполне с Вами согласен, да и прежде думал таким же образом. Но вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, для кого и для чего она писана. Дело в том, что писана она не для Вас, а для врагов Гоголя и натуральной школы <...> Поэтому я счел за нужное сделать уступки, на которые внутренне и не думал соглашаться, и кое-что изложил в таком виде, который мало имеет общего с моими убеждениями касательно этого предмета. Например, все, что Вы говорите о различии натуральной школы от Гоголя, по-моему совершенно справедливо; но сказать этого печатно я не решусь: это значило бы наводить волков на овчарню, вместо того, чтобы отводить их от нее. А они и так напали на след и только ждут, чтобы мы проговорились. Вы, юный мой друг, хороший ученый, но плохой политик...» (письмо от 22 ноября 1847 г. [Белинский 9: 682]).

К сожалению, апологетический подход к наследию Белинского, стремление затушевать нигилистическое начало в его деятельности порой приводят к парадоксальным выводам о том, что «в предметном содержании, в непосредственной характеристике гоголевского творчества Белинский и Аксаков нередко совпадали. Оба выступали против обедненного толкования “Мертвых душ” как сатиры; оба видели “серьезные”, трагические стороны гоголевского мира, оба говорили об его глубине и неисчерпаемости и т. д.» [Манин: 158]. Второстепенные для самих участников полемики элементы сходства взглядов выдаются при таком подходе за главное, так что перед нами предстает не ожесточенная полемика, и даже не спор, а благодушная приятельская беседа — вроде сцены Чичикова с Маниловым (между тем известно, что Константин Аксаков называл рецензию на его брошюру Белинского не иначе как «подлым ругательством» [Розенблюм: 203; Кулешов: 204; Кошелев 1976: 86; 1984: 138]).

В то же время не стоит преувеличивать и степень «понимания» Белинским Гоголя. Мирозозрение писателя оставалось для крити-

ка во многом «закрытым». Прежде всего это касается определенно «славянофильского», по своей сути, содержания всех произведений Гоголя, начиная от самых ранних. Протопресвитер профессор В. В. Зеньковский, автор двухтомной «Истории русской философии», более полувека посвятивший изучению гоголевского наследия, не случайно именно Гоголя — не Аксакова, не Погодина, не Хомякова и не Шевырева, — называл «зачинателем» славянофильского течения русской мысли [Зеньковский 1926: 63; 1961: 205]. В письме от начала ноября 1842 г. К. С. Аксаков сообщал Гоголю: «Белинской в восторге от “Мертвых Душ”, но кажется, он их далеко не понимает. Слова ваши о славянском племени (<1 нрзб.> прекрасное место) находит он, между прочим, утрированными» [Гоголь 2009–2010. 12: 156]. О всех «прежних творениях» Гоголя (до «Переписки с друзьями») Белинский отзывался в 1847 г. как о «положительно и резко антиславянофильских» [Белинский 8: 295]. Казалось бы, критик должен был воздержаться от столь категоричных утверждений, вспомнив (хотя бы) о «Тарасе Бульбе», но дело в том, что с «Тарасом Бульбой», в котором славянофильская составляющая звучит, пожалуй, наиболее отчетливо, Белинский, как отмечалось, «расправился» (в своем воображении) еще в 1840 г.

В связи с вопросом о принципиальном расхождении взглядов Белинского и Гоголя укажем на еще одно представление, опираясь на которое, оценивал творчество Гоголя не только Белинский, но, к сожалению, и его оппонент Константин Аксаков, и которое определенно находится в противоречии с действительным содержанием гоголевских произведений. В анализе «Мертвых душ» и тот, и другой, увы! одинаково исходили из признания либо «бессознательности», либо едва только пробуждающейся «сознательности» автора.

В признании К. С. Аксаковым за Гоголем «эпического созерцания» определенно заключалось представление о «всеохватывающем», «глубоком», но «простом» восприятии, в котором связь изображаемых явлений обуславливается «единством духа» поэта, но отнюдь не его рефлексией. В свою очередь, для Белинского в подобных представлениях не было ничего нового: такие воззрения он высказывал, начиная от самых первых своих статей о Гоголе. Определив в 1835 г. Гоголя только как гениального бессознательного художника («...только поэт, а не другое что-нибудь <...> большое участие ума <...> есть недостаток»

[Белинский 1: 161–162]), Белинский уже тогда выступил против вполне определенного религиозного содержания «ученых статей» Гоголя, а также против соответствующего смысла некоторых его художественных созданий, в частности, своеобразного литературно-художественного манифеста Гоголя, повести «Портрет». По сути, теория о бессознательности художественного творчества и определение Гоголя как художника, творящего в состоянии «поэтического сомнамбулизма» [Белинский 1: 164], представляла еще одну из «тактических» уловок критика, означая на практике возможность произвольного истолкования гоголевских произведений. Возникающие при этом противоречия выдавались в соответствии с этой теорией за противоречия между «гениальной» художественной интуицией писателя и его неглубоким мировоззрением. Стремление отрицать или дискредитировать авторскую мысль в художественном произведении, придав ему иное толкование, наряду с восторженными похвалами, пронизывает большинство критических выступлений Белинского, посвященных гоголевскому творчеству. Не удивительно, что сам Гоголь неоднократно выступал против этой «теории» Белинского. О себе как об авторе он, в частности, заявлял устами героя «Развязки Ревизора»: «Дайте же ему хоть каплю ума, в котором вы не отказываете ни одному человеку» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 490].

В своем «Объяснении на Объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”» Белинский, оценивая только что вышедшее гоголевское собрание сочинений, прямо заявлял, что при верном «артистическом инстинкте» «непосредственность творчества у Гоголя имеет свои границы и <...> изменяет ему <...> там, где в нем поэт сталкивается с мыслителем...» [Белинский 5: 153]. Откровенно намекая на якобы недостаток «эрудиции» Гоголя, «интеллектуального развития, основанного на неослабном преследовании быстро несущейся умственной жизни современного мира», критик в качестве доказательства приводил как раз те художественные произведения писателя, которые наиболее не укладывались в схему радикальной интерпретации: «Вечер накануне Ивана Купала», «Страшная месть», «Портрет», «Рим» [Белинский 5: 153–155].

Однако в это же время в суждениях критика о Гоголе намечалась и иная тенденция. С выходом в свет первого тома «Мертвых душ» Белинскому, по-видимому, показалось, будто бы Гоголь отчасти «пере-

ходит» его сторону. Как только это предположение возникло, тут же критик выразил готовность отказаться от своих прежних представлений. Вопреки своим излюбленным размышлениям о бессознательности гения, он стал утверждать, что бессознательность в художественном произведении есть не достоинство, а недостаток, и готов был признать за Гоголем «участие ума» и «рефлексию».

В рецензии на брошюру Аксакова эта готовность Белинского увидеть в создании «Мертвых душ» «участие ума» проявляется вполне определенно. Критик заявлял: «...Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени; он также менее теряет в разнообразии создаваемых им объектов и более дает чувствовать присутствие своего субъективного духа, который должен быть солнцем, освещающим создания поэта нашего времени» [Белинский 5: 62]. В «Объяснении на Объяснение...» Белинский добавлял: «...Удивительная сила непосредственного творчества <...> много вредит Гоголю. Она, так сказать, *отводит ему глаза* от идей и нравственных вопросов, которыми кипит современность, и заставляет его преимущественно устремлять внимание на факты и довольствоваться объективным их изображением. <...> ...К числу особенных достоинств “Мертвых душ” принадлежит более осязательное, чем в прежних сочинениях Гоголя, присутствие субъективного начала, а следовательно, и *рефлексии*. Надо желать, чтоб это преобладание рефлексии постепенно в нем усиливалось, хотя бы насчет акта творчества, из которого так хлопочет г. Константин Аксаков. Гегель в своей эстетике в особенную заслугу поставляет Шиллеру преобладание в его произведениях рефлектирующего элемента, называя это преобладание выражением духа новейшего времени» [Белинский 5: 156].

Однако с выходом в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» Белинский вновь отказывается Гоголю и в уме, и в «рефлексии», возвращаясь к своим прежним представлениям. Откликаясь в 1847 г. на выход «Переписки с друзьями», Белинский закрепляет выдвинутое им в 1835 г. определение Гоголя как гениального бессознательного художника и слабого мыслителя. В рецензии на книгу он восклицает: «...Горе человеку, которого <...> природа создала художником <...> если <...> он ринется в чуждый ему путь!» [Белинский 8: 238]. В зальцбруннском письме к Гоголю он добавлял: «...Вы глубоко знаете Россию только

как художник, а не как мыслящий человек...» [Белинский 8: 282–283]. Исходя из сказанного, можно предположить, что Белинского устраивала, вероятно, лишь одна форма «сознательности» — призванная беспрекословно разделять его взгляды. Всякая другая «рефлексия» представлялась ему либо недостатком «эрудиции», либо — сумасшествием.

Очевидно, не случайной была та отповедь, которую намеревался дать Гоголь Белинскому в 1847 г. в ответ на ставшие почти традиционными обвинения в «недостатке образования». Имея в виду высказывания критика о Церкви (к примеру, замечание Белинского, что «смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века» [Белинский 8: 283]), Гоголь писал: «...Какое невежество блещет на всякой странице! [Как дерзнуть с таким малым запасом сведений толковать о таких великих предметах. Вы не кончили даже университетского курса]» [Гоголь 2009–2010. 14: 387]. В письме к Белинскому от 10 августа (н. ст.) 1847 г. Гоголь замечал: «...Вам <...> следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете» [Гоголь 2009–2010. 14: 411].

В наибольшей степени понять отношение Гоголя к возражениям Белинского на статьи К. С. Аксакова о «Мертвых душах», позволяет обращение к основным положениям статьи Белинского «Объяснение на Объяснение...» Здесь Белинский повторил мнение С. П. Шевырева о том, что в именовании «Мертвых душ» «поэмой», возможно, заключена ирония. В противном случае Белинский называл уже, в отличие от прежнего своего мнения, авторское определение жанра «великой ошибкой»: «Не зная, как, впрочем, раскроется содержание “Мертвых душ” в двух последних частях, мы еще не понимаем ясно, почему Гоголь назвал “поэмою” свое произведение, и пока видим в этом названии тот же юмор, каким растворено и проникнуто насквозь это произведение. Если же сам поэт почитает свое произведение “поэмою”, содержание и герой которой есть субстанция русского народа, — то мы не обвиняя скажем, что поэт сделал великую ошибку <...> субстанция народа может быть предметом поэмы только в своем разумном определении, когда она есть нечто положительное и действительное, а не гадательное и предположительное... <...> И потому великая ошибка для художника писать поэму, которая может быть возможна в будущем» [Белинский 5: 148].

Пафос гоголевской поэмы, как указывал критик, «состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанци-

альным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшемся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения» [Белинский 5: 158]. Таким образом, согласно утверждению Белинского, пафос поэмы был направлен не против конкретных человеческих пороков, но против «общественных форм русской жизни». Под носителями же положительного «глубокого субстанциального начала» критик (вопреки предназначенным, по-видимому, для цензуры заявлениям о «таинственности» и «неуловимости ни для какого определения» этого начала) подразумевал представителей вполне определенного мировоззрения: прежде всего тех, чьи взгляды были близки его собственным, то есть лиц противоположительственных и атеистических воззрений. 7 декабря 1847 г. Белинский писал К. Д. Кавелину: «...Честных, благородных и вместе с тем умных людей <...> на Руси, по сущности народа русского, должно быть гораздо больше, нежели как думают сами славянофилы (то есть истинно хороших людей, а не мелодраматических героев)... <...> Но вот горе-то: литература все-таки не может пользоваться этими хорошими людьми, не впадая в идеализацию, в реторику и мелодраму, то есть не может представлять их художественно такими, как они есть на самом деле, по той простой причине, то их тогда не пропустит цензурная таможня. А почему? Потому именно, что в них человеческое в прямом противоречии с тою общественною средою, в которой они живут» [Белинский 9: 708]. Это «оппозиционное», присутствующее самому Белинскому мироощущение критик и распространял едва ли не на весь русский народ. В письме к Гоголю от 15 июля (н. ст.) 1847 г. по поводу «Выбранных мест...» он заявлял: «...Русский народ <...> по натуре своей глубоко атеистический народ <...> в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем» [Белинский 8: 284]. Именно «общественною средою» русской жизни, препятствующей «развитию» народа по западноевропейским меркам, Белинский объяснял, вопреки воззрениям самого Гоголя, пороки выведенных в «Мертвых душах» героев. «Но неужели же в русской действительности нет ничего лучше и благороднее Петрушки, Селифана, Коробочки, Собакевича, Чичикова?.. <...> Без всякого сомнения, есть... <...> Сверх того, надо еще сказать, что, находя лица, изображенные Гоголем, особенно безнравственными и глупыми, довольно ребячески преувеличивают дело и грубо его понимают. Эти лица дурны по воспитанию, по невежественности, а не по натуре, и

не их вина, что со дня смерти Петра Великого прошло только 116, а не 300 лет» [Белинский 5: 133]. Отсюда делался вывод о «невозможности» поэмы «*пока*» — в смысле утверждения в русской жизни западноевропейских «идеалов», и о невозможности поэмы вообще в религиозном, или «древнем» смысле. «...Думать, что в наше время возможен древний эпос, — писал Белинский, — это так же нелепо, как и думать, что в наше время человечество могло вновь сделаться из взрослого человека ребенком...» [Белинский 5: 145].

Еще в 1835 г., в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», Белинский, размышляя о противоположности «идеальной» и «реальной» поэзии, высказывался о жанре «поэмы» и его отношении к современности следующим образом: «...Первобытное человечество <...> объясняло явления физического мира влиянием высших таинственных сил. <...> “Илиада” была <...> священной книгою, источником религии и нравственности <...> Но младенчество не вечно для человека <...> вера в богов и чудесное умерла <...> Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, как она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотим ее украшать <...> вот поэзия *реальная* <...> она не пересоздает жизнь, но воспроизводит <...> ее...» [Белинский 1: 141–146]. Для упрочения таких взглядов на значение литературы в современном обществе — служить лишь верным «зеркалом» действительности — привлекался также тезис о бессознательности настоящего художественного творчества.

В своем западничестве Белинский выступал лишь против «слепой подражательности» и ратовал за создание «нашими руками» и «на родной почве» национального «просвещения», в основе которого главенствовала бы, однако, идея европейского прогресса [Белинский 1: 64, 69–70, 79–80, 124–125]. Именно как проявление этого национального «просвещения» (приведшего от «гимна», «поэмы» и «молитвы» «младенствующего человека» к современным — якобы заменившим их — «повести и роману») Белинский и истолковывал повести Гоголя в «Арабесках» и «Миргороде», найдя в них, по замечанию Я. М. Неверова, «свою любимую реальную поэзию» [Неверов: 433] в противовес «идеальной» — древнего источника «религии и нравственности» [Белинский 1: 144].

Гоголь внимательно прочитал тогда статью Белинского, посвященную «Арабескам» и «Миргороду», и впоследствии прямо возражал на эти (и подобные) заявления критика, в том числе высказанные в споре



с К. С. Аксаковым. По словам Гоголя в письме к П. В. Анненкову от 12 августа (н. ст.) 1847 г. (а также в письме к В. А. Жуковскому от 10 января (н. ст.) 1848 г. [Гоголь 2009–2010. 15: 11]), создавая свою поэму, он провел «долгое время за Библией, за Моисеем, Гомером — законодателями веков минувших» [Гоголь 2009–2010. 14: 412]<sup>1</sup>. Весной 1836 г., когда собственная поэма Гоголя уже была начата, но еще не названа «поэмой», писатель в одной из рецензий, написанных для пушкинского «Современника», замечал: «Божественный Учитель и Спаситель наш первый открыл эту высокую тайну, облекши святые божественные мысли Свои в притчи, которые слушали и понимали тысячи народов <...> Мы <...> наконец возвращаемся к той истине, которая была сказана еще в глубине младенческих сердец наших <...> Уже везде, во всех нынешних попытках романов и повестей, видно стремление осуществить, окрылить или доказать какую-нибудь мысль...» (рецензия на книгу Е. И. Ольдекопа «Картины мира» [Гоголь 2009–2010. 7: 495]). Насущную потребность «поэмы», как произведения учительной литературы, для современности Гоголь подчеркивал позднее в статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским» (1846). Повторяя здесь суждения Белинского о религиозно-нравственном содержании поэм Гомера и имея в виду «прогрессистские» высказывания критика по отношению к традиционной духовной культуре России, он писал: «...“Одиссея” есть <...> нравственнейшее произведение и <...> единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку <...> все нынешние обстоятельства как бы нарочно обставились так, чтобы сделать появление “Одиссеи” почти необходимым в настоящее время...» [Гоголь 2009–2010. 6: 27]. «Словом, — продолжал Гоголь, — на страждущих и боляющих от своего европейского совершенства “Одиссея” подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое

---

<sup>1</sup> Как вспоминал позднее П. В. Анненков, Гоголь в 1841 г. в Риме, в период создания первого тома «Мертвых душ», говорил, «что в известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, “Илиады” Гнедича и стихотворений Пушкина» [Анненков: 67]. О насущной необходимости для «поэта-художника», перечитавшего «много всяких творений», оставить себе наконец «настоящую книгу одну только “Илиаду” Гомера» упоминал Гоголь в создававшейся тогда же второй редакции повести «Портрет» (1842) [Гоголь 2009–2010. 3/4: 93].

должно возратить себе человечество, как свое законное наследство» [Гоголь 2009–2010. 6: 34]. Имея в виду противопоставление Белинским «идеала жизни» «самой жизни», представленной в натуралистическом зеркале «реальной поэзии», Гоголь в «Авторской исповеди» (1847) добавлял: «...Писатель-творец творит творенье свое в поученье людей <...> Нужно, чтобы в создание его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед... <...> Возратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно...» [Гоголь 2009–2010. 6: 238].

Судя по этим высказываниям, определение автором жанра «Мертвых душ» как «поэмы» преследовало цель подчеркнуть принадлежность его творения к высоким классическим образцам древней учительской литературы. Надо сказать, этим Гоголь отвечал не только Белинскому, но и Константину Аксакову, ибо, согласно Гоголю, его поэма заключала в себе не только древнее эпическое *созерцание* (на чем настаивал Аксаков), но и учительство (и, конечно, отнюдь не «бессознательное»), как учительным, по убеждению писателя, было и творчество Гомера.

## 8. Недооценка Аксаковым религиозного обличения «мертвых душ»

Пытаясь отстоять поэму Гоголя от попыток интерпретации ее в духе западнического отрицания, К. С. Аксаков, судя по всему, недооценил религиозную, вполне *сознательную* позицию автора «Мертвых душ». Сам Гоголь светской сатире противопоставлял именно религиозную, по сути, пастырскую критику современности — и в этом видел главную особенность своего художнического видения. «Сатирой ничего не возьмешь; простой картиной действительности, оглянутаго глазом современного светского человека, никого не разбудишь... <...> Разогни книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило пред Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся Страшный Суд Божий, что вострепетает настоящее» («Предметы для лирического поэта в нынешнее время» [Гоголь 2009–2010. 6: 67–68]).

Напротив, С. Т. и К. С. Аксаковым (не говоря уже о Белинском) религиозная настроенность Гоголя всегда казалась «лишней», «меша-

ющей» в деле «художества». Сам Гоголь 20 мая (н. ст.) 1847 г. писал А. О. Смирновой об Аксаковых: «Почувствовать, что всё, совершающееся в нас, совершается не без воли Божией и что событие, во мне случившееся, случилось не во вред искусству, но к возвышению искусства, почувствовать этого из них никто не в силах, ни отец, ни сын...» [Гоголь 2009–2010. 14: 279–280]. Именно С. Т. Аксакову Гоголь 18 августа (н. ст.) 1842 г. писал из Гастейна по поводу своего предполагаемого паломничества к Святым Местам: «Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении? <...> Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему и смешавшему людей, считающему и доныне важным делом выставлять неважные дела и пустоту жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие? Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном Мертвым душам, лирическую восторженность? Не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали значение? Так, может быть, вы примиритесь потом и с сим лирическим движением самого автора» [Гоголь 2009–2010. 12: 112]. Сам С. Т. Аксаков, вспоминая «Истории нашего знакомства с Гоголем...», как Гоголь сообщил ему о своем намерении отправиться в Иерусалим, замечал: «Признаюсь, я не был доволен ни просветленным лицом Гоголя, ни намерением его ехать ко Святым Местам. Все это казалось мне напряженным, нервным состоянием и особенно страшным в Гоголе, как в художнике...» [Гоголь в воспоминаниях 2: 709].

Позднее, комментируя в «Истории нашего знакомства с Гоголем...» письмо к нему Гоголя от 24 июля (н. ст.) 1843 г., С. Т. Аксаков замечал: «Решительно не знаю, какие житейские дела могли отнимать у Гоголя время и могли мешать ему писать? <...> Я думаю, что Гоголю начинало мешать его религиозное направление» [Гоголь в воспоминаниях 2: 748]. Иван Аксаков 14 марта 1844 г. писал также родным по поводу известий о Гоголе: «Как бы не потерпело искусство от излишества религиозного направления» [Аксаков И. С. 1888а: 97].

Но в полной мере разногласия Аксаковых с Гоголем по поводу его учительства проявились с выходом в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями». К сожалению, отношение почти всего семейства Аксаковых к этой книге (за исключением одного Ивана Аксакова) было почти сходным с реакцией на нее Белинского. С. Т. Аксаков даже по-

лагал, что Белинский в своей статье о «Переписке с друзьями», напечатанной в № 2 «Современника» за 1847 г., был недостаточно радикален. 8 февраля 1847 г. он писал сыну Ивану: «Белинский не так написал о книге Гоголя, как я ожидал. Впрочем, хорошенько подумав, я почти соглашаюсь, что так и следовало ему написать: он не был в дружеских сношениях с Гоголем. Не мог сказать голой правды о многих статьях и притом болен» [Гоголь в воспоминаниях 2: 597].

И все это несмотря на то, что Аксаковы, наряду с Погодиными, Шевыревыми, Хомяковыми, Шереметевой, Толстыми и др., были в Москве в числе наиболее близких к Гоголю семейств. Тем не менее, едва получив известие о печатании в Петербурге «Выбранных мест...», С. Т. Аксаков в письме к сыну Ивану от 26 августа 1846 г. восклицал: «Увы, исполняется мое давнишнее опасение! Религиозная восторженность убила великого художника и даже сделает его сумасшедшим» [Аксаков С. Т. 1960: 159]. 25 ноября 1846 г. он писал о том же П. А. Плетневу: «Вы, вероятно <...>, заметили с некоторого времени особенное религиозное направление Гоголя; впоследствии оно стало принимать характер странный, и, наконец, достигло такого развития, которое я считаю если не умственным, то нервным расстройством» [Грот: 249–250]. Самому Гоголю С. Т. Аксаков в письме от конца ноября — 9 декабря 1846 г. признавался: «Уже давно начало не нравиться мне ваше религиозное направление» [Гоголь 2009–2010. 13: 456].

В. С. Аксакова, повторяя слова отца, 3 декабря 1846 г. сообщала М. Г. Карташевской, что «религиозное направление» Гоголя «овладело им до такой степени, что художник исчезает» [Аксаков С. Т. 1890: 155]. В письме от 30 января — 4 февраля 1847 г. она добавляла: «Гоголь не фанатик религиозный, т. е. по крайней мере не такой, как мы привыкли понимать под этим словом. Лучше было бы, когда бы он бежал в пустыню, отвергал бы мир, убивал бы постом и молитвой свое тело, бичевал бы себя, делал бы всевозможные нелепости, но он не то, он хочет примирить жизнь и весь порядок вещей с христианским стремлением...» [Гоголь в воспоминаниях 2: 857–858].

В письме к сыну Ивану от 23 января 1847 г. С. Т. Аксаков замечал о Гоголе: «...Говоря о примирении искус<с>тва с религией, он всеми словами и действиями своими доказывает, что художник погиб в нем» [Аксаков С. Т. 1960: 167–168]. На другой день после похорон Гоголя, 25 февраля 1852 г., С. Т. Аксаков писал М. Г. Карташевской: «Вот, милая

Машенька, что случилось с нами: Гоголь умер... страшные слова! <...> ...Он сжег все “Мертвые души”. Вероятно, ханжа гр<аф> Толстой<sup>1</sup>, попы и монахи подвинули его на это. Нельзя служить двум владыкам; нельзя исповедовать двух религий: христианства и художества» [Аксаков С. Т. 1960: 223].

Столь же показательно позиция С. Т. Аксакова в отношении к учительству Гоголя проявилась в статье «Одним сыновьям», написанной на второй день после кончины писателя, 23 февраля 1852 г. Здесь Аксаков также высказывался со всей откровенностью: «Я признаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени и в то же время мученик христианства. Я это предчувствовал, и еще в 1844 году, когда он прислал нам подарки<sup>2</sup>, написав прежде такое письмо<sup>3</sup>, что я ждал второго тома “Мертвых душ”, писал к обоим <...> Петровичам <М. П. Погодину и С. П. Шевыреву> о своем отчаянии. Долго хохотали надо мною эти ослы, прочитав в моем письме, что или художник погиб и выйдет святой отшельник, или Гоголь умрет в сумасшедшем доме. Слава Богу, не сбылось последнее, но зато он ничего не произвел нового и умер. <...> Нельзя исповедовать две религии безнаказанно. Тщетная мысль совместить и примирить их. Христианство сейчас задаст такую задачу художеству, которую оно выполнить не может, и сосуд лопнет» [Аксаков С. Т. 1960: 222–223].

---

<sup>1</sup> Подразумевается граф А. П. Толстой, один из близких друзей Гоголя, его постоянный собеседник по конфессиональным вопросам, впоследствии обер-прокурор Святейшего Синода (1856–1862). В 1857 г. святитель Игнатий (Брянчанинов), в ту пору архимандрит, настоятель Троице-Сергиевой пустыни близ Петербурга, писал о графе А. П. Толстом: «...Он весьма благонамерен и к Церкви весьма расположен, почему и ожидают от него всего доброго, особенно когда он попривыкнет к делам» [Игнатий Брянчанинов, святитель: 219]. Разделяемое всеми членами семьи Аксаковых представление о том, будто на формирование «мистического расположения» Гоголя оказал влияние граф А. П. Толстой, ошибочно. Факты свидетельствуют об обратном: не граф Толстой и его супруга, а Гоголь повлиял на них в религиозном отношении [Виноградов 2010].

<sup>2</sup> См. письмо Гоголя к С. Т. Аксакову, М. П. Погодину и С. П. Шевыреву от 14 февраля (н. ст.) 1844 г. из Ниццы [Гоголь 2009–2010. Т. 12: 309–310] (датировка письма уточнена).

<sup>3</sup> Имеется в виду письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 10 февраля (н. ст.) 1844 г. [Гоголь 2009–2010. Т. 12: 313–314].

К слову сказать, не доведенная до конца «История нашего знакомства с Гоголем...» С. Т. Аксакова 1854–1855 гг. также лишь на первый взгляд может показаться вполне «беспристрастной» и «дружелюбной» в отношении к Гоголю. Как позволяет судить обширное эпистолярное наследие семьи Аксаковых, а также подготовительные материалы С. Т. Аксакова к его «Истории...», да и само содержание этого незавершенного произведения, сохранившаяся его часть — лишь подступ к изображению решительного размежевания с Гоголем — автором «Выбранных мест из переписки с друзьями». Сама незавершенность «Истории...» во многом объясняется неоднозначностью и непоследовательностью Аксакова в этом принципиальном и наиболее важном для него эпизоде взаимоотношений с Гоголем. Лишь однажды в «Истории...» самоуверенный тон Аксакова в оценке учительства Гоголя сменяется на покаянный: «Будучи сам плохим христианином, я с неудовольствием и недоверчивостью смотрел на религиозное направление Гоголя. Вероятно, это было главною причиною, почему он не открывался мне в своих намерениях» [Гоголь в воспоминаниях 2: 709].

Из всех Аксаковых лишь Иван Аксаков не разделял мнения Белинского о невозможности создания поэмы в древнем, учительном смысле и верил в возможность выполнения Гоголем его задачи. 18 января 1847 г. он писал родным из Калуги: «Меня что радует? То, что он мирится и мирит искусство с религией, что он продолжает “Мертвые Души”...» [Аксаков И. С. 1988: 344–345]; 25 января 1847 г.: «Я убежден <...>, что все это направление не помешает ему окончить Мертвых Душ. Что если Мертвые Души явятся, если просветленный художник уразумеет всю жизнь, как она есть, со всеми ее особенностями, но еще глубже, еще дальше проникнет в ее тайны, не односторонне, не увлекаясь досадой или насмешкой, — ведь это должно быть что-то исполински-страшное. 2-й том должен разрешить задачу, которой не разрешили все 1847 лет христианства» [Аксаков И. С. 1988: 347–348]. Однако, несмотря на отличие позиции И. С. Аксакова, из тех же его признаний можно предположить, что Аксаковы, подобно Белинскому, даже не допускали, что практическое соединение христианства и «художества» Гоголь начал осуществлять задолго до начала работы над вторым томом «Мертвых душ», а именно, с самых первых своих произведений.

Глубже понять, что именно подразумевали Аксаковы под невозможностью соединения христианства и искусства, и заодно уяснить,

как воспринимали они другие гоголевские произведения, в частности, «Вечера на хуторе близ Диканьки», позволяет письмо И. С. Аксакова к родным от 10–11 ноября 1848 г. из Одессы, где творчество Гоголя осмыслиется как органично связанное с народным бытом (согласно ответному письму С. Т. Аксакова к сыну от 22 ноября 1848 г., при чтении этого письма присутствовал сам Гоголь). И. С. Аксаков писал: «...Малороссия произвела на меня приятное впечатление. Везде так и торчит Гоголь с своими “Вечерами на хуторе близ Диканьки”. Тут только вы почувствуете все достоинство, всю верность этих описаний... <...> На одной станции <...> удалось мне разговориться с одним хохлом. Я спросил его про разные песни и обычаи, знает ли он “Щедрый вечер, Добрый вечер” и многое другое... <...> Оказалось, что знает, но говорит, что все уже выводится, что на вечерницы и для игр на улицы собираться им не велят, боясь от того беспорядков <...> что коляды почти совсем затихли, ибо это грешно и делается накануне праздника в противность церковным уставам и пр.<sup>1</sup> <...> Сколько языческого во всех этих празднествах и обычаях! Да, наш народ принял Христианство как младенец; он не освятил его именем, как западные народы, диких, свирепых побуждений, не устроил во имя христианства нехристианские учреждения, — но не переменял веселой стороны своего языческого быта. <...> Но строже и строже становится время; не может, не должен народ оставаться в этом состоянии бессознательного, цельного быта... Конечно, каждому отдельному лицу с первых годов Христианства до последнего времени возможно было путем веры и труда освободиться от своего быта и достичь полного личного усовершенствования; но эту возможность сохранили для человечества, на эту возможность указывали только монастырь и пустыня... Долго, не смущаясь, продолжился этот беспечный быт, — но время напирает. Нельзя же всем идти в монахи или удалиться в пустыни; да при этом куда бы девалась семья? Но где же она, эта граница примирения быта с требованиями религии?.. Под корень подрублена вера в жизнь, со всею ее красою, со всеми ее правами; повеял свежий, редкий воздух, от которого замирает дух, где нет земной человеческой жизни. Надо жить, отвергая жизнь... Рушится быт повсюду; взамен тепла предложен воздух горних высот, где так страшно высоко; а как хорошо иногда бывало внизу!.. Конечно, еще да-

---

<sup>1</sup> О том, как соотносится это наблюдение И. С. Аксакова с содержанием «Ночи перед Рождеством», см.: [Виноградов 2009а: 520–521].

леко до этого преобразования; но уже вместились в нас это убивающее жизнь понимание... Последние времена искусства пришли... Где же ты, Алешка (герой незавершенной поэмы И. С. Аксакова "Бродяга". — И. В.), торопись жить, пока еще есть время; пусть еще пишутся стихи; покуда их слушают; скоро раздастся последняя лебединая песнь...» [Аксаков И. С. 1988: 402, 405–406].

Очевидно, что из тезиса о невозможности соединения христианства и «художества», христианства и народного быта у И. С. Аксакова вытекает представление о полужыческом характере повестей Гоголя из украинской жизни. Смешивая миросозерцание изображаемых героев с позицией самого автора, он, очевидно, никакого нравоучения в высокохудожественных «Вечерах...», полных «верных описаний», не видит. Между тем, как показывает исследование, уже с самого первого своего сборника Гоголь вступает в литературу как глубокий оригинальный мыслитель, связанный с православной отечественной традицией [Виноградов 2000а: 6–88; 2009а: 520–521]. Об особом замысле своих ранних повестей свидетельствовал сам писатель. Незадолго до получения Аксаковыми цитированного письма И. С. Аксакова Гоголь, сообщая о своей работе над вторым томом «Мертвых душ», писал графине А. М. Виельгорской: «Хотелось бы <...> заговорить о том, о чем еще со дня младенчества любила задумываться моя душа, о чем неясные звуки и намеки были уже рассеяны в самых первоначальных моих сочинениях. Их не всякий заметил...» [Гоголь 2009–2010. 15: 132]. Ранее, весной 1845 г., Гоголь не без горечи писал С. С. Уварову, что все доселе им написанное потому «не стоит большого внимания», что, «хоть в основание его легла и добрая мысль, но выражено все <...> незрело, дурно», «ничтожно», «не так, как бы следовало» [Гоголь 2009–2010. 13: 104].

Показательно, что в 1849 г. И. С. Аксаков советует Гоголю прочесть «стихотворения Григория Богослова», напечатанные в одном из томов Творений Святых Отцов за 1847 г. «Это решительный поэт, — восклицает Иван Аксаков в письме к родным от 6 августа 1849 г. — Как я ему обрадовался! Советую Константину обратить на него внимание и Гоголю также. Видно, что он наслаждается сам красотой образов и выражений» [Аксаков И. С. 1888b: 209]. Желая представить Гоголю образец соединения христианства и искусства, И. С. Аксаков в следующем письме к родным, от 20 августа 1849 г., напоминает: «Кланяюсь Гоголю.



Заставьте его прочесть стихотвор<ения> Григ<ория> Богослова» [Аксаков И. С. 1994: 47].

Но характер гоголевского художественного учительства или нравочужения в образах до конца не был понятен и Ивану Аксакову. В письме к родным от 9 июля 1850 г. он замечал: «В Данилове я нашел себе письмо от А<лександр> О<сиповны> <Смирновой>. Она пишет <...> что Гоголь, вероятно, поселится на Афонской горе и там будет кончать “Мертвые Души” (как ни подымайте высоко значение искусства, а все-таки это нелепость, по-моему: среди строгих подвигов аскетов он будет изображать ощущения Селифана в хороводе и грезы о белых и полных руках и проч.)» [Аксаков И. С. 1888b: 334–335]. По-видимому, в возможный христианский подтекст, пронизывающий гоголевское изображение «языческого» быта, Иван Аксаков в это время уже не верит.

Как известно, Константин Аксаков в своих воззрениях ни в чем не отставал ни от отца, ни от брата, а в каких-то оценках даже «опережал» их. Сам он в мае 1848 г. писал Гоголю: «Ваши важные и еще более важничающие письма, с их глубокомыслием, часто наружным, часто ложным, ваши благотворительные поручения с их неискреннею тайной, <...> наконец, ваша книга <...> далеко оттолкнули меня от вас. Я нападал на вас и дома и в обществе почти так же горячо, как прежде стоял за вас» [Гоголь 2009–2010. 15: 81]. При этом К. С. Аксаков заявлял: «Я оставил немецкую философию, русская жизнь и история стали мне еще ближе, и главное, основное для меня то, о чем вы думаете и говорите, — вера, православная вера». Признаваясь в этом, Аксаков отношений к учительству Гоголя не переменял: как прежде не считался с религиозным замыслом «Мертвых душ», так и теперь подлинной веры в самом Гоголе не видел. «...Учение ваше ложное, лживое, совершенно противоположное искренности и простоте», — заявлял он в письме к Гоголю [Гоголь 2009–2010. 15: 81].

Зная «неистовый» характер своего брата, Иван Аксаков в письме к родным от 29 ноября 1849 г. замечал: «Пользуйтесь хорошим расположением Гоголя, поддерживайте его, пусть его пишет. Не надо, чтобы Константин разрушал в нем всякую веру в искусство (т. е., очевидно, веру в возможность соединения искусства с христианством. — *И. В.*)... Я вполне разделяю взгляд Константина, а все-таки счастлив, когда пишу» [Аксаков И. С. 1994: 366]. Ранее, в письме к родным от 30 августа 1849 г., получив известие от А. О. Смирновой о чтении Гоголем второго тома

«Мертвых душ», И. С. Аксаков замечал: «Говорит, что 1-й том перед тем, что написано и что только набросано, совершенно побледнел. — Может быть, Константин и махнет рукой, но я просто освежился этим известием; нужно давно обществу блистание Божьих талантов на этом сером, мутном горизонте. <...> Нельзя сердиться на Гоголя, что он Вам не читал Мертвых Душ. Он видит в настоящее время, что Вы и Константин мало заботитесь о его производительности и не ждете от него ничего; даже не видит уважения к прежним проявлениям своего таланта. — Впрочем, я уверен, что Вы, милый Отесинька, обрадуетесь этому известию, да и Константин тоже» [Аксаков И. С. 1994: 51].

## 9. Гоголь и Аксаковы в отношении к поэмам Гомера

Представление Гоголя об учительном характере поэм Гомера, то есть представление о возможности соединения «нравоучения» и подлинной художественности в противовес представлениям К. С. Аксакова об «эпическом», по сути, бессознательном, «созерцании» Гомера, очевидно, лежали и в основе разногласий Гоголя с Аксаковыми при восприятии перевода «Одиссеи» В. А. Жуковского. Как следует из статьи Гоголя «Об Одиссее, переводимой Жуковским», он ценил этот перевод чрезвычайно высоко. Подчеркивая важность «Одиссеи» Гомера для упрочения народного быта, писатель считал ее определенно важнее отвлеченных споров друзей о славянских началах. Поэтому, отстаивая заключенные в самой поэме Гомера древние патриархальные начала, Гоголь сходным образом противопоставлял суждениям К. С. Аксакова содержание русского «Домостроя» — с описанным в этом памятнике сходным народным бытом: «Эти книги больше всего знакомят с тем, что есть лучшего в русском человеке. Они гораздо полезнее всех тех, которые пишутся теперь о славянах и славянстве людьми, находящимися в броженьях, в переходных состояниях духа, возрастах, подвластных воображенью, обольщеньям самолюбивого ума и всяким пристрастьям» (письмо к графине А. М. Виельгорской от 30 марта 1849 г. [Гоголь 2009–2010. 15: 170–171]). В этом отношении Гоголь, считавший, что правды «больше» на стороне славянофилов, чем западников (статья «Споры» [Гоголь 2009–2010. 6: 52]), очевидно, был в еще большей степени «славянофилом», чем сами Аксаковы.

Напротив, С. Т. Аксаков 29 июля 1846 г. писал сыну Ивану по поводу напечатанной в «Московских Ведомостях» гоголевской статьи: «Ты читал статью Гоголя? Как хороша! <...> Впрочем, я не верю в такое достоинство перевода и еще менее в *такое* действие “Одиссеи” на всех» [Гоголь в неизданный переписке...: 683–684]. Тогда же и К. С. Аксаков в письме к брату Ивану сообщал, что полная «глубины истины и красоты» статья Гоголя «Об Одиссее, переводимой Жуковским» тем не менее «совершенно ложна» в своей мысли о влиянии этого произведения, с которой никто не согласен [Аксаков И. С. 1988: 633]. В. С. Аксакова 29 июля 1846 г., в свою очередь, писала И. С. Аксакову: «Жуковский прислал какие-то стихи в сборник: “Египетская мгла”, но ничего особенного в них. Это заставляет нас сомневаться в справедливости похвал Гоголя переводу “Одиссеи” Жуковского» [Гоголь в воспоминаниях 2: 849]. Самому Гоголю С. Т. Аксаков в конце ноября — 9 декабря 1846 г. писал: «Статья ваша, напечатанная в “Моск<овских> Вед<омостях>”, о переводе “Одиссеи”, заключая в себе много прекрасного, в то же время показывала ваш непростительно ошибочный взгляд на то действие, какое вы ему предсказываете с самоуверенностью, догматически. Похвалы ваши переводу превзошли не только меру, но и самую возможность достоинства такого труда» [Гоголь 2009–2010. 13: 457].

Позднее разногласия по поводу перевода «Одиссеи» Жуковского только усилились. 22 ноября 1848 г. С. Т. Аксаков сообщал И. С. Аксакову: «Гоголь получил от Жуковского печатный экземпляр первых 12 песен “Одиссеи”. Гоголь прочел нам сам почти половину. На Гоголя любо смотреть. Когда он читает, то вполне наслаждается необъятным творчеством Гомера и художественным переводом. Последнего мнения я и Константин с Гоголем не разделяем. Перевод, точно, хорош и во многих местах изящен, но зато много имеет и грубых недостатков...» [Гоголь в воспоминаниях 2: 712, 714]. Спустя несколько дней, 28 ноября 1848 г., С. Т. Аксаков вновь извещал сына: «Мы прочли все 12 песен “Одиссеи”. Стих вообще очень хорош, и есть места даже превосходные, но в частности можно сделать много замечаний, которые и были деланы мной и особенно Константином, всегда доказывавшим неверность перевода сличением его с подлинником. Гоголь сначала принимал эти замечания очень хорошо, убеждался в их справедливости и просил всё записывать для сообщения Жуковскому; но впоследствии стал раздражаться словами Константина...» [Гоголь в воспоминаниях 2: 714].

Возможно, критика Аксаковыми перевода Жуковского побудила Гоголя, после прочтения первых двенадцати песен «Одиссеи», прибегнуть к другому источнику — переводам Гомера в книге А. Ф. Мерзлякова «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев» (М., 1825–1826. Т. 1–2). 15 августа 1849 г. В. С. Аксакова сообщала брату Ивану: «Теперь у нас Гоголь и все читает разных русских старых писателей. Читает все переводы Гомера, Мерзлякова, и Константин, забывая свои теории, восхищается вместе с Гоголем и со всеми нами» [Материалы по истории: 114]. С. Т. Аксаков в «Истории нашего знакомства с Гоголем...» также вспоминал, что Гоголь с 14 по 17 августа 1849 г. «по вечерам читал с большим одушевлением переводы Мерзлякова древних, особенно гимны Гомера ему нравились» [Гоголь в воспоминаниях 2: 652]. 20 августа 1849 г. В. С. Аксакова сообщала М. Г. Карташевской: «После <...> обеда все время почти проходило в чтении старинных русских писателей; читали много прекрасных переводов Мерзлякова с греческого Гомера, и других, и вместе с Гоголем все восхищались» [Гоголь в неизданной переписке...: 717].

В ноябре 1849 г. С. Т. Аксаков вновь извещал сына Ивана: «Гоголь прислал нам последние 12 песен “Одиссеи”, и мы начали читать их с наслаждением, но о переводе можно много заметить» [Неизданные письма: 806]. Самому Гоголю С. Т. Аксаков опять-таки указывал на недостатки перевода: «По-моему, перевод первых 12-ти песен лучше относительно языка. Нередко укальвалось мое эстетическое чувство Жуковским, который торчит из Гомера» [Гоголь 2009–2010. 15: 278–279]. В «Истории нашего знакомства с Гоголем...» С. Т. Аксаков вспоминал: «Гоголь в эту зиму прочел нам всю Одиссею, переведенную Жуковским. Он [слепо] слишком восхищался этим переводом, что высказал уже печатно в Московских Ведомостях. Я и Константин были [не согласны] не совсем согласны с ним. Разумеется, это было ему неприятно, но он не показывал никакого неудовольствия. Один раз, когда мы высказали ему немалое число самых неопровержимых замечаний на перевод Одиссеи, Гоголь сказал: “Напишите все это и пошлите Жуковскому; он будет вам очень благодарен”» [Гоголь в воспоминаниях 2: 651].

Константин Аксаков в письме к брату Ивану от 28 ноября 1848 г. высказывался о переводе Жуковского весьма решительно: «Получена “Одиссея” Жуковского. Это не Гомер. Мудрованья премного, особенно в начале. Гоголь даже стал уж соглашаться. Из нескольких слов о нашей старине увидел я, что Гоголь ее самонадеянно не понимает. Если все

это так, то, я думаю, не будет прока от его деятельности...» [Гоголь в неизданной переписке: 715].

В итоге 14 декабря 1849 г. Гоголь сообщал Жуковскому из Москвы: «Появление “Одиссеи” было не для настоящего времени. Ее приветствовали уже отходящие люди, радуясь и за себя самих, что еще могут чувствовать вечные красоты Гомера, и за внуков своих, что им есть чтение светлое, не отемняющее головы. Я знаю людей, которые несколько раз сряду прочли “Одиссею” с полной признательностью и глубокой благодарностью к переводчику. Но таких (увы!) немного. Никакое время не было еще так бедно читателями хороших книг, как наступившее. Шевырев пишет рецензию; вероятно, он скажет в ней много хорошего, но никакие рецензии не в силах засадить нынешнее поколение, обмороченное политическими брожениями, за чтение светлое и успокаивающее душу. Временами мне кажется, что II-й том “Мерт<вых> душ” мог бы послужить для русских читателей некоторою ступенью к чтению Гомера» [Гоголь 2009–2010. 15: 287].

## **10. Гоголь об истоках своего творчества и оценка составляющих гоголевской поэтики Аксаковыми**

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь в числе источников русской поэзии и своего творчества указывал пословицы и слово церковных пастырей, народную песню и церковные песни и каноны, а также важнейшее политическое событие в истории России — принятие русскими царями в лице Петра I императорского достоинства. Это событие, породившее, по Гоголю, «необыкновенный», «высокий лиризм» одической поэзии Ломоносова и Державина, поставило Россию перед лицом ее истинного призвания — быть Священной Империей, главным назначением которой является «стремление к свету», то есть спасение душ подданных, «приближение инога Царствия» [Гоголь 2009–2010. 6: 41, 157, 195]. Еще в 1834 г. в статье «Несколько слов о Пушкине» он замечал: «Русская история только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость...» [Гоголь 2009–2010. 7: 276]<sup>1</sup>. По словам Гоголя, дошедшим до нас в вос-

---

<sup>1</sup> Об отношении Гоголя к Москве как Третьему Риму см.: [Виноградов 2000b; 2018b].

поминаниях архимандрита Феодора (Бухарева), «оживлению» Чичикова в завершении «Мертвых душ» должен был послужить «прямым участием сам Царь» [Феодор (Бухарев), архимандрит, 1861: 138–139]<sup>1</sup>.

Из указания самого писателя на истоки его поэтики с определенностью следует вывод о вполне сознательном и религиозном характере гоголевского творчества. Однако в сравнении с авторским взглядом на себя как писателя в представлениях о гоголевском таланте Аксаковых, наряду с заимствованным у Белинского представлением о «бессознательности» художника, существовал еще целый ряд принципиальных расхождений. О критическом отношении семейства Аксаковых, отца Сергея Тимофеевича и его сыновей Константина и Ивана, к религиозности Гоголя, скептицизме по поводу его «нравственно-наставительного» направления, следования традициям «слова церковных пастырей», уже говорилось. Отношение Аксаковых к другой важнейшей составляющей поэтики Гоголя — религиозно-политической, т. е. к государственному мышлению писателя — тоже было резко критическим.

В монархическом, важнейшем для Гоголя вопросе у Аксаковых, несмотря на диссертацию Константина Аксакова о Ломоносове, единодушия с писателем тоже не было. Подразумевая гоголевскую статью «О лиризме наших поэтов. (Письмо к В. А. Жуковскому)», И. С. Аксаков в письме к родным от 18 января 1847 г. замечал: «Досадно <...>, что помещено письмо о доме Романовых и государе» [Аксаков И. С. 1988: 344–345]. В следующем письме, от 25 января 1847 г., он добавлял: «...Я <...> при чтении книги <Гоголя> сильно смущался <...> похвалами дому Романовых...» [Аксаков И. С. 1988: 347]. С. Т. Аксаков в письме к сыну от 30 января 1847 г. в свою очередь, сообщал, что «прочитав в другой раз статью *О лиризме наших поэтов*, <...> впал в такое ожесточение, что <...> написал целое письмо» к Гоголю, «горячее и резкое» [Аксаков С. Т. 1960: 168] (имеется в виду письмо от 27 января 1847 г. [Гоголь 2009–2010. 14: 91–92]). В. С. Аксакова в письме к М. Г. Карташевской от 20 января 1847 г. высказывалась еще откровеннее: «Если ты читала книгу Гоголя, то, вероятно, была поражена словами о Царе, но я убеждена, что это вытекает из его религиозных взглядов и просто есть сума<с>шествие, иначе это было бы ужасно насколько отвратительно, но это не может быть» [Гоголь в воспоминаниях 2: 856]. К. С. Аксаков 21 мая 1848 г. также писал Гоголю: «...Самые мысли ваши ложны; вы

---

<sup>1</sup> См. подробнее [Виноградов 2001a].

дошли до невероятных положений. <...> Таково письмо ваше к Жуковскому, письмо, так сильно противоречащее, по-моему, вере православной» [Гоголь 2009–2010. 15: 82]. (В апреле 1848 г., К. С. Аксаков, возражая на статью Гоголя, писал: «...Россия никогда не обоготворяла Правительства, никогда не верила в его совершенство и совершенства от него не требовала, никогда не ставила его целью своих стремлений, смотрела на него как на дело второстепенное, считая первостепенным делом *Веру* и спасение души, — и поэтому революция чужда совершенно России, и существующий законный порядок в ней крепок. <...> Но Россия подверглась влиянию Запада, и обожание Правительства, этот грех, ведущий за собою казнь свою, революцию, вошел отчасти и к нам. <...> ...Правительство, заимствуя у него <у Запада> материальные усовершенствования, в то же время внесло в Русскую жизнь Западные понятия о власти... <...> Часть России, увлекшаяся Западом, ту же минуту поклонилась пред Правительством, как пред кумиром... <...> Я разумею здесь [вовсе не либералов только или людей, разделяющих все последние мнения Запада, но] всех, которые следуют какому бы то ни было Западному направлению, хотя самому консервативному; также я разумею здесь всех, которые, хотя и не толкуют о Западе, но оторваны от народа, теряют Русские основы быта и потому поневоле связаны с Западом и могут пойти его путем...» [Аксаков К. С. 1992: 297, 299–300]<sup>1</sup>).

Не случайно, А. О. Смирнова, сообщая в 1847 г. Гоголю о неприятии Аксаковыми его последней книги, не без раздражения замечала о них: «Ненависть к власти, к общественным привилегиям, к высокому рождению и богатству — таковая-то отвлеченная страсть к идеальному русскому, таящемуся в бороде, — вот начало этих господ» (письмо от 18 февраля [Гоголь 2009–2010. 14: 165]).

Чрезвычайно важно и указание Гоголя в числе источников русской поэзии на народную песню. Это указание, помимо прочего, может служить ключом к пониманию характера гоголевских лирических отступлений в первом томе «Мертвых душ». Несомненно, одним из поводов

---

<sup>1</sup> Статья «Голос из Москвы» предназначалась для распространения; сохранилось шесть ее автографов. Очевидно, был знаком с ней и Гоголь. К. С. Аксаков в письме к брату Г. С. Аксакову писал: «Как жалею я, что Иван не взял с собою моей статьи “Не сотвори себе кумира (голос из Москвы)”»; эта статья дала бы вам ясное понятие о моих гражданских мыслях» [Кошелев 1992: 308].

для отмеченного «оптимизма» К. С. Аксакова в восприятии «пошлых» героев «Мертвых душ» были как раз эти лирические отступления. Во всяком случае Ю. Ф. Самарин в письме к К. С. Аксакову от второй половины октября 1842 г. (которое Константин Аксаков посылал Гоголю в Рим), замечал: «Конечно, в первом томе “Мертвых душ” мы видим ее темную сторону; но, не говоря о тех прекрасных лирических местах, в которых сам поэт разоблачает закрытую для нас и всю облитую светом ее другую сторону, предположивши даже, чего не дай Бог, что мы никогда ее не увидим, и тогда вы не имеете права убивать в себе наслаждение и сокрушаться» [Гоголь 2009–2010. 12: 231].

Однако позднее сам Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» указывал, что он вкладывал в лирические отступления не только «мажорное», но и «минорное» звучание, и что в этом смысле читатели поняли его неправильно. В одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» он замечал: «Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в превратном смысле. <...> Разумею то место в последней главе, когда, изобразив выезд Чичикова из города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится сам на его место и, пораженный <...> грустной песней, несущейся по всему лицу земли Русской от моря до моря, обращается в лирическом воззвании к самой России... <...> Слова эти были приняты за гордость и доселе неслыханное хвастовство, между тем как они ни то, ни другое. Это просто нескладное выражение истинного чувства. Мне и доньше кажется то же. Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же». «Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства, — добавлял Гоголь, — не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому — именно ему самому, — тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе» [Гоголь 2009–2010. 6: 77–78].

Начиная с Шевырева, Белинского и Аполлона Григорьева, общим местом исследовательских работ о Гоголе стало указание на определенное соответствие концепции «Миргорода» целостному замыслу «Мертвых душ» — в критической и утверждающей частях поэмы (со-



ответствующих первому и последующим, предполагаемым ее томам). Шевырев, первый обративший внимание на это соотношение, в 1842 г. писал о первом томе поэмы: «Талант Гоголя был бы весьма односторонен, если бы ограничивался одним комическим юмором, если бы обнимал только одну низкую сферу действительной жизни... <...> Вспомним, что одно и то же перо изобразило нам ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, старосветских помещиков и Тараса Бульбу. Художественный талант Гоголя совершил такие замечательные переходы, когда жил и действовал в сфере своей родной Малороссии. По всем данным и по всем вероятностям должно предполагать, что те же самые переходы совершит он и в новой огромной сфере своей деятельности, в жизни Русской... <...> Если “Ревизор” и первая часть “Мертвых душ” соответствуют Шпоньке и знаменитой ссоре двух Малороссов, то мы вправе ожидать еще высоких созданий в роде “Тараса Бульбы”, взятых уже из Русского мира» [Шевырев 1842b: 356–357].

Примечательно, что Шевырев перечислил в этой статье повести «Миргорода» не по их расположению в сборнике, но по времени создания, что оказалось вполне соответствующим замыслу первого и последующих томов «Мертвых душ». Последняя по времени создания повесть в сборнике (не упомянутая Шевыревым) — «Вий» — стала своеобразным «прологом» к новому обращению Гоголя к изображению демонического мира «пошлости» в первом томе «Мертвых душ»: «уродливые» помещики поэмы обнаруживают переключки не только с героями-«чудовищами» «Повести...» о ссоре, но и с демоническим содержанием «Вия» — под обыкновенной, «пошлой» действительностью обнаруживается «ужасное».

Подводя итог размышлениям над «заунывными» звуками русской песни, Гоголь в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» заключал: «Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанешие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращение к России: “В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?” Оно было сказано не для картины или похвальбы: я это чувствовал; я это чувствую и теперь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем» [Гоголь 2009–2010. 6: 80].

Именно так — через «трагизм», через веру в воскрешение «мертвых душ» — проходил Гоголь, судя по его размышлениям о народной песне, путь к тому «оптимизму», который так легко и сразу достался Константину Аксакову при восприятии героев гоголевской поэмы.

### 11. Аксаковы как герои «Мертвых душ»

Определенная недооценка религиозной, учительной стороны творчества Гоголя Аксаковыми, своего рода «недоверие» к ней, по-видимому, нашла отражение и в самом содержании второго тома «Мертвых душ». Своеобразным ответом Аксаковым на их «простодушное богомольство и набожность, которым дышит наша добрая Москва, не думая о том, чтобы быть лучшею» (строки письма Гоголя к С. Т. Аксакову 18 августа (н. ст.) 1842 г. [Гоголь 2009–2010. 12: 110]), служит в поэме образ помещика Петра Петровича Петуха, в создании которого Гоголь воспользовался многими чертами семейства Аксаковых и самого Сергея Тимофеевича [Виноградов 2007: 105–109]. Оставляем здесь открытым вопрос о возможном отражении аксаковского быта в «Старосветских помещиках» [Виноградов 2000b: 117–119] и в образе Коробочки в первом томе «Мертвых душ». Заметим только, в критической оценке семейства Аксаковых Гоголь был не одинок. Ранее уже приводилась резкая оценка Аксаковых — оппозиционных «господ» — А. О. Смирновой, а также неприязненный отзыв о Константине Аксакове Погодина (Погодин называл Аксакова «болтуном», увлекающимся поочередно то Гегелем, то «Мертвыми душами», то лекциями западника Т. Н. Грановского, то чтениями по русской словесности С. П. Шевырева). В дневнике Погодина сохранились также негативные отзывы (очевидно, не всегда справедливые) о других членах семьи Аксаковых. Так, 5 марта 1841 г. у Сергея Тимофеевича и Ольги Семеновны умер семнадцатилетний сын Михаил. 16 апреля 1841 г. Погодин записал в дневнике: «Домашняя досада на О<льгу> С<еменовну>, которая просто блажит, забывает о девяти живых, чтоб плакать об одном»<sup>1</sup>. По-видимому, об этом Погодин написал тогда Гоголю (письмо не сохранилось), который 15 мая (н. ст.) 1841 г. отвечал: «Ужасно жалко мне Аксаковых, не потому только, что у

---

<sup>1</sup> Погодин М. П. Дневник. 1840–1845 // РГБ. Ф. 231. Разд. I. К. 33. Ед. хр. 1. Л. 36–36 об.

них умер сын, но потому, что безграничная привязанность до упоенья к чему бы ни было в жизни есть уже несчастье. Так мало знать жизнь, чтобы не помнить, <...> что всякую минуту мы должны благодарить за то, что остается нам... <...> Неблагодарен человек» [Гоголь 2009–2010. 11: 346]. Еще две реплики об Аксаковых в дневнике Погодина также могут служить объяснением, почему черты их семейства нашли отражение в образах «Мертвых душ»: «Декабрь. <...> 5. <1849>. <...> Вечер у Акс<аковых>, где я испытываюсь злобою против невежества и барства»<sup>1</sup>. Двумя месяцами ранее: «Сентябрь. <...> 20. <1849>. <...> Обед<ать> опять к Акс<аковым>. — Гадко смотреть на наших помещиков. — Совершенные свиньи, а эти еще добрые»<sup>2</sup>. В третьей статье «по поводу “Мертвых душ”» «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь писал одному из своих друзей — людей «прекрасных», тех, что «считали себя лучшими»: «...Мне хотелось попробовать, что скажет вообще русский человек, если его попотчевашь его же собственной пошлостью. <...> Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей, есть и твои» [Гоголь 2009–2010. 6: 83].

Подводя итог наблюдений, можно сказать, что в споре В. Г. Белинского с К. С. Аксаковым о характере гоголевской поэмы более созвучными гоголевским воззрениям были взгляды последнего, сумевшего увидеть действительно позитивную основу отрицательных образов поэмы. Открытием Константина Аксакова стало понимание того, что бытие героев этой поэмы изображено не как жизнь, подлежащая уничтожению, но как жизнь, которой следует дорожить, несмотря на ее несовершенство. Точка зрения Аксакова впоследствии нашла отра-

---

<sup>1</sup> РГБ. Ф. 231. Разд. I. К. 34. Ед. хр. 1. Л. 55 об.

<sup>2</sup> Там же. Л. 52 об. — Цитированные строки из дневника М. П. Погодина были впервые опубликованы Н. П. Барсуковым: «В письмах И. С. Аксакова <1849 г. из Ярославля> <...> нас поражает в нем та ненависть к древнему боярству и дворянству, которая совершенно не согласуется с домашним бытом его родителей, родных и всех друзей их и единомышленников. Что если бы И. С. Аксакову довелось прочесть следующие записи в *Дневнике* Погодина, касающиеся его родительского дома: “Обедать опять к Аксаковым. Гадко смотреть на наших помещиков, — совершенные свиньи, а эти еще добрые. Отыграл сто рублей. Смешон Николай Тимофеевич Аксаков своими предводительскими подвигами. Вечер у Аксаковых, где я напиваюсь злобою против невежества и барства” (Дневник 1849, под 20 сентября; 5 декабря)» [Барсуков. Кн. 10: 514].

жение в известной работе о Гоголе М. М. Бахтина: «Явление, принадлежащее малому времени, может быть чисто отрицательным, только ненавистным, но в большом времени оно амбивалентно и всегда любо, как причастное бытию. Из той плоскости, где их можно только уничтожить, только ненавидеть или только принимать, где их уже нет, все эти Плюшкины, Собакевичи и проч. перешли в плоскость, где они остаются вечно, где они показаны со всей причастностью вечно становящемуся, но не умирающему бытию» [Бахтин: 521].

Однако для постижения гоголевского замысла во всей полноте этого взгляда оказывается недостаточно, даже с точки зрения вечности. С самого начала писательской деятельности вера в народ сочеталась у Гоголя с трезвым пониманием падшести человеческой природы. Недооценка этого особого, религиозного характера критики Гоголем современного общества, к сожалению, не позволила К. С. Аксакову и его последователям постичь другую сторону замысла поэмы — как путь к возрождению и преображению «мертвых душ» современников. Понимание Гоголем и первыми критиками поэмы, Белинским и Аксаковым, жанра его главного произведения, еще раз свидетельствует о том, что в истории славянофильства и западничества Гоголь занимает исключительное место, поднимаясь не только над западниками, но и над близкими ему по взглядам славянофилами.

#### Список литературы

- <Аксаков И. С.> Примечание редактора / Письма В. Г. Белинского к К. С. Аксакову // Русь. 1881. 3 янв. № 8. С. 15.
- <Аксаков И. С.> Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Ч. 1. Т. 1. Письма 1839–1848 годов. 466 + 100 с. (а)
- <Аксаков И. С.> Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Ч. 1. Т. 2. Письма 1848–1851 годов. 410 + 57 с. (б)
- Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849 / Издание подготовила Т. Ф. Пирожкова. М., 1988. 704 с.
- Аксаков И. С. Письма к родным. 1849–1856 / Издание подготовила Т. Ф. Пирожкова. М., 1994. 654 с.
- Аксаков К. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души. М., 1842. 19 с. (а)
- Аксаков К. Объяснение // Москвитянин. 1842. № 9. С. 220–229. (б)
- Аксаков К. Москве. (Отрывок) // Москвитянин. 1845. № 2. С. 108.
- <Аксаков К. С.> Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. Рассуждение кандидата Московского Университета *Константина Аксакова*, писанное на степень магистра философского факультета первого отделения.

М.: В типографии Николая Степанова, 1846. (Печатать по определению Совета Московского Университета. Декабря 12 дня, 1845 года. Секретарь Совета Василий Спекторский.) 517 с. (а)

*Аксаков К. С.* > Семисотлетие Москвы // Московские Ведомости. 1846. 23 апр. № 49. С. 344–346. (б)

*Аксаков К. С.* О древнем быте у Славян вообще и у Русских в особенности (по поводу мнений о родовом быте) // Московский Сборник. М., 1852. Т. 1. С. 51–140.

*Аксаков К. С.* Обзорение современной Литературы // Русская Беседа. Год второй. Кн. 5. 1857. № 1. <Отд. 4>. С. 1–39.

*Аксаков К. С.* Голос из Москвы / *Аксаков К. С.* Голос из Москвы. (1848). Западная Европа и народность. <1849>. (Подготовка текстов и примечания В. А. Кошелева) // Литература и история. (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей XVIII–XX вв.). СПб., 1992. <Вып. 1>. С. 297–305.

*Аксаков К. С.* Эстетика и литературная критика / сост., подгот. текста, вступ. статья, коммент. В. А. Кошелева. М., 1995. 526 с.

*Аксаков К. С., Аксаков И. С.* Литературная критика / сост., вступ. статья и коммент. А. С. Курилова. М., 1982. 383 с.

<*Аксаков С. Т.*> История моего знакомства с Гоголем со включением всей переписки с 1832 по 1852 год. Сочинение С. Т. Аксакова. / под ред. Н. М. Павлова. М., 1890. 206 с.

*Аксаков С. Т.* История моего знакомства с Гоголем / Издание подготовили сотрудники музея «Абрамцево» АН СССР Е. П. Населенко и Е. А. Смирнова. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 296 с.

<*Аксакова В. С.*> Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. 1854–1855. Редакция и примечания кн<язя> Н. В. Голицына и П. Е. Щеголева. Приложение. СПб., 1913. 174 с.

*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1989. 683 с.

*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина: в 22 кн. СПб., 1888–1910. Кн. 6. 402 с.; Кн. 8. 630 с.; Кн. 10. 584 с.

<*Бартенев П. И.*> П. Б. Из бумаг Степана Петровича Шевырева // Русский Архив. 1878. № 5. С. 47–87.

<*Бартенев П. И.*> П. Б. Из бумаг Александра Николаевича Попова // Русский Архив. 1886. № 3. С. 320–362.

<*Бартенев П. И.*> Из воспоминаний княжны В. Н. Репниной. О Гоголе // Русский Архив. 1890. № 10. С. 227–232.

*Бартенев П. И.* Из писем И. С. Аксакова к А. О. Смирновой // Русский Архив. 1895. № 12. С. 423–480.

*Бахтин М. М.* Рабле и Гоголь. (Искусство слова и народная смеховая культура) // *Бахтин М. М.* Собр. соч.: В 7 т. М.: Языки славянских культур, 2010. Т. 4(2). С. 510–521.

*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. М.: Худож. лит., 1976–1982. Т. 1–9.

<*Белинский В. Г., Боткин В. П.*> Письма В. Г. Белинского и В. П. Боткина к А. А. Краевскому // Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1889 г. СПб., 1893.

Белинский в неизданной переписке современников (1834–1848) / Публикация и коммент. Н. Г. Розенблюма // Лит. наследство. Т. 56. М., 1850. С. 87–200.

Боратынский Е. А.. Материалы к его биографии. Из татевского архива Рачинских. Пг., 1916. 152 с.

*Ботникова А. Б.* Фарнгаген и русская литература // Вопросы литературы и фольклора. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1972. С. 96–114.

<*Булгарин Ф. В.*> Ф. Б. Журнальная всякая всячина // Северная Пчела. 1852. 19 апр. № 87. С. 345–347.

*Виноградов И. А.* Гоголь и Белинский: К истории полемики // Гоголезнавчі студії. Гоголеведческие студии. Ніжин, 1999. Вып. 4. С. 50–73.

*Виноградов И. А.* Гоголь — художник и мыслитель: Христианские основы миро-созерцания. М., 2000. 448 с. (а)

*Виноградов И. А.* Москва и Рим в творчестве Гоголя // Москва в русской и мировой литературе. Сборник статей. М., 2000. С. 128–152. (b)

*Виноградов И. А.* Исторические воззрения Гоголя и замысел поэмы «Мертвые души» // Гоголезнавчі студії. Гоголеведческие студии. Ніжин, 2001. Вып. 7. С. 77–93. (а)

*Виноградов И. А.* Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. М.: XXI век Согласие, 2001. 776 с. (b)

*Виноградов И. А.* Примечания // Неизданный Гоголь. Издание подготовил И. А. Виноградов. М., 2001. С. 431–590. (с)

*Виноградов И. А.* Поэма «Мертвые души»: проблемы истолкования // Гоголевский вестник. М., 2007. Вып. 1. С. 99–220.

*Виноградов И. А.* ...И по ту, и по эту сторону Диканьки // *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 1. С. 504–541. (а)

*Виноградов И. А.* «Дело, взятое из души...» // *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 5. С. 531–572. (b)

*Виноградов И. А.* К истории создания и публикации духовной прозы Гоголя // *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 6. С. 419–445. (с)

*Виноградов И. А.* Комментарий // *Гоголь Н. В.* Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и текстологический комментарий. Издание подготовил И. А. Виноградов. М., 2009. С. 387–665. (d)

*Виноградов И. А.* Воспоминания о Гоголе и письма к нему графа А. П. Толстого (из неопубликованных материалов П. А. Кулиша) // *Н. В. Гоголь и русская литература.* Девятое Гоголевские чтения. М., 2010. С. 75–82.

*Виноградов И. А.* Космополит или патриот? Концепция патриотизма в спорах с Гоголем и о Гоголе // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 2017. Т. 15. № 3. С. 35–69. (а)

*Виноградов И. А.* Блаженны миротворцы. От повести о двух Иванах к замыслу «Мертвых душ» // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2017. № 3. С. 7–18. (b)

*Виноградов И. А.* Блаженны миротворцы. От повести о двух Иванах к замыслу «Мертвых душ» (продолжение) // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2017. № 4. С. 51–67. (с)

*Виноградов И. А.* Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809–1852). Научное издание. В 7 т. Т. 5. 1845–1847. М.: ИМЛИ РАН, 2018. 928 с. (а)

*Виноградов И. А.* Значение Рима в наследии Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя в контексте европейских культур. Взгляд из Рима. Семнадцатые Гоголевские чтения. М.; Новосибирск, 2018. С. 41–51. (b)

Виноградов И. А. Феномен западничества в славянофильстве: взгляд Гоголя // Литературный факт. 2019. № 2 (12). С. 189–224. (а)

Виноградов И. А. Славянофил-государственник. Гоголь в движениях эпохи // Два века русской классики. 2019. Т. 1. № 2. С. 38–63. (б)

Виноградов И. А. Ю. Ф. Самарин как неизвестный адресат «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя. К 200-летию мыслителя-славянофила // Вестник славянских культур. 2019. Т. 54. С. 197–212. (с)

<Вяземский П. А., князь> В. «Ревизор». Комедия. Соч. Н. Гоголя. С.-Петербург. 1836 // Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. 1836. Т. 2. С. 285–309.

Вяземский П. А., князь. Языков. — Гоголь // Санкт-петербургские Ведомости. 1847. 24 апр. № 90. С. 417–422.

Вяземский П. А., князь. Несколько слов о народном просвещении в настоящее время // Полн. собр. соч. Князя П. А. Вяземского. <В 12 т.> Издание Графа С. Д. Шереметева. СПб., 1882. Т. 7. С. 16–27.

Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954.

Гиллельсон М. Неизвестные публицистические выступления П. А. Вяземского и И. В. Киреевского // Русская литература. 1966. № 4. С. 120–134.

Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969. 392 с.

Гиллельсон М. И. Переписка П. А. Вяземского и В. А. Жуковского (1842–1852) // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1979. Л., 1980. С. 34–75.

Глебов С. И. Гоголь в Нежинском лицее. (Из воспоминаний В. И. Любич-Романовича) // Исторический Вестник. 1902. Февраль. С. 548–560.

<Гоголь Н. В.> Соч. Н. В. Гоголя. 10-е изд. / Текст сверен с собственноручными рукописями автора и первоначальными изданиями его произведений Н. Тихонравовым. М., 1889. Т. 1. 712 с.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. <Л.>: АН СССР, 1937. Т. 2 / Тексты и коммент. подготовили И. Я. Айзеншток, В. В. Гиппиус, В. П. Петров, Н. Л. Степанов, Б. М. Эйхенбаум. 762 с.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. (15 кн.) / сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009–2010. Т. 1–17.

Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание: в 3 т. / Издание подготовил И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2011–2013.

Гоголь в неизданной переписке современников (1833–1853) / Публикация и комментарии Н. Г. Розенблюма // Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 533–774.

Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1 502 с.

<Голохвастов Д. П.> Д. Голос в защиту Русского языка. (Статья, помещенная в № 11-м Журнала: Москвитянин, 1845). М.: В Университетской типографии, 1845. 90 с.

Г<реч Н. И.> Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Москва. 1842. В типографии Университетской, в большую 8-ю д. л. 475 стр. // Северная Пчела. 1842. 22 июня, № 137. С. 546–547.

<Григорьев А. А.> Петербургский сборник. С. Петербург, 1846, в большую 8 // Финский Вестник. 1846. Т. 9. Май. Отд. V. С. 21–34.

Грот Я. К. Сергей Тимофеевич Аксаков в заботах о Гоголе // Русская Старина. 1887. № 1. С. 249–250.

<Грот Я. К., Плетнев П. А.> Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. 968 с.

Дмитриев М. О натуральной школе и народности // Москвитянин. 1848. № 9. С. 15–41.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 22. 408 с.; Т. 29. Кн. 1. 576 с.

Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. (Критика европейской культуры у русских мыслителей). Париж, <1926>. 292 с.

Зеньковский В., проф., прот. Н. В. Гоголь. Париж, <1961>. 261 с.

Игнатий Брянчанинов, святитель. Письма. М., 1993. Т. 7. 480 с.

Император Николай Первый. Николаевская эпоха. Слово Русского Царя. Апология Рыцаря. Незабвенный. Изд. подг. М. Д. Филин. М., 2002. 752 с.

<Катков М. Н.> Письма М. Н. Каткова к А. Н. Попову. 1843–1857 // Русский Архив. 1888. № 8. С. 480–499.

К<иреевский И. В.> Библиография // Москвитянин. 1845. № 1. <Отд. 10>. С. 1–5.

Кожин В. В. К методологии истории русской литературы (о реализме 30-х годов XIX века) // Вопросы литературы. 1968. № 5. С. 73–80.

Конишина Е. Н. Письма К. С. Аксакова к В. Г. Белинскому // Труды Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1939. Сб. 4. С. 202–207.

Кошелев В. А. «Мертвые души» Н. В. Гоголя в трактовке ранних славянофилов // Русская литература. 1976. № 3. С. 82–100.

Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов. 1840–1850-е годы. Л., 1984. 196 с.

Кошелев В. А. К. С. Аксаков и западные революции. Публицистические статьи 1848 г. // Литература и история. (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей XVIII–XX вв.). СПб., 1992. <Вып. 1>. С. 306–312.

Кошелев В. А. Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000. 512 с.

Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., 1976. 288 с.

Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Издание подготовил И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. 704 с.

Курилов А. С. В. Г. Белинский в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2012. 152 с.

Мани Ю. В. В поисках живой души. «Мертвые души»: писатель — критика — читатель. М., 1984. 416 с.

<Масальский К. П.> Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя // Сын Отечества. 1842. № 6. Отд. 6. С. 1–30.

Материалы по истории русской литературы и культуры. И. С. Аксаков в Ярославле. По неизданным письмам к нему С. Т. Аксакова и его семьи. Сообщил А. А. Дунин // Русская Мысль. 1915. № 8. С. 107–131.

Неверов Я. Обзорение русских газет и журналов за первую половину 1835 года // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1836. № 8. С. 428–440.

Неизданные письма к Гоголю / Публикация и комментарии Л. Ланского <Л. Р. Каплана> // Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 797–836.



Некрасов И. С. Значение Гоголя в истории русской литературы // Некрасов И. С. О значении Лермонтова и Гоголя в истории русской литературы. Две публичные лекции. Одесса. 1887. С. 19–38.

Панаев И. И. Литературные воспоминания. <Л.>, 1950. 472 с.

<Плетнев П. А.> Разбор новых книг. Новые сочинения // Современник. 1842. Т. 28. № 4. С. 82.

<Погодин М. П.> М. П. <Примечание к анонимной статье «Путевые впечатления»> // Москвитянин. 1843. № 7. С. 178.

Полевой Н. Похождения Чичикова, или мертвые души. Поэма Н. Гоголя // Русский Вестник. 1842. №5, №6. Май и июнь. Отд. 3. С. 33–57.

Полевой П. Н. Век нынешний и век минувший. (Из очерков будущей истории литературы) // Исторический Вестник. 1887. № 4. С. 169–186.

Полн. собр. законов Российской Империи. Собр. 2-е. СПб., 1838. Т. 12. Отд. 1. 822 с.

Попов В. П. Отношение Гоголя к брошюре К. Аксакова о «Мертвых душах» // Эстетические взгляды писателя и художественное творчество. Краснодар, 1981. С. 47–54.

Попов Нил. Письма Юрия Федоровича Самарина. (1840–1845) // Русский Архив. 1880. Кн. 2. № 5–8. С. 241–332.

Похождения Чичикова, или мертвые души. Поэма Н. Гоголя // Литературная Газета. 1842. 14 июня. № 25. С. 470–476.

Путевые впечатления // Москвитянин. 1843. № 7. С. 178–202.

Розен <Е. Ф.>, барон. Поэма Н. В. Гоголя об Одиссее // Северная Пчела. 1846. 14 авг. № 181. С. 722–723.

Розенблюм Н. Белинский в неизданной переписке современников // Русская литература. 1962. № 1. С. 195–211.

Самарин Ю. Ф. Соч.: <в 12 т>. М., 1911. Т. 12: Письма, 1840–1853. 478 с.

<Сенковский О. И.> Похождения Чичикова, или Мертвые Души. Поэма Н. Гоголя // Библиотека для Чтения. 1842. Т. 53. Ч. 2. № 8. Отд. 6. С. 24–54.

Симонова И. А. Федор Чижов. М.: Молодая гвардия, 2002. 335 с.

<Соллогуб В. А., граф>. Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба. (Читано в публичном заседании Общества Любителей Российской Словесности при Императорском Московском университете 28 марта 1865 г.) // Русский Архив. 1865. № 5, № 6. Стб. 735–772.

Степанов Н. Л. Гоголь // История русской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1955. Т. 7. С. 129–260.

Студитский А. Русская словесность в 1845 году // Москвитянин. 1846. № 1. С. 225–262.

<Феодор (Бухарев А. М.), архимандрит>. Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1861. 262 с.

Феодор (Бухарев А. М.), архимандрит. О героях поэмы «Мертвые души» // Н. В. Гоголь и Православие. Сборник статей о творчестве Н. В. Гоголя. М.: К единству! 2004. С. 205–230.

<Фридлиндер Г. М.> Примечания // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. <Л.>: АН СССР, 1952. Т. 12 / Тексты и коммент. подготовили Р. Б. Заборова, А. Н. Михайлова, А. А. Назаревский, Г. М. Фридлиндер. С. 583–665.

Хомяков А. С. Письмо в Петербург о выставке // Москвитянин. 1843. № 7. С. 211–222.

Хомяков А. С. Опера Глинки Жизнь за Царя // Москвитянин. 1844. № 5. С. 98–103.

Хомяков А. С. Мнение русских об иностранцах. Письмо к приятелю // Московский Сборник. 1846. С. 145–198.

Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: <в 8 т.>. М., 1900. Т. 8. 480 с.

Шевырев С. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Статья первая // Москвитянин. 1842. № 7. С. 207–228. (a)

Шевырев С. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Статья вторая // Москвитянин. 1842. № 8. С. 346–376. (b)

Шевырев С. Критический перечень произведений Русской Словесности за 1842 год // Москвитянин. 1843. № 1. С. 274–298.

Шевырев С. Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя // Москвитянин. 1848. № 1. <Отд. 2>. С. 1–29.

Шевырев С. Теория смешного, с применением к Русской комедии // Москвитянин. 1851. № 1. С. 106–120.

Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1898. Т. 4. 978 с.

## References

Aksakov I. S. *Primechanie redaktora. Pis'ma V. G. Belinskogo k K. S. Aksakovu* [Editor's Note. Letters by V. G. Belinsky to K. S. Aksakov]. *Rus'*, 1881, January 3, p. 15. (In Russ.)

Aksakov I. S. *Ivan Sergeevich Aksakov v ego pis'makh* [Ivan Sergeevich Aksakov in his letters]. Moscow, 1888, part 1, vol. 1, letters of 1839–1848. 466 + 100 p. (a) (In Russ.)

Aksakov I. S. *Ivan Sergeevich Aksakov v ego pis'makh* [Ivan Sergeevich Aksakov in his letters]. Moscow, 1888, part 1, vol. 2, letters of 1848–1851. 410 + 57 p. (b) (In Russ.)

Aksakov I. S. *Pis'ma k rodnym. 1844–1849* [Letters to relatives. 1844–1849], the publication was prepared by T. F. Pirozhkova. Moscow, 1988. 704 p. (In Russ.)

Aksakov I. S. *Pis'ma k rodnym. 1849–1856* [Letters to relatives. 1849–1856], the publication was prepared by T. F. Pirozhkova. Moscow, 1994. 654 p. (In Russ.)

Aksakov K. *Neskol'ko slov o poeme Gogolia: Pokhozhdeniia Chichikova ili Mertvyie dushi* [A few words about Gogol's poem: Adventures of Chichikov or Dead Souls]. Moscow, 1842. 19 p. (a) (In Russ.)

Aksakov K. *Ob'iasnenie* [Explanation]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1842, № 9, pp. 220–229. (b) (In Russ.)

Aksakov K. *Moskve. (Otryvok)* [Moscow. (Excerpt)]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1845, № 2, p. 108. (In Russ.)

Aksakov K. S. *Lomonosov v istorii russkoi literatury i russkogo iazyka. Rassuzhdenie kandidata Moskovskogo Universiteta Konstantina Aksakova, pisannoe na stepen' magistra filosofskogo fakul'teta pervogo otdeleniia* [Lomonosov in the history of Russian literature and the Russian language. The reasoning of the candidate of Moscow University Konstantin Aksakov, written for a master's degree in philosophy at the first department]. Moscow: In the printing house of Nikolai Stepanov Publ., 1846. 517 p. (a) (In Russ.)

Aksakov K. S. *Semisotletie Moskvyy* [The Seventieth Anniversary of Moscow]. *Moskovskie Vedomosti* [Moscow Gazette], 1846, April 23, № 49, pp. 344–346. (b) (In Russ.)

Aksakov K. S. *O drevnem byte u Slavian voobshche i u Russkikh v osobennosti (po povodu mnenii o rodovom byte)* [On the ancient life among the Slavs in general and among

the Russians in particular [regarding opinions about the tribal life]]. *Moskovskii Sbornik* [Moscow Collection], Moscow, 1852, vol. 1, pp. 51–140. (In Russ.)

Aksakov K. S. *Obozrenie sovremennoi Literatury* [Review of modern Literature]. *Russkaia Beseda* [Russian Conversation, second year, book 5, 1857, № 1, department 4, pp. 1–39. (In Russ.)

Aksakov K. S. *Golos iz Moskvy, Aksakov K. S. Golos iz Moskvy. (1848). Zapadnaia Evropa i narodnost'. 1849* [Voice from Moscow, Aksakov K. S. Voice from Moscow. (1848). Western Europe and nationality. 1849], preparation of texts and notes by V. A. Koshelev. *Literatura i istoriia. (Istoricheskii protsess v tvorcheskom soznanii russkikh pisatelei XVIII–XX vv.)* [Literature and History. (The historical process in the creative mind of Russian writers of the 18th — 20th centuries)]. St. Petersburg, 1992, issue 1, pp. 297–305. (In Russ.)

Aksakov K. S. *Estetika i literaturnaia kritika* [Aesthetics and literary criticism], compilation, preparation of the text, introductory article, commentary by V. A. Koshelev. Moscow, 1995. 526 p. (In Russ.)

Aksakov K. S., Aksakov I. S. *Literaturnaia kritika* [Literary criticism], compilation, introductory article and commentary by A. S. Kurilov. Moscow, 1982. 383 p. (In Russ.)

Aksakov S. T. *Istoriia moego znakomstva s Gogolem so vklucheniem vsei perepiski s 1832 po 1852 god. Sochinenie S. T. Aksakova* [The story of my acquaintance with Gogol with the inclusion of all correspondence from 1832 to 1852. Composition by S. T. Aksakov], edited by N. M. Pavlov. Moscow, 1890. 206 p. (In Russ.)

Aksakov S. T. *Istoriia moego znakomstva s Gogolem* [The story of my acquaintance with Gogol], the publication was prepared by the staff of the Abramtsevo Museum of the USSR Academy of Sciences E. P. Naselenko and E. A. Smirnova. Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR Publ., 1960. 296 p. (In Russ.)

Aksakova V. S. *Dnevnik Very Sergeevny Aksakovoi. 1854–1855* [Diary of Vera Sergeevna Aksakova. 1854–1855], editors and notes of Prince N. V. Golitsyn and P. E. Shchegolev. Application. St. Petersburg, 1913. 174 p. (In Russ.)

Annenkov P. V. *Literaturnye vospominaniia* [Literary Memoirs]. Moscow, 1989. 683 p. (In Russ.)

Barsukov N. *Zhizn' i trudy M. P. Pogodina: v 22 kn.* [Life and works of M. P. Pogodin: in 22 books]. St. Petersburg, 1888–1910, book 6. 402 p., book 8. 630 p., book 10. 584 p. (In Russ.)

Bartenev P. I. *Iz bumag Stepana Petrovicha Shevyreva* [From the papers of Stepan Petrovich Shevyrev]. *Russkii Arkhiv* [Russian Archive], 1878, № 5, pp. 47–87. (In Russ.)

Bartenev P. I. *Iz bumag Aleksandra Nikolaevicha Popova* [From the papers of Alexander Nikolaevich Popov]. *Russkii Arkhiv* [Russian Archive], 1886, № 3, pp. 320–362. (In Russ.)

Bartenev P. I. *Iz vospominanii kniazheny V. N. Reprnoi. O Gogole* [From the memoirs of Princess V. N. Reprnina. About Gogol]. *Russkii Arkhiv* [Russian Archive], 1890, № 10, pp. 227–232. (In Russ.)

Bartenev P. I. *Iz pisem I. S. Aksakova k A. O. Smirnovoi* [From the letters of I. S. Aksakov to A. O. Smirnova]. *Russkii Arkhiv* [Russian Archive], 1895, № 12, pp. 423–480. (In Russ.)

Bakhtin M. M. *Rable i Gogol'. (Iskusstvo slova i narodnaia smekhovaia kul'tura)* [Rabelais and Gogol. (The art of words and folk laughter culture)]. Bakhtin M. M. *Sobranie sochinenii: V 7 tomakh* [Collected Works: In 7 volumes]. Moscow, Languages of Slavic Cultures Publ., 2010, vol. 4 (2), pp. 510–521. (In Russ.)

Belinskii V. G. *Sobr. soch.: V 9 t.* [Collected Works: In 9 Volumes]. Moscow: Fiction Publ., 1976–1982, vol. 1–9. (In Russ.)

Belinskii V. G., Botkin V. P. *Pis'ma V. G. Belinskogo i V. P. Botkina k A. A. Kraevskomu* [Letters from V. G. Belinsky and V. P. Botkin to A. A. Kraevsky]. *Otchet Imp. Publichnoi biblioteki za 1889 g.* [Report of the Imperial Public Library for 1889]. St. Petersburg, 1893, appendices, pp. 1–109. (In Russ.)

*Belinskii v neizdannoi perepiske sovremennikov (1834–1848)* [Belinsky in an unpublished correspondence of contemporaries (1834–1848)], publication and comments by N. G. Rosenblum. *Lit. nasledstvo* [Literary heritage], vol. 56. Moscow, 1850, pp. 87–200. (In Russ.)

E. A. Boratynskii. *Materialy k ego biografii. Iz tatevskogo arkhiva Rachinskikh* [E. A. Boratynsky. Materials for his biography. From the Tatev archive of the Rachinsky]. Petrograd, 1916. 152 p. (In Russ.)

Botnikova A. B. *Farnngagen i russkaia literatura* [Farnngagen and Russian literature]. *Voprosy literatury i fol'klora* [Questions of literature and folklore]. Voronezh: Voronezh University Press Publ., 1972, pp. 96–114. (In Russ.)

Bulgarin F. V. *Zhurnal'naia vsiakaia vsiachina* [Journal of all sorts of things]. *Severnaia Pchela* [Northern Bee], 1852, April 19, № 87, pp. 345–347. (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Gogol' i Belinskii: K istorii polemiki* [Gogol and Belinsky: On the history of controversy]. *Gogoleznavchi studii. Gogolevedcheskie studii* [Gogoleznavchi Studii. Gogological studies studios]. Nezhyn, 1999, Issue 4, pp. 50–73. (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Gogol' — khudozhnik i myslitel': Khristianskie osnovy mirosozertsaniia* [Gogol — artist and thinker: Christian foundations of the worldview]. Moscow, 2000. 448 p. (a) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Moskva i Rim v tvorchestve Gogolia* [Moscow and Rome in the works of Gogol]. *Moskva v russkoi i mirovoi literature. Sbornik statei* [Moscow in Russian and world literature. Digest of articles]. Moscow, 2000, pp. 128–152. (b) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Istoricheskie vozzreniia Gogolia i zamysel poemy «Mertvye dushi»* [Historical views of Gogol and the concept of the poem “Dead Souls”]. *Gogoleznavchi studii. Gogolevedcheskie studii* [Gogoleznavchi studii. Gogological studies studios]. Nezhyn, 2001, Issue 7, pp. 77–93. (a) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Aleksandr Ivanov v pis'makh, dokumentakh, vospominaniakh* [Alexander Ivanov in letters, documents, memoirs]. Moscow: XXI Century Concord, 2001 Publ. 776 p. (b) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Primechaniia* [Notes]. *Neizdannyi Gogol'* [Unreleased Gogol], the publication was prepared by I. A. Vinogradov. Moscow, 2001, pp. 431–590. (c) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Poema «Mertvye dushi»: problemy istolkovaniia* [Poem “Dead Souls”: interpretation problems]. *Gogolevskii vestnik* [Gogolevsky Bulletin]. Moscow, 2007, Issue 1, pp. 99–220. (In Russ.)

Vinogradov I. A. *...I po tu, i po etu storonu Dikan'ki* [...On both sides of this Dikanka]. *Gogol' N. V. Poln. sobr. soch. i pisem: v 17 t.* [Complete Works and Letters: in 17 vols]. Moscow; Kiev, 2009, vol. 1, pp. 504–541. (a) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *«Delo, vziatoe iz dushi...»* [“A case taken from the soul...”]. *Gogol' N. V. Poln. sobr. soch. i pisem: v 17 t.* [Complete works and letters: in 17 vols]. Moscow; Kiev, 2009, vol. 5, pp. 531–572. (b) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *K istorii sozdaniia i publikatsii dukhovnoi prozy Gogolia* [On the history of the creation and publication of Gogol's spiritual prose]. *Gogol' N. V. Poln.*

*sobr. soch.*: v 17 t. [Complete Works and Letters: in 17 vols]. Moscow; Kiev, 2009, vol. 6, pp. 419–445. (c) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Kommentarii* [Commentary]. Gogol' N. V. *Taras Bul'ba. Avtografy, prizhiznennyye izdaniia. Istoriko-literaturnyi i tekhnologicheskii kommentarii* [Taras Bulba. Autographs, lifetime editions. Historical and literary and textological commentary], the publication was prepared by I. A. Vinogradov. Moscow, 2009, pp. 387–665. (d) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Vospominaniia o Gogole i pis'ma k nemu grafa A. P. Tolstogo (iz neopublikovannykh materialov P. A. Kulisha)* [Memoirs of Gogol and letters to him by Count A. P. Tolstoy (from unpublished materials by P. A. Kulish)]. *N. V. Gogol' i russkaia literatura. Deviatye Gogolevskie chteniia* [N. V. Gogol and Russian literature. Ninth Gogol Readings]. Moscow, 2010, pp. 75–82. (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Kosmopolit ili patriot? Kontseptsii patriotizma v sporakh s Gogolem i o Gogole* [Cosmopolitan or patriot? The concept of patriotism in disputes with Gogol and about Gogol]. *Problemy istoricheskoi poetiki* [Problems of historical poetics]. Petrozavodsk, 2017, vol. 15, № 3, pp. 35–69. (a) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Blazhenny mirotvortsy. Ot povesti o dvukh Ivanakh k zamyslu «Mertvykh dush»* [Blessed are the peacekeepers. From the story of two Ivans to the concept of “Dead Souls”]. *Vestnik Moskovskogo universiteta* [Moscow University Herald]. Series 9, Philology, 2017, № 3, pp. 7–18. (b) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Blazhenny mirotvortsy. Ot povesti o dvukh Ivanakh k zamyslu «Mertvykh dush» (prodolzhenie)* [Blessed are the peacekeepers. From the story of two Ivans to the concept of “Dead Souls” (continued)]. *Vestnik Moskovskogo universiteta* [Moscow University Herald]. Series 9, Philology, 2017, № 4, pp. 51–67. (c) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Letopis' zhizni i tvorchestva N. V. Gogolia (1809–1852). Nauchnoe izdanie* [Chronicle of the life and work of N. V. Gogol (1809–1852). Scientific publication]. In 7 vols, vol. 5. 1845–1847. Moscow: IMLI RAS, 2018. 928 p. (a) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Znachenie Rima v nasledii Gogolia* [The value of Rome in the heritage of Gogol]. *Tvorchestvo N. V. Gogolia v kontekste evropeiskikh kul'tur. Vzglad iz Rima. Semnadsatye Gogolevskie chteniia* [Creativity of N. V. Gogol in the context of European cultures. A look from Rome. Seventeenth Gogol Readings]. Moscow, Novosibirsk, 2018, pp. 41–51. (b) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Fenomen zapadnichestva v slavianofil'stve: vzgliad Gogolia* [The phenomenon of Westernism in Slavophilism: a view of Gogol]. *Literaturnyi fakt* [Literary Fact], 2019, № 2 (12), pp. 189–224. (a) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Slavianofil-gosudarstvennik. Gogol' v dvizheniiakh epokhi* [Slavophile-statesman. Gogol in the movements of the era]. *Dva veka russkoi klassiki* [Two Centuries of Russian Classics], 2019, vol. 1, № 2, pp. 38–63. (b) (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Iu. F. Samarin kak neizvestnyi adresat «Vybrannykh mest iz perepiski s druz'iami» N. V. Gogolia. K 200-letiiu myslitel'ia-slavianofila* [Yu. F. Samarin as an unknown recipient of N. V. Gogol's “Selected Places from Correspondence with Friends”. On the 200th anniversary of the Slavophil thinker]. *Vestnik slavianskikh kul'tur* [Bulletin of Slavic cultures], 2019, vol. 54, pp. 197–212. (c) (In Russ.)

Viazemskii P. A., Prince. «Revizor». *Komedii. Soch. N. Gogolia. S.-Peterburg. 1836* [“The Government Inspector”. Comedy. Op. N. Gogol. St. Petersburg. 1836]. *Sovremennik, litteraturnyi zhurnal, izdavaemyi Aleksandrom Pushkinym* [Contemporary, literary magazine published by Alexander Pushkin], 1836, vol. 2, pp. 285–309. (In Russ.)

Viazemskii P. A., Prince. *Iazykov. — Gogol'. Sanktpeterburgskie Vedomosti* [St. Petersburg Vedomosti], 1847, April 24, № 90, pp. 417–422. (In Russ.)

Viazemskii P. A., Prince. *Neskol'ko slov o narodnom prosveshchenii v nastoiashchee vremia* [A few words about public education at present]. *Poln. sobr. soch. Kniazia P. A. Viazemskogo. V 12 t.* [Complete Works of Prince P. A. Vyazemsky in 12 vols]. Edition of the graph S. D. Sheremetev. St. Petersburg, 1882, vol. 7, pp. 16–27. (In Russ.)

Gertsen A. I. *Sobr. soch.: V 30 t.* [Collected Works in 30 vols]. Moscow, 1954, vol. 2. 516 p., 1956, vol. 7, 468 p.

Gillel'son M. *Neizvestnye publitsisticheskie vystupleniia P. A. Viazemskogo i I. V. Kireevskogo* [Unknown publicistic speeches by P. A. Vyazemsky and I. V. Kireevsky]. *Russkaia literatura* [Russian Literature], 1966, № 4, pp. 120–134. (In Russ.)

Gillel'son M. I. *P. A. Viazemskii. Zhizn' i tvorchestvo* [P. A. Vyazemsky. Life and art]. Leningrad: Nauka Publ., 1969. 393 p. (In Russ.)

Gillel'son M. I. *Perepiska P. A. Viazemskogo i V. A. Zhukovskogo (1842–1852)* [Correspondence of P. A. Vyazemsky and V. A. Zhukovsky (1842–1852)]. *Pamiatniki kul'tury. Novye otkrytiia. Ezhгодnik. 1979* [Monuments of Culture. New discoveries. Yearbook. 1979]. Leningrad, 1980, pp. 34–75. (In Russ.)

Glebov S. I. *Gogol' v Nezhinskom litsee. (Iz vospominanii V. I. Liubich-Romanovicha)* [Gogol at the Nizhyn Lyceum. (From the memoirs of V. I. Lyubich-Romanovich)]. *Istoricheskii Vestnik* [Historical Bulletin], 1902, February, pp. 548–560. (In Russ.)

Gogol' N. V. *Soch. N. V. Gogolia. 10-e izd.* [Works of N. V. Gogol. 10th edition], the text is verified with the author's own manuscripts and the initial editions of his works by N. Tikhonravov. Moscow, 1889, vol. 1. 712 p. (In Russ.)

Gogol' N. V. *Poln. sobr. soch.: v 14 t.* [Complete Works in 14 vols]. Leningrad: USSR Academy of Sciences Publ., 1937, vol. 2, texts and comments were prepared by I. Ya. Aizenshtok, V. V. Gippius, V. P. Petrov, N. L. Stepanov, B. M. Eichenbaum. 762 p. (In Russ.)

Gogol' N. V. *Poln. sobr. soch. i pisem: v 17 t. (15 kn.)* [Complete Works and Letters in 17 vols. (15 books)], compilation, preparation of texts and comments by I. A. Vinogradov, V. A. Voropaev. Moscow; Kiev: Publishing House of the Moscow Patriarchate Publ., 2009–2010, vol. 1–17. (In Russ.)

*Gogol' v vospominaniakh, dnevnikakh, perepiske sovremennikov. Polnyi sistematicheskii svod dokumental'nykh svidetel'stv. Nauchno-kriticheskoe izdanie: v 3 t.* [Gogol in memoirs, diaries, correspondence of contemporaries. A complete systematic set of documentary evidence. Scientific critical edition. In 3 volumes], edition prepared by I. A. Vinogradov. Moscow: IMLI RAS Publ., 2011–2013, vol. 1–3. (In Russ.)

*Gogol' v neizdannoi perepiske sovremennikov (1833–1853)* [Gogol in an unpublished correspondence of contemporaries (1833–1853)], publication and comments by N. G. Rosenblum. *Lit. nasledstvo* [Literary heritage], vol. 58. Moscow, 1952, pp. 533–774. (In Russ.)

*N. V. Gogol'. Materialy i issledovaniia* [N. V. Gogol. Materials and research]. Moscow; Leningrad, 1936, vol. 1. 502 p. (In Russ.)

Golokhvastov D. P. *Golos v zashchitu Russkogo iazyka. (Stat'ia, pomeshchennaia v № 11-m Zhurnala Moskvitianin, 1845)* [Voice in defense of the Russian language. (Article in Journal № 11: Moskvitianin, 1845)]. Moscow: At the University Printing House Publ., 1845. 90 p. (In Russ.)

Grech N. I. *Pokhozhdeniia Chichikova, ili Mertvyie dushi. Poema N. Gogolia. Moskva. 1842. V tipografii Universitetskoi, v bol'shuiu 8 iu d. l. 475 str.* [Adventures of Chichikov, or Dead souls. Poem by N. Gogol. Moscow. 1842. At the Universitetskaya printing house, in a large 8th share of the sheet. 475 pp.] *Severnaia Pchela* [North Bee], 1842, June 22, № 137, pp. 546–547. (In Russ.)

Grigor'ev A. A. *Peterburgskii sbornik. S. Peterburg, 1846, v bol'shuiu 8* [Petersburg collection. St. Petersburg, 1846, in the Big Eight]. *Finskii Vestnik* [Finnish Herald], 1846, vol. 9, May, Division V, pp. 21–34. (In Russ.)

Grot Ia. K. *Sergei Timofeevich Aksakov v zabotakh o Gogole* [Sergey Timofeevich Aksakov in the care of Gogol]. *Russkaia Starina* [Russian Starina], 1887, № 1, pp. 249–250. (In Russ.)

Grot Ia. K., Pletnev P. A. *Perepiska Ia. K. Grota s P. A. Pletnevym* [Correspondence of Y. K. Grot with P. A. Pletnev]. St. Petersburg, 1896, vol. 2. 968 p. (In Russ.)

Dmitriev M. *O natural'noi shkole i narodnosti* [About the natural school and nationality]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1848, № 9, pp. 15–41. (In Russ.)

Dostoevskii F. M. *Poln. sobr. soch.: v 30 t.* [Complete Works in 30 vols]. Leningrad: Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)

Zen'kovskii V. V. *Russkie mysliteli i Evropa. (Kritika evropeiskoi kul'tury u russkikh myslitelei)* [Russian thinkers and Europe. (Criticism of European culture among Russian thinkers)]. Paris, 1926. 292 p. (In Russ.)

Zen'kovskii V., professor, protopresbyter. *N. V. Gogol*. Paris, 1961. 261 p. (In Russ.)

Ignatii Brianchaninov, saint. *Pis'ma* [Letters]. Moscow, 1993, vol. 7. 480 p. (In Russ.)

*Imperator Nikolai Pervyi. Nikolaevskaia epokha. Slovo Russkogo Tsaria. Apologiia Rytsaria. Nezabvennyi* [Emperor Nicholas the First. Nikolaev era. The word of the Russian Tsar. Apology of the Knight. Unforgettable], the publication was prepared by M. D. Filin. Moscow, 2002. 752 p. (In Russ.)

Katkov M. N. *Pis'ma M. N. Katkova k A. N. Popovu. 1843–1857* [Letters of M. N. Katkov to A. N. Popov. 1843–1857]. *Russkii Arkhiv* [Russian Archive], 1888, № 8, pp. 480–499. (In Russ.)

Kireevskii I. V. *Bibliografiia* [Bibliography]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1845, № 1, Division 10, pp. 1–5. (In Russ.)

Kozhinov V. V. *K metodologii istorii russkoi literatury (o realizme 30-kh godov XIX veka)* [On the methodology of the history of Russian literature (on realism of the 30s of the XIX century)]. *Voprosy literatury* [Questions of Literature], 1968, № 5, pp. 73–80. (In Russ.)

Konshina E. N. *Pis'ma K. S. Aksakova k V. G. Belinskomu* [Letters of K. S. Aksakov to V. G. Belinsky]. *Trudy Vsesoiuznoi biblioteki im. V. I. Lenina* [Transactions of the V. I. Lenin All-Union Library]. Moscow, 1939, collection 4, pp. 202–207. (In Russ.)

Koshelev V. A. «*Mertvyie dushi*» N. V. Gogolia v traktovke rannikh slavianofilov [“Dead Souls” by N. V. Gogol in the interpretation of the early Slavophiles]. *Russkaia literatura* [Russian Literature], 1976, № 3, pp. 82–100. (In Russ.)

Koshelev V. A. *Esteticheskie i literaturnye vozzreniia russkikh slavianofilov. 1840–1850-e gody* [Aesthetic and literary views of Russian Slavophiles. 1840–1850s]. Leningrad, 1984. 196 p. (In Russ.)

Koshelev V. A. *K. S. Aksakov i zapadnye revoliutsii. Publitsisticheskie stat'i 1848 g.* [K. S. Aksakov and Western Revolutions. Journalistic articles of 1848]. *Literatura i istoriia*.

(*Istoricheskii protsess v tvorcheskoi soznanii russkikh pisatelei XVIII–XX vv.*) [Literature and history. (The historical process in the creative mind of Russian writers of the 18th — 20th centuries)]. St. Petersburg, 1992, issue 1, pp. 306–312. (In Russ.)

Koshelev V. A. *Aleksei Stepanovich Khomiakov, zhizneopisanie v dokumentakh, v rassuzhdeniiakh i razyskaniiaakh* [Aleksii Stepanovich Khomyakov, biography in documents, in reasonings and searches]. Moscow, 2000. 512 p. (In Russ.)

Kuleshov V. I. *Slavianofily i russkaia literatura* [Slavophiles and Russian literature]. Moscow, 1976. 288 p. (In Russ.)

Kulich P. A. *Zapiski o zhizni Nikolaia Vasil'evicha Gogolia, sostavlennye iz vospominanii ego druzei i znakomykh i iz ego sobstvennykh pisem* [Notes on the life of Nikolai Vasilyevich Gogol, compiled from the memoirs of his friends and acquaintances and from his own letters], the publication was prepared by I. A. Vinogradov. Moscow: IMLI RAS Publ., 2003. 704 p. (In Russ.)

Kurilov A. S. V. G. *Belinskii v zhizni i tvorchestve* [V. G. Belinsky in life and work]. Moscow: Russian Word Publ., 2012. 152 p. (In Russ.)

Mann Iu. V. *V poiskakh zhivoi dushi. «Mertvye dushi»: pisatel' — kritika — chitatel'* [In search of a living soul. Dead Souls: writer — criticism — reader]. Moscow, 1984. 416 p. (In Russ.)

Masaľskii K. P. *Pokhozheniia Chichikova, ili Mertvye dushi. Poema N. Gogolia* [Adventures of Chichikov, or Dead Souls. The poem of N. Gogol]. *Syn Otechestva* [Son of the Fatherland], 1842, № 6, Division 6, pp. 1–30. (In Russ.)

*Materialy po istorii russkoi literatury i kul'tury. I. S. Aksakov v Iaroslavle. Po neizdannym pis'mam k nemu S. T. Aksakova i ego sem'i* [Materials on the history of Russian literature and culture. I. S. Aksakov in Yaroslavl. According to unreleased letters to him S. T. Aksakova and his family], reported by A. A. Dunin. *Russkaia Mysl'* [Russian Thought], 1915, № 8, pp. 107–131. (In Russ.)

Neverov Ia. *Obozrenie russkikh gazet i zhurnalov za pervuiu polovinu 1835 goda* [Review of Russian newspapers and magazines for the first half of 1835]. *Zhurnal Ministerstva Narodnogo Prosveshcheniia* [Journal of the Ministry of Public Education], 1836, № 8, pp. 428–440. (In Russ.)

*Neizdannye pis'ma k Gogoliu* [Unpublished Letters to Gogol], publication and comments by L. Lansky. *Lit. nasledstvo* [Literary heritage], vol. 58. Moscow, 1952, pp. 797–836. (In Russ.)

Nekrasov I. S. *Znachenie Gogolia v istorii russkoi literatury* [The value of Gogol in the history of Russian literature]. Nekrasov I. S. *O znachenii Lermontova i Gogolia v istorii russkoi literatury. Dve publichnye lektsii* [On the value of Lermontov and Gogol in the history of Russian literature. Two public lectures]. Odessa. 1887, pp. 19–38. (In Russ.)

Panaev I. I. *Literaturnye vospominaniia* [Literary Memoirs]. Leningrad, 1950. 472 p. (In Russ.)

Pletnev P. A. *Razbor novykh knig. Novye sochineniia* [Analysis of new books. New Works]. *Sovremennik* [Sovremennik], 1842, vol. 28, № 4, pp. 82. (In Russ.)

Pogodin M. P. *Primechanie k anonimnoi stat'e «Putevyie vpechatleniia»* [Note to the anonymous article “Traveling impressions”]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1843, № 7, pp. 178. (In Russ.)



Polevoi N. *Pokhozheniia Chichikova, ili mertvye dushi. Poema N. Gogolia* [Adventures of Chichikov, or dead souls. The poem of N. Gogol]. *Russkii Vestnik* [Russian Bulletin], 1842, № 5 and 6, May and June, Division 3, pp. 33–57. (In Russ.)

Polevoi P. N. *Vek nyneshnii i vek minuvshii. (Iz ocherkov budushchei istorii literatury)* [Century present and past century. (From essays on the future history of literature)]. *Istoricheskii Vestnik* [Historical Herald], 1887, № 4, pp. 169–186. (In Russ.)

*Poln. sobr. zakonov Rossiiskoi Imperii. Sobr. 2-e* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2]. St. Petersburg, 1838, vol. 12, department 1. 822 p. (In Russ.)

Popov V. P. *Otnoshenie Gogolia k broshiu K. Aksakova o «Mertvykh dushakh»* [Attitude of Gogol to K. Aksakov's pamphlet on "Dead Souls"]. *Esteticheskie vzgliady pisatel'ia i khudozhestvennoe tvorchestvo* [Aesthetic views of the writer and artistic creation]. Krasnodar, 1981, pp. 47–54. (In Russ.)

Popov Nil. *Pis'ma Iurii Fedorovicha Samarina. (1840–1845)* [Letters of Yuri Fedorovich Samarin. (1840–1845)]. *Russkii Arkhiv* [Russian Archive], 1880, book 2, № 5–8, pp. 241–332. (In Russ.)

*Pokhozheniia Chichikova, ili mertvye dushi. Poema N. Gogolia* [Chichikov's adventures, or dead souls. The poem of N. Gogol]. *Literaturnaia Gazeta* [Literary Newspaper], 1842, June 14, № 25, pp. 470–476. (In Russ.)

*Putevye vpechatleniia* [Travel impressions]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1843, № 7, pp. 178–202. (In Russ.)

Rozen E. F., baron. *Poema N. V. Gogolia ob Odissee* [The poem of N. V. Gogol about the Odyssey]. *Severnaia Pchela* [Northern Bee], 1846, August 14, № 181, pp. 722–723. (In Russ.)

Rozenblium N. *Belinskii v neizdannoi perepiske sovremennikov* [Belinsky in an unpublished correspondence of contemporaries]. *Russkaia literatura* [Russian Literature], 1962, № 1, pp. 195–211. (In Russ.)

Samarin Iu. F. *Soch.: v 12 t.* [Works in 12 vols]. Moscow, 1911, vol. 12, Letters, 1840–1853. 478 p. (In Russ.)

Senkovskii O. I. *Pokhozheniia Chichikova, ili Mertvye Dushi. Poema N. Gogolia* [Adventures of Chichikov, or Dead Souls. The poem of N. Gogol]. *Biblioteka dlia Chteniia* [Library for Reading], 1842, vol. 53, part 2, № 8, division 6, pp. 24–54. (In Russ.)

Simonova I. A. *Fedor Chizhov*. Moscow: Young Guard Publ, 2002. 335 p. (In Russ.)

Sollogub V. A., graf. *Iz vospominanii grafa V. A. Solloguba. (Chitano v publichnom zasedanii Obshchestva Liubitelei Rossiiskoi Slovesnosti pri Imperatorskom Moskovskom universitete 28 marta 1865 g.)* [From the memoirs of Count V. A. Sollogub. (Read at a public meeting of the Society of Lovers of Russian Literature at the Imperial Moscow University on March 28, 1865)]. *Russkii Arkhiv* [Russian Archive], 1865, № 5 and 6, columns 735–772. (In Russ.)

Stepanov N. L. *Gogol'. Istoriia russkoi literatury* [History of Russian literature]. Moscow; Leningrad: Publishing House of the USSR Academy of Sciences Publ., 1955, vol. 7, pp. 129–260. (In Russ.)

Studitskii A. *Russkaia slovesnost' v 1845 godu* [Russian literature in 1845]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1846, № 1, pp. 225–262. (In Russ.)

Feodor (Bukharev A. M.), archimandrite. *Tri pis'ma k N. V. Gogoliu, pisannye v 1848 godu* [Three letters to N.V. Gogol, written in 1848]. St. Petersburg, 1861. 262 p. (In Russ.)

Feodor (Bukharev A. M.), archimandrite. *O geroiakh poemy «Mertvye dushi»* [On the heroes of the poem “Dead Souls”]. *N. V. Gogol' i Pravoslavie. Sbornik statei o tvorchestve N. V. Gogolia* [N. V. Gogol and Orthodoxy. Collection of articles on the work of N. V. Gogol]. Moscow: To unity! Publ. 2004, pp. 205–230. (In Russ.)

Fridlender G. M. *Primechaniia* [Notes]. *Gogol' N. V. Poln. sobr. soch.: v 14 t.* [Complete Works in 14 vols] Leningrad: Academy of Sciences of the USSR Publ., 1952, vol. 12, texts and comments were prepared by R. B. Zaborov, A. N. Mikhailov, A. A. Nazarevsky, G. M. Friedlander, pp. 583–665. (In Russ.)

Khomiakov A. S. *Pis'mo v Peterburg o vystavke* [Letter to Petersburg about the exhibition]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1843, № 7, pp. 211–222. (In Russ.)

Khomiakov A. S. *Opera Glinki Zhizn' za Tsaria* [Glinka's Opera Life for the Tsar]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1844, № 5, pp. 98–103. (In Russ.)

Khomiakov A. S. *Mnenie russkikh ob inostrantsakh. Pis'mo k priiateliu* [Russian Opinion on Foreigners. A letter to a friend]. *Moskovskii Sbornik* [Moscow Collection], 1846, pp. 145–198. (In Russ.)

Khomiakov A. S. *Poln. sobr. soch.: v 8 t.* [Complete Works in 8 vols]. Moscow, 1900, vol. 8. 480 p. (In Russ.)

Shevryev S. *Pokhozhdeniia Chichikova, ili Mertvye dushi. Poema N. Gogolia. Stat'ia pervaiia* [Adventures of Chichikov, or Dead Souls. Poem by N. Gogol. Article One]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1842, № 7, pp. 207–228. (a) (In Russ.)

Shevryev S. *Pokhozhdeniia Chichikova, ili Mertvye dushi. Poema N. Gogolia. Stat'ia vtoraiia* [Adventures of Chichikov, or Dead Souls. Poem by N. Gogol. Second article]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1842, № 8, pp. 346–376. (b). (In Russ.)

Shevryev S. *Kriticheskii perechen' proizvedenii Russkoi Slovesnosti za 1842 god* [A critical list of works of Russian literature for 1842]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1843, № 1, pp. 274–298. (In Russ.)

Shevryev S. *Vybrannye mesta iz perepiski s druz'iami N. Gogolia* [Selected Places from Correspondence with Friends of N. Gogol]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1848, № 1, Division 2, pp. 1–29. (In Russ.)

Shevryev S. *Teoriia smeshnogo, s primeneniem k Russkoi komedii* [The theory of the funny, with application to Russian comedy]. *Moskvitianin* [Moskvityanin], 1851, № 1, pp. 106–120. (In Russ.)

Shenrok V. I. *Materialy dlia biografii Gogolia* [Materials for the biography of Gogol]. Moscow, 1898, vol. 4. 978 p. (In Russ.)

© 2020. А. П. Дмитриев  
Институт русской литературы (Пушкинский Дом)  
Российской академии наук  
г. Санкт-Петербург, Россия

## К оценке «Бедных людей» и «Двойника» Ф. М. Достоевского в семье Аксаковых (по переписке В. С. Аксаковой и М. Г. Карташевской)

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, научный проект № 18-012-90012 («Ф. М. Достоевский в русской критике. 1845–1881»).*

В статье впервые вводятся в научный оборот и обобщаются уже имеющиеся сведения о восприятии в семье Аксаковых ранних произведений Достоевского: романа «Бедные люди» и повести «Двойник». Произведен сопоставительный анализ оценок, которые давали этим сочинениям, с одной стороны, Вера Аксакова и ее двоюродная сестра Мария Карташевская в переписке начала 1846 г., а с другой — Константин Аксаков в рецензии, опубликованной в 1847 г. Выясняется, что Аксаковы еще до знакомства с произведениями Достоевского были предубеждены против него, и прежде всего потому, что писатель выдвигался западнической партией во главе с Белинским как бы в противовес Гоголю с его «славянофильским духом». Уделяется особое внимание контекстным сведениям о круге чтения сестер Аксаковых, что позволяет объяснить известную резкость в их суждениях. Вкусы сестер были сформированы романтической эстетикой, теорией «бесцельного» творчества, а читательские предпочтения диктовались эмоциональным тоном литературного произведения. Поэтому в их глазах «тяжелая» проза Достоевского проигрывала «освежительным» сочинениям Гоголя, Диккенса и Фредрики Бремер.

**Ключевые слова:** Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь, К. С. Аксаков, В. С. Аксакова, М. Г. Карташевская, читательская рецензия, славянофильская критика, эпистолярный жанр, романтическая эстетика.

**Информация об авторе:** Дмитриев Андрей Петрович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, наб. Макарова, д. 4, 199034, г. Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: apdspb@gmail.com

**Дата поступления:** 30.12.2019

**Дата публикации:** 24.03.2020

**Для цитирования:** Дмитриев А. П. К оценке «Бедных людей» и «Двойника» Ф. М. Достоевского в семье Аксаковых (по переписке В. С. Аксаковой и М. Г. Карташевской) // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 1. С. 154–167. DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-154-167



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

© 2020. Andrei P. Dmitriev

Institute of Russian Literature (Pushkin House)  
of the Russian Academy of Sciences  
St. Petersburg, Russia

## On the assessment of “Poor Folk” and “The Double” Fyodor Dostoevsky by the Aksakovs (in terms of correspondence between Vera Aksakova and Mariya Kartashevskaya)

*The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research, research project No. 18-012-90012 (“F. M. Dostoevsky in Russian criticism. 1845–1881”).*

Information, already available, about the perception of the early works of Fyodor Dostoevsky — the novel “Poor Folk” and the story “The Double” — by the Aksakovs is for the first time introduced into scientific circulation and summarised in our article. A comparative analysis of the assessment of these writings, on the one hand, by Vera Aksakova and her cousin Mariya Kartashevskaya in the correspondence of early 1846, and on the other hand, by Konstantin Aksakov, in a review published in 1847, is produced. It turns out that even before being acquainted with Fyodor Dostoevsky’s works, the Aksakovs were prejudiced against him, above all, because that writer was nominated by the Westernisers’ party led by Vissarion Belinsky as if in contrast to Nikolai Gogol with the “Slavophil spirit” of the latter. Special attention is paid to contextual information about the reading circle of the Aksakov sisters, which allows to explain a certain sharpness in their judgements. The sisters’ tastes had been shaped by romantic aesthetics, a theory of “aimless” creative work, whereas reading preferences were dictated by the emotional tone of the literary work. Therefore, in their perception, the “uneasy” prose of Fyodor Dostoevsky lost to the “refreshing” writing of Nikolai Gogol, Charles Dickens and Fredrika Bremer without scoring a point.

**Keywords:** Fyodor Dostoevsky, Nikolai Gogol, Konstantin Aksakov, Vera Aksakova, Mariya Kartashevskaya, reader reception, Slavophil criticism, epistolary genre, romantic aesthetics.

**Information about the author:** Andrei P. Dmitriev, DSc in Philology, Senior Researcher, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, nab. Makarova st. 4, 199034, St. Petersburg, Russia.

Email: apdspb@gmail.com

**Received:** December 30, 2019

**Published:** March 24, 2020

**For citation:** Dmitriev A. P. On the assessment of “Poor Folk” and “The Double” Fyodor Dostoevsky by the Aksakovs (in terms of correspondence between Vera Aksakova and Mariya Kartashevskaya). Two centuries of the Russian classics, 2020, vol. 2, № 1, pp. 154–167. (In Russ.) DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-154-167

Дебютные произведения Ф. М. Достоевского — роман «Бедные люди» и повесть «Двойник» — как известно, вызвали негативную в целом оценку С. Т. Аксакова и его сыновей Константина и Ивана, что отразилось, прежде всего, в рецензии К. С. Аксакова на эти произведения, написанной по первым впечатлениям от них, но опубликованной годом позднее под псевдонимом «Г-н Имярек» [Московский литературный и ученый сборник: 26–36]<sup>1</sup>.

Столь же неодобрительными оказались мнения о «Бедных людях» и «Двойнике» старшей дочери С. Т. Аксакова Веры Сергеевны и ее петербургской кузины Марии Григорьевны Карташевской, запечатленные в их переписке начала 1846 г. Девушками, несомненно, транслировалась оценка произведений Достоевского другими членами семейств Аксаковых и Карташевских. Дело в том, что, обмениваясь впечатлениями о тех или иных литературных новинках, Вера Аксакова и Мария Карташевская, в случае если их отдельные оценки не совпадали с суждениями родственников, обязательно оговаривали это в письмах.

Несколько фрагментов из переписки сестер, где они поделились одна с другой довольно нелицеприятными мнениями от знакомства с произведениями Достоевского, впервые было опубликовано в 1952 г. Л. Р. Ланским (Коганом) [Гоголь в неизданной переписке: 680–681], а в 2012 г. переиздано и дополнено И. А. Виноградовым — с частичной сверкой по подлинникам, хранящимся в Рукописном отделе Пушкинского Дома [Гоголь в воспоминаниях 2: 846–848, 962].

---

<sup>1</sup> О том, что эта публикация предназначалась для предыдущего «Московского литературного и ученого сборника» («на 1846 год»), свидетельствует, между прочим, сообщение Веры Аксаковой в письме к Марии Карташевской от 29 мая 1846 г., сопровождавшем присылку этого сборника Карташевским: «Многие критики брата не вошли в состав его, а будут помещены в другом томе, который надеются также выдать скоро» (Институт русской литературы (ИРЛИ). <Шифрованный фонд>. № 10.615. Л. 46 об.).

Публикаторы ставили перед собой цель сделать выборку из этой переписки одних только упоминаний о Гоголе, поэтому ими не были востребованы отдельные высказывания девушек о Достоевском, а также контекстные сведения об их круге чтения в рассматриваемый период, которые могли бы дать представление о читательских потребностях и предпочтениях сестер. Учет же и осмысление данных этого рода, скорее всего, объяснят известную резкость в суждениях корреспонденток и их ближнего окружения<sup>1</sup>.

В семье Аксаковых узнали о появлении «нового Гоголя» из письма Карташевской к сестре от 31 октября — 5 ноября 1845 г. Во фрагменте, датированном 1 ноября<sup>2</sup>, Мария сообщала о слухе, который разнесся к тому времени по петербургским гостиным (его источником послужили отзывы литераторов, познакомившихся с рукописью «Бедных людей» или слушавших ее авторское чтение). Она писала: «Говорят еще, явился новый автор вроде будто бы Гоголя, и его повесть, имеющая будто бы больше достоинства гоголевских повестей, печатается в одном петербургском альманахе. Любопытно будет посмотреть!»<sup>3</sup>. Вера откликнулась 12 ноября: «Что за новый Гоголь появился в Петербурге? Напиши, что узнаешь; я думаю, это вроде Бенедиктова, которого также вначале называли Пушкиным»<sup>4</sup>.

Свидетельств об этих ожиданиях сохранилось немало как в первых откликах на «Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым» (СПб., 1846), где увидели свет «Бедные люди», так и в переписке современников и в позднейших мемуарах о Достоевском. Например, Л. В. Брант в рецензии на сборник иронизировал: «...уверяли, что в этом альманахе явится произведение нового, необыкновенного таланта, произведение высокое, едва ли не выше творений Гоголя и Лермонтова. Стоустая молва мигом разнесла приятную весть по “стогам Петрограда”: любопытство, ожидание, нетерпение были ловко задеты»

---

<sup>1</sup> Далее цитаты из переписки девушек приводятся по рукописным подлинникам, в том числе и в тех случаях, когда они уже были напечатаны Л. Р. Ланским и И. А. Виноградовым, — поскольку в этих публикациях встречаются незначительные неточности, по большей части обусловленные требованиями редакционной унификации текстов.

<sup>2</sup> В публикации Л. Р. Ланского ошибочно указано, что письмо датировано 30 октября [Гоголь в неизданной переписке: 680].

<sup>3</sup> ИРЛИ. № 10.639. Л. 104 об.

<sup>4</sup> ИРЛИ. № 10.615. Л. 126.

[Я. Я. Я.: 99]; П. А. Плетнев 5 февраля 1846 г. сообщал В. А. Жуковскому о Достоевском: «От него наши некрасовцы (печатающиеся в альманахе какого-то Некрасова) без ума и говорят, что теперь смерть и Гоголю и всем» [Плетнев 3: 570].

Дошли эти слухи и до И. С. Аксакова, служившего в то время в Калуге. 15 декабря он писал родным (в связи с публикацией комедии Ап. Григорьева «Два эгоизма» (1845), где под именем Баскакова был пародийно выведен К. С. Аксаков): «...Григорьев дружен и с “Отечественными» Записками”. Сии последние нашли новую звезду, какого-то Достоевского, которого ставят чуть ли не выше Гоголя, находя в Гоголе много славянофильского духа!!!!!!» [Аксаков И. С.: 237].

Таким образом, Аксаковы еще до знакомства с произведениями Достоевского были предубеждены против него. Сыграли тут роль, во-первых, преувеличенные, на их взгляд, похвалы молодому писателю, известному лишь в узком кругу петербургских литераторов; во-вторых, несколько ревнивое отношение к толкам, имевшим отношение к высоко ценимому ими Гоголю (в тот период его и Аксаковых связывала довольно интенсивная переписка — Вера регулярно сообщала Марии содержание писем Гоголя из Рима), скорее всего, особенно повлияло то, что Достоевский выдвигался западной партией во главе с В. Г. Белинским как бы в противовес Гоголю с его «славянофильским духом».

«Петербургский сборник» вышел в свет 21 января 1846 г., а уже через неделю, 28 января, Мария сообщала сестре, что дядя Николай Тимофеевич Аксаков<sup>1</sup> несколько дней читает вслух в гостиной Карташевских «Бедных людей»: «Дяденька нам читает теперь ту повесть Достоевского, которую иные сравнивали с повестями Гоголя, и отдавая ей преимущество. Она называется “Бедные люди” и помещена в Петер-

---

<sup>1</sup> И. А. Виноградов в комментариях к публикации этого фрагмента из письма Марии указывает, что чтение устроил дядя Аркадий Тимофеевич Аксаков [Гоголь в воспоминаниях 2: 962]. Однако из писем и Марии, и Веры однозначно следует, что в это время гостил в Петербурге Николай Тимофеевич. Его имя обычно не называется, однако, например, 9 декабря 1845 г. Мария писала сестре: «...я немного поздно вздумала подарить что-нибудь дяденьке 6 декабря, и потому так спешила с своим кошельком, что не выпускала работы из рук, когда дяденьки не было с нами, что случается нечасто» (ИРЛИ. № 10.639. Л. 117—117 об.). Речь идет о Николе Зимнем и, соответственно, именинах Н. Т. Аксакова.

бургском *Сборнике*. Только это далеко, далеко не Гоголь, возможно ли найти такое сходство, не говоря уже о том, чтоб отдать Достоевскому преимущество. У них с Гоголем общего, я думаю, только то, что сцена их действий происходит посреди бедных и довольно низких слоев общества. Но ведь тогда почему не сравнить его и с Eugène Sue. Я даже скорее сравню его с этим последним, только у Достоевского нет штук, часто оскорбляющих чувство, к которым прибегает Sue. Его повесть (мы еще только на половине) не дурна, она очень проста и согрета чувством. Я упомянула об Eugène Sue только потому, что он первый, кажется, стал выводить на сцену низкие слои общества с мыслию привлечь на них внимание гордых сильных земли и показать им, что часто в этом бедном классе более человечности, чем у них. Эта же мысль и чувство, видно, у Достоевского. У Гоголя совсем другое, у него нет никакой предположенной цели доказать или указать то и то, он просто создает, создает как есть, и часто, если обращать внимание на одно содержание его повестей, оно довольно грустно. У Достоевского нет, кажется, большого таланта, но он, кажется, не лишен способностей и главное он без штук и видна любящая душа в его повести. Вы, верно, будете тоже читать эту повесть, мой милый друг, и тогда ты скажешь мне свое мнение»<sup>1</sup>.

Далее без перехода Мария пишет о произведении, встреченном ею, в отличие от «Бедных людей», с полным восторгом: «Я тоже наконец прочла ту повесть Диккенса, которую я все искала прошедший год; это “Ночь на Рождество”. Как прекрасно! Какая живая, глубокая любовь к своим собратьям и как превосходны все малейшие подробности его рассказа»<sup>2</sup>. А ниже делится впечатлениями от впервые прочитанного романа Гете: «Еще я только что дочитала по-немецки одно сочинение, но ты, конечно, никогда не ожидаешь какое?! “Leiden des jungen Werthers”. Мне пришло это желание, потому что здешнее высшее общество играло какую-то пародию Вертера, по поводу этого были толки, и вот я захотела узнать наконец, что это за Вертер, и признаюсь, конец невольно смущает и наводит грусть, так живы все терзания его бедного сердца»<sup>3</sup>. И дальше: «Теперь у нас с дяд<енькой> война, во-первых, за то, что дразнит меня, говоря, что рано мне выехать; во-вторых, за

---

<sup>1</sup> ИРЛИ. № 10.640. Л. 7–8.

<sup>2</sup> ИРЛИ. № 10.640. Л. 8.

<sup>3</sup> ИРЛИ. № 10.640. Л. 8–8 об.



то, что он не посидит дома, а потому несчастная повесть Достоевского читается уже, кажется, неделю и только на половине<sup>1</sup>. Как видим, основным эстетическим критерием для Марии был, так сказать, эмоциональный тонус литературного произведения: она ценила теплый юмор, жизнеутверждающие ноты и избегала тональности, навевающей уныние.

Примечательно, что суждения Карташевской о «Бедных людях» были положены в основу рецензии Константина Аксакова на роман. (Известно, что письма Веры читались вслух в семье Карташевских, а письма Марии оглашались в гостиной Абрамцева.) Константин критиковал роман Достоевского, прежде всего, за «филантропическую тенденцию» — стремление пробудить сострадание к беднякам, то есть за внеположные, по убеждению рецензента, истинному искусству дидактические цели, считая, что поэтому роман «решительно не может называться произведением художественным» [Аксаков К. С.: 138]. Упомянув социальный роман Эжена Сю, о том же писала и Карташевская. Общая оценка Константином Аксаковым молодого писателя довольно сурова и сходна с высказанной петербургской кузиной: «Г. Достоевский не явил в своей повести как в целом художественного таланта»; в романе «нет этого бесцельного творчества» [Аксаков К. С.: 139].

3 февраля Мария сообщала Вере: «Наконец-то мы дочитали “Бедные люди”, и после окончания я повторяю, что писала тебе уже об этой повести. В конце даже сочинитель, кажется, немного запутался, и он иногда слишком, мне кажется, повторяется, но, впрочем, всё эта повесть не дурна, потому что в ней есть чувство. Очень желаю, чтоб вы ее прочли»<sup>2</sup>.

Вера откликнулась 4 февраля, как будто обрадовалась мнениям сестры и, еще не ознакомившись с романом Достоевского, была готова к ним присоединиться: «В Москве тоже получен Петербургский Сборник, и я надеюсь со временем достать его, особенно для того чтоб прочесть эту повесть Достоевского. Мне кажется заранее, что я с тобой буду согласна»<sup>3</sup>.

Отвечая 14 февраля, Мария просит Веру обратить внимание на финал «Бедных людей»: «Мне очень любопытно услышать твое мнение

---

<sup>1</sup> ИРЛИ. № 10.640. Л. 7об.–8 (приписка на полях).

<sup>2</sup> ИРЛИ. № 10.640. Л. 11 об.

<sup>3</sup> ИРЛИ. № 10.616. Л. 10 об.

о повести Достоевского особенно после одного ей определения, которое меня крайне изумило. Скажи мне, какое впечатление произведет на тебя конец и увидишь ли ты в нем какую-нибудь особенную мысль сочинителя? Я не видела никакой, но, может быть, это была недогадливость с моей стороны»<sup>1</sup>.

В тот же день, 14 февраля, Вера уже писала о первых впечатлениях от романа (судя по контексту, «Бедные люди» читались в Абрамцеве вслух в присутствии всей семьи): «Мы достали Сборник Петербургский и читаем Достоевского; кажется, будем с тобой одного мнения. Дарование есть несомненно, но того высокого художества, которого впечатления так освежительны, того и тени нет, все тяжело, грустно, давит, странная форма писем, очень неловко высказываться самим лицам, и как-то я их не совсем ясно вижу, но — до окончания; между тем есть многое хорошо»<sup>2</sup>. Любопытно, как продолжается это письмо: в противовес «тяжелому» роману Достоевского Вера пишет об «ободряющем» романе шведской писательницы-феминистки Фредрики Бремер (1801–1865) «В Далекарлии» [Bremer]: «Мы подписались на немецкие книги, и я взяла “In Dalekarlien”, новый роман Bremer. Мы прочли с сестрами только три главы, и до сих пор это удивительно как хорошо, с каким удовольствием я это читаю, в ней есть что-то ободряющее, как прекрасны тут некоторые описания, положения, как разнообразны и истинны лица»<sup>3</sup>.

Мария откликнулась 20 февраля: «Очень мне приятно, мой милый друг, что мы так совершенно одинаково чувствуем значение повести Достоевского. Что-то ты скажешь про конец, мне это очень любопытно»<sup>4</sup>.

25 февраля Вера сообщала: «Мы также прочли Достоевского, и я согласна с тобой. Странная повесть, с большим достоинством, хотя вовсе почти не дает тех освежительных высоких наслаждений художеством, которые мы находим во всяком слове Гоголя; это совсем другое. Но она сделала во многих местах сильное на меня впечатление как верный рассказ этой несчастной жизни, и вообще чувство тяжелое, глубоко грустное, болезненное даже не оставляло меня ни на минуту. — Его цель, конечно, была та, чтоб возбудить участие к этим несчастным бедным

---

<sup>1</sup> ИРЛИ. № 10.640. Л. 17 об.–18.

<sup>2</sup> ИРЛИ. № 10.616. Л. 15 об.

<sup>3</sup> ИРЛИ. № 10.616. Л. 15 об.

<sup>4</sup> ИРЛИ. № 10.640. Л. 21.

людям, не представляя их идеальными людьми, но со всеми их человеческими слабостями, и она эту цель достигает. — Нещастная форма его повести [то есть] в письмах так неудобна, что от этого, вероятно, много выходит несообразности, и то, что должен был бы автор или действие говорить за его лицо, должны высказывать они сами про себя, особенно в письмах Мак<ара> Ал<ексеевича>, но, несмотря на то, иногда очень искусно автор одевает свою мысль в слова этого бедного человека. В иных местах эта повесть даже очень скучна, в письмах Мак<ара> Алек<сеевича> часто повторения. — Но некоторые письма Вариньки и ее журнал особенно хороши. — Даже и то не совсем естественно, чтоб такие люди стали переписываться так, как они говорят. Разумеется, эта речь, отрывистая, сбивчивая, так как она обыкновенно выходит из уст человека, особенно человека, как Мак<ар> А<лексеевич>, — могла только явиться после того, как Гоголь ее создал, но из этого не следует, чтоб Достоевский подражал, хотя многие фразы прямо напоминают Гоголя, но теперь почти всякая естественная фраза уже невольно напоминает Гоголя; потому что он первый заговорил так. — Мне кажется, что впечатление Акакия Акакиевича должно было породить эту повесть, хотя этот чиновник не похож на Акак<ия> Акак<иевича>. Я не понимаю хорошенько, хотел ли автор словами Макар<а> Алек<сеевича> о “Шинели” Гоголя показать то впечатление, которое она должна произвести на этих людей, или он сам отчасти разделяет его мнение, Впрочем, кажется, что это говорит один Макар Алек<сеевич>»<sup>1</sup>.

Прервем цитату, чтоб отметить черты сходства отзыва Веры Аксаковой в письме и печатной рецензии Константина Аксакова, объясняемые, не в последнюю очередь, обсуждением ими романа в ходе его чтения. Это, во-первых, «болезненное чувство», не оставлявшее Веру «ни на минуту» и соответствовавшее заключению Константина: «Впечатление повести тяжелое...» [Аксаков К. С.: 139]. Во-вторых, сестра и брат солидарны в неодобрении эпистолярной формы произведения, однако последний выразил это категорически: «...напрасно сочинитель избрал эту форму, самую по себе неудобную и, сверх того, им неверно выполненную», полагая, что Макар Девушкин не смог бы «написать так, как говорит» [Аксаков К. С.: 137]; Вера же признает, что «иногда очень искусно автор одевает свою мысль в слова этого бедного человека». В-третьих, упрек Веры в отсутствии, по ее словам, «освежи-

---

<sup>1</sup> ИРЛИ. № 10.640. Л. 18–18 об.

тельных высоких наслаждений художеством» выливается под пером Константина в целую диатрибу о том, что в романе Достоевского «нет художественного достоинства» — в отличие от «глубокой, примиряющей красоты», присущей гоголевской «Шинели».

Вера продолжала, помня вопрос сестры о финале «Бедных людей»: «Странен конец потому, я думаю, особенно, что мы не знаем точно прежних происшествий. — Автор хотел, кажется, показать, что и в Вариньке, несмотря на ее горе и положение, есть своего рода суетность. — Мысли я никакой особенной не вижу в окончании; от кого же ты слышала или где ты читала то определение, которое тебя удивило, сообщи мне его; ни отесенька, никто из нас ничего не предполагают особенного»<sup>1</sup>. К сожалению, Мария не разъяснила этот момент (если ее письмо с ответом не оказалось утраченным).

Далее Вера писала о дошедших до Аксаковых слухах о повести «Двойник»: «Во втором номере “От<ечественных> З<аписок>” напечатана его другая повесть и, к удивлению, говорят, без всякого достоинства. Я очень бы желала какую-нибудь другую его повесть, только не в письмах, чтоб посудить больше о самом авторе. Я слышала, что он сам чрезвычайно бедный человек»<sup>2</sup>.

К 25 марта «Двойник» был прочитан в Абрамцеве, и Вера сообщала: «Не помню, писала ли я тебе, что мы читали другую повесть Достоевского “Двойник”, в “От<ечественных> З<аписках>” и насилу имели терпение прочесть ее. Такого подражания Гоголю, бездушного и даже наглого, и вообразить нельзя, и до того скучно, что я желаю, чтоб ты хоть взглянула на нее, чтоб иметь понятие об ней. Это, кажется, только можно одним объяснить, что автор хотел написать пародию на Гоголя или похвастаться, что и он может написать так же, и тут обнаруживается, что талант Достоевского не таков, как мы вообразили по первой повести»<sup>3</sup>.

Содержание письма Марии от 29 марта таково, будто она не получила отзыва Веры от «Двойнике». Тем примечательнее сходство их впечатлений. Мария рассказывала: «Теперь я читаю другую повесть Досто-

---

<sup>1</sup> ИРЛИ. № 10.616. Л. 18 об. Эта цитата подтверждает, что чтение романа Достоевского и писем М. Г. Каргашевской с ее читательскими оценками собирало все семейство, включая его главу С. Т. Аксакова («отесеньку»).

<sup>2</sup> ИРЛИ. № 10.616. Л. 18 об.—19.

<sup>3</sup> ИРЛИ. № 10.616. Л. 29 об.

евского — “Двойник”. И до сих пор она очень скучна. Странное дело! Его герой уже помешался, а он все продолжает передавать его бредни, как будто бессмыслица безумных может быть предметом интересным. Другое дело, как у Гоголя, показать, как постепенно человек теряет рассудок и мешается, и тут остановиться. Вот в этой-то повести очень чувствительно его подражание Гоголю и повторение многих фраз Макара Алексеевича<sup>1</sup>. Эти нелестные для Достоевского суждения о его повести объяснялись прежде всего растянутостью повествования и излишними повторами, признанными вслед за критикой самим автором как творческая неудача (в 1866 г. он, как известно, опубликовал переработанную редакцию повести).

Константин Аксаков в упоминавшейся рецензии на «Петербургский сборник» высказался и о «Двойнике», причем оказался единомышлен с сестрами, хотя и резче и даже язвительнее по тону. Повесть он называет «длинной и до невероятности утомительной». «В ней, — по словам Константина, — г. Достоевский постоянно передразнивает Гоголя <...> это одно голое подражание внешности великих произведений Гоголя. В этом только и состоит вся повесть: ни смысла, ни содержания, ни мысли — ничего» [Аксаков К. С.: 143].

В письме от 7 апреля к Марии Вера еще раз упоминала повесть Достоевского: «Я тебе, кажется, писала о “Двойнике” и совершенно с тобой согласна насчет его. Еще сомнительно, можно ли ожидать что-нибудь [нового] замечательного от него»<sup>2</sup>.

Мария, получив предыдущий эмоциональный, негодующий отзыв Веры о «Двойнике», сочла его несправедливым и возразила ей в письме от 8 апреля: «Я не совсем с тобой согласна, мой милый друг, насчет повести “Двойник”. Она несносно растянута, она мне напоминает то некоторые фразы Гоголя, то Макар <так!> Алексеевича, но мне кажется, и в ней виден талант. Только действительно надобно терпение, чтоб ее дочитать, и я, конечно, бросила бы со второй страницы, если б я предварительно не слышала об этой повести совершенно противуречащие суждения, которые и возбудили мое любопытство и желание судить о ней сама по себе. Он ужасно растянул момент помешательства, но мне кажется, что он представил его очень верно и потому живо. Право, мне иногда становилось страшно, читая, что происходило в несчастной го-

---

<sup>1</sup> ИРЛИ. № 10.640. Л. 26 об.–27.

<sup>2</sup> ИРЛИ. № 10.616. Л. 32 об.

лове г. Голядкина, страшно, когда представишь себе это преследование мысли, от которой никуда уйти нельзя, но мне другая повесть нравится более»<sup>1</sup>.

Любопытно, что далее Мария упоминает название еще одной повести Достоевского: «У него еще готова третья, которая тоже будет напечатана, кажется, в “От<ечественных> Зап<исках>”, это: “Сбритые бакенбарды”»<sup>2</sup>. Работа писателя над этой повестью, первое известное упоминание о которой содержится в письме В. Г. Белинского к А. И. Герцену от 6 февраля 1846 г. [Белинский 12: 261], затянулась до конца октября<sup>3</sup>, но так и не была завершена; рукопись не сохранилась.

Мария и Вера в переписке этого времени регулярно обмениваются впечатлениями о прочитанных книгах, и чаще их голоса звучат в унисон (исключение — споры о романах Жорж Санд, в которых, по убеждению Веры, отразились «самые вредные заблуждения и отвратительные выводы» «нашего века»<sup>4</sup>, с чем не могла согласиться Мария). Порой почти все письмо посвящалось подробному отзыву о новом произведении любимицы обеих сестер в те годы Фредрики Бремер. Читая эту шведскую писательницу в немецких переводах, Вера восклицает: «В Бремер столько национального, и она сама так оригинальна, сколько бодрости, силы, даже веселости в ней»<sup>5</sup> (25 февраля 1846 г.); «Мне приходит такое желание узнать шведский язык, что если б я имела к тому случай, непременно бы стала изучать. Очень бы мне тоже хотелось узнать самую Бремер»<sup>6</sup> (4 марта 1846 г.). Романы же ее современницы, немецкой писательницы Генриетты-Вильгельмины Ханке (1785–1862) вызывали противоположную единодушную реакцию: «... хотя это недурно написано и, вероятно, верно, многое естественно, но никакой оригинальности, никакого особенного колорита, все довольно пошло и обыкновенно...»<sup>7</sup> (письмо Веры от 25 февраля 1846 г.). Таким же в общем-то согласием отличалось неприятие ранних произведений

---

<sup>1</sup> ИРЛИ. № 10.640. Л. 23 об.–24.

<sup>2</sup> ИРЛИ. № 10.640. Л. 24.

<sup>3</sup> См. письмо писателя к брату Михаилу от 20 октября 1846 г. [Достоевский 28, 1: 131].

<sup>4</sup> ИРЛИ. № 10.617. Л. 12 об.

<sup>5</sup> ИРЛИ. № 10.616. Л. 19 об.

<sup>6</sup> ИРЛИ. № 10.616. Л. 24 об.

<sup>7</sup> ИРЛИ. № 10.616. Л. 19 об.

Достоевского, хотя и обставленное существенными оговорками («согрето чувством», «видна любящая душа», «с большим достоинством»).

Очевидно, что читательские вкусы прямо высказавшихся о Достоевском Веры и Константина Аксаковых и Марии Карташевой были сформированы романтической эстетикой, теорией «бесцельного» творчества. Вместе с тем обладающие заметной социально-нравственной тенденцией «Бедные люди» и «Двойник» имели несомненное художественное достоинство, чего (как бы «скрепя сердце») не могли игнорировать в семье Аксаковых, отличающейся чуткостью по отношению к искусству.

Надо сказать, что и Константин Аксаков, продолжая теоретически настаивать на важности непосредственного творчества, на необходимости «полной преданности искусству, полной искренности, полного беспристрастия» [Аксаков К. С.: 138–139], как раз с середины 1840-х гг. все чаще насыщает свои поэтические и драматические произведения публицистическим элементом, поднимая в них острые нравственные, общественные и историософские вопросы.

#### Список литературы

Аксаков И. С. Письма к родным, 1844–1849 / изд. подгот. Т. Ф. Пирожкова. М.: Наука, 1988. 704 с.

Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика / сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. А. Кошелева. М.: Искусство, 1995. 526 с.

Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. 596 с.

Гоголь в неизданной переписке современников (1833–1853) / публ. и коммент. Л. Ланского; предисл. И. Сергиевского // Литературное наследство. М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 58: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. С. 533–772.

Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников: Полный систематический свод документальных свидетельств: Научно-критическое издание: в 3 т. / изд. подгот. И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2012. Т. 2. 1031 с.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1985. Т. 28, кн. 1. 571 с.

Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М.: в тип. Августа Семена, 1847. [4], II, XVIII, 708, 146, 32 с.

Плетнев П. А. Сочинения и переписка: в 3 т. / издал Я. К. Грот. СПб.: тип. Имп. Академии наук, 1885. Т. 3. XII, 746 с.

Я. Я. Я. <Брант Л. В.>. Русская литература: Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым // Северная пчела. 1846. 30 янв. № 25. С. 99.

Bremer Fredrika. In Dalekarlien: vier Theile. Stuttgart: Franckh, 1845. 259 S.

### References

Aksakov I. S. *Pis'ma k rodnym, 1844–1849* [Letters to the family, 1844–1849], ed. by T. F. Pirozhkova. Moscow, Nauka Publ., 1988, 704 p. (In Russ.)

Aksakov K. S. *Eстетика i literaturnaia kritika* [Aesthetics and literary criticism], comp., prep. of text, entry art. and comment. by V. A. Koshelev. Moscow, Iskusstvo Publ., 1995, 526 p. (In Russ.)

Belinskii V. G. *Poln. sobr. soch.: v 13 t.* [Complete Works: in 13 vols.]. Moscow, AN SSSR Publ., 1956, Vol. 12, 596 p. (In Russ.)

*Gogol' v neizdannoii perepiske sovremennikov (1833–1853)* [Gogol in an unpublished correspondence of contemporaries (1833–1853)], publ. and comment. by L. Lansky; foreword by I. Sergievsky. *Literaturnoe nasledstvo* [Literary heritage]. Moscow, AN SSSR Publ., 1952, Vol. 58: Pushkin. Lermontov. Gogol', pp. 533–772. (In Russ.)

*Gogol' v vospominaniakh, dnevnikakh, perepiske sovremennikov: Polnyi sistematicheskii svod dokumental'nykh svidetel'stv: Nauchno-kriticheskoe izdanie: v 3 t.* [Gogol in memoirs, diaries, correspondence of contemporaries: A complete systematic set of documentary evidence: A critical scientific publication: in 3 vols.], ed. by I. A. Vinogradov. Moscow, IMLI RAN Publ., 2012, Vol. 2, 1031 p. (In Russ.)

Dostoevskii F. M. *Poln. sobr. soch.: v 30 t.* [Complete Works: in 30 vols.]. Leningrad, Nauka Publ., 1985, Vol. 28, book 1, 571 p. (In Russ.)

*Moskovskii literaturnyi i uchenyi sbornik na 1847 god* [Moscow literary and scientific collection for 1847]. Moscow, in the printing house of August Semen Publ., 1847, [4], II, XVIII, 708, 146, 32 p. (In Russ.)

Pletnev P. A. *Sochineniia i perepiska: v 3 t.* [Compositions and correspondence: in 3 vols.], ed. by Ia. K. Grot. St. Petersburg, printing house of the Imp. Academy of Sciences Publ., 1885, Vol. 3, XII, 746 p. (In Russ.)

Ia. Ia. Ia. <Brant L. V.>. *Russkaia literatura: Peterburgskii sbornik, izdannyi N. Nekrasovym* [Russian literature: Petersburg collection, published by N. Nekrasov]. *Severnaia pchela* [Northern Bee]. St. Petersburg, 1846, January 30, № 25, pp. 99. (In Russ.)

Bremer Fredrika. *In Dalekarlien: vier Theile*. Stuttgart, Franckh, 1845, 259 S.



© 2020. В. И. Мельник  
г. Москва, Россия

**«Милый, добрый Анатолий Федорович...»  
(К вопросу об отношениях И. А. Гончарова и А. Ф. Кони)**

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,  
проект № 17-04-50064-ОГН*

Известный юрист А. Ф. Кони был одним из немногих людей, с которыми И. А. Гончаров был особенно дружен в последние тринадцать лет жизни. После кончины Гончарова Кони написал очерк — воспоминания о нем. В научной литературе до сих пор не было попытки проанализировать этот очерк в широком контексте известных фактов и тем самым глубже вникнуть в отношения Гончарова с Кони, а в каком-то смысле и со всем кружком либерального «Вестника Европы». Кони хотя и отдал должное общественной значимости и «широкой кисти» автора «Обломова», едва ли не большую часть в освещении личности писателя посвятил слабым и негативным сторонам его характера. Кони, в частности, говорит о «болезненном настроении души» Гончарова — и непропорционально большое для юбилейного выступления место уделяет конфликту Гончарова и Тургенева, безусловно становясь на сторону последнего. Отношения Гончарова и Кони до некоторых пор представлялись в «парадном» виде, но на самом деле все обстоит сложнее. В статье анализируется мотивация Кони, настойчиво пытавшегося не допустить до опубликования «Необыкновенную историю» Гончарова. Рассматривается последовательность событий и позиции всех основных участников конфликта вокруг издания гончаровской рукописи. Таким образом, в представление об отношениях Гончарова с Кони и «Вестником Европы» в целом вносятся существенные коррективы.

**Ключевые слова:** Гончаров, отношения с Кони, конфликт с Тургеневым, Радлов, Старицкий, издание «Необыкновенной истории».

**Информация об авторе:** Мельник Владимир Иванович, ORCID: 0000-0001-9684-8943, доктор филологических наук, член-корреспондент АН Республики Татарстан, г. Москва, Россия

E-mail: melnikvi1985@mail.ru

**Дата поступления статьи в редакцию:** 28.11.2019

**Дата публикации статьи:** 24.03.2020

**Для цитирования:** Мельник В. И. Логика творчества И. А. Гончарова: к постановке проблемы // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 1. С. 168–195. DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-168-195



This is an open access article  
distributed under the Creative  
Commons Attribution 4.0  
International (CC BY 4.0)

© 2020. Vladimir I. Melnik  
Moscow, Russia

## “My good, kind Anatoly Fedorovich...” (On the issue of relations of Ivan Goncharov and Anatoly Koni)

*The reported study was funded by RFBR, project number 17-04-50064-OIH*

The prominent lawyer Anatoly Koni was one of the few people with whom Ivan Goncharov had been particularly friendly in the last thirteen years of life. On the occasion of Ivan Goncharov's death, a feature article — memories of the latter — was written by Anatoly Koni. In the scientific literature, there has until now been no attempt to analyse that feature article in the broad context of known facts and thus to delve deeper into the relations of Ivan Goncharov with Anatoly Koni and, in a certain sense, with the entire liberal circle of the magazine “Vestnik Evropy” (Herald of Europe). Anatoly Koni, despite doing justice to public significance of that “man of broad views” — the author of the novel “Oblomov” — devoted nearly the greatest part in the coverage of the writer's personality to the weak and negative sides of character. Anatoly Koni, in particular, speaks of the “insane mood of the soul” of Ivan Goncharov — and the lawyer pays a disproportionate attention to the conflict of Ivan Goncharov with Ivan Turgenev, which is strange for a commemoration speech, and the author of the epitaph categorically does not side with the recently deceased friend. Relations of Ivan Goncharov and Anatoly Koni have been presented in the “bosom-friend” form until recently, but everything is more complicated in fact. The motivation of Anatoly Koni, who persistently tried to prevent the publication of “An Uncommon Story” by Ivan Goncharov, is analysed in the article. The sequence of events and positions of all the main participants of the conflict around Ivan Goncharov's manuscript publication is considered. Thus, significant adjustments are generally made to the notion of relations of Ivan Goncharov with Anatoly Koni and with the magazine “Vestnik Evropy” (Herald of Europe).

**Keywords:** Ivan Goncharov, relations with Anatoly Koni, conflict with Ivan Turgenev, Ernest Radlov, A.I. Staritskiy, “An Uncommon Story” published.

**Information about the author:** Vladimir I. Melnik, ORCID: 0000-0001-9684-8943, DSc in Philology, corresponding member Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Moscow, Russia.

E-mail: melnikvi1985@mail.ru

**Received:** November 28, 2019

**Published:** March 24, 2020

**For citation:** Melnik V. I. “My good, kind Anatoly Fedorovich...” (On the issue of relations of Ivan Goncharov and Anatoly Koni). Two centuries of the Russian classics, 2020, vol. 2, № 1, pp. 168–195. (In Russ.) DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-168-195

Анатолий Федорович Кони был одним из немногих людей, с которыми Гончаров был особенно дружен в последние тринадцать лет жизни<sup>1</sup> (1879–1891). В университетские годы он близко сошелся с его отцом, драматургом Федором Алексеевичем Кони (1809–1879). В первом своем письме к А. Ф. Кони романист вспоминал: «При этом возвращаю Вам, дорогой Анатолий Федорович, альбом Вашего покойного отца, моего сверстника и универс<итетского> товарища. Сколько эти пожелтевшие страницы возбудили воспоминаний во мне о прошлом! За полвека и даже более назад: подумайте! С Федором Алек<еевичем> я постоянно видался, но реже в университете, куда он не часто жаловал<sup>2</sup>, а более на стороне, и именно у доброй, симпатичной М. Д. Льво-

---

<sup>1</sup> Сам А. Ф. Кони говорит о пятнадцати последних годах жизни Гончарова, но документальных свидетельств, подтверждающих, что Гончаров и Кони общались с 1877 г., не обнаружено, хотя известно, что в детстве он видел приходившего к его отцу домой писателя. Первое письмо Гончаров написал Кони в 1879 г., и по его характеру видно, что это именно начало знакомства: писатель вспоминает свою дружбу с отцом Кони, известным водевилистом и журналистом Ф. Кони. Впрочем, существовал план воспоминаний Кони о Гончарове, в котором есть строки: «Встречи в 1874 году. “Как кнутом бьет”. Собачка (1872 г.) и потребность любви. Встреча у Стасюлевиной. Манера себя держать. Руки. Возвращение вместе в Моховую» (цит. по: [Балакин 2014: 9]). Скорее всего, встречи 1872 и 1874 гг. были всего лишь эпизодами, хотя формально прибавляют к срокам знакомства еще 5–7 лет. Кони не включил в свои воспоминания о Гончарове этих ранних эпизодов. Балакин пытается реконструировать воспоминания — и принимает указание на 1874 г. как на начало знакомства. При этом он приводит цитату из Кони, который говорит о 15 годах знакомства. Однако если принимать 1874 г., то надо говорить не о 15, а о 17 годах знакомства (1874–1891).

<sup>2</sup> Ф. Кони в 1833 г. окончил медицинский факультет Московского университета, но имел склонность к театру и искусству. С 1832 по 1837 гг. на сцене шли переделанные им с французского водевили. Его водевили конца 1830-х — 1840-х гг. («Петербургские квартиры», «Титулярный со-

вой-Синецкой<sup>1</sup>... У нее толпился тогда почти весь театральный персонаж в главных представителях. Пелось, игралось, плясалось, елось и пилось вдоволь. Там, могу сказать, и мои “младые дни неслись”. Приходили литераторы, читали, говорили — словом, прекрасный центр и жизни, и искусства с умной, талантливой и гостеприимной хозяйкой во главе. Отец Ваш был частый посетитель, а хозяин там был Варламов<sup>2</sup>, bohmién<sup>3</sup> по натуре своей, но талантливый композитор, юморист и очаровательный певец в салоне. Из силуэтов я никого не узнал, но рядом с Надеждиным<sup>4</sup> сейчас же признал Ивашковского<sup>5</sup>» [Гончаров 2000б: 441].

Именно Ф. Кони ввел Гончарова в театральный мир Москвы и Малого театра [Мельник 2017: 24–31]. Вероятнее всего, А. Ф. Кони и Гончаров познакомились в 1855 г. по возвращении романиста из кружосветного плавания. Молодой друг писателя позже вспоминал: «В начале семидесятых годов<sup>6</sup> я снова встретился с ним и, сойдясь довольно близко, пользовался его неизменным дружеским расположением в течение последних пятнадцати лет его жизни» [Кони б: 279].

У Гончарова и Кони был большой круг общих знакомых. Их встречи происходили чаще всего на Моховой у Гончарова, иногда — в доме Кони или у общих знакомых — в семьях А. В. Никитенко и редактора журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича. Многие годы Кони

---

ветник», «Деловой человек» и др.) отметил В.Г. Белинский: «...есть все, что требуется от водевиля: и острота, и веселость, и легкость, и игривость, забавные положения и маленькие куплеты». С 1840 г. Кони — издатель художественно-литературного журнала «Пантеон русского и всех европейских театров». В 1841–1843 гг. он становится редактором «Литературной газеты».

<sup>1</sup> Мария Дмитриевна Львова-Синецкая (1795–1875) — московская актриса, хозяйка театрального салона в 1820–1830-е гг.

<sup>2</sup> Александр Егорович Варламов (1801, Орск — 1848, Санкт-Петербург) — русский композитор, капельмейстер, певец, музыкальный критик.

<sup>3</sup> Бродяга — фр.

<sup>4</sup> Николай Иванович Надеждин (1804–1856) — известный критик, издатель журнала «Телескоп», профессор Московского университета.

<sup>5</sup> Семён Мартынович Ивашковский (1774–1850) — русский филолог, профессор Московского университета.

<sup>6</sup> Скорее, речь должна идти о середине или, еще более вероятно, о конце 1870-х гг.: первое письмо Гончарова к Кони с воспоминаниями о его отце относится к 1879 г.

проявлял в отношении писателя чуткость и доброту, Гончаров же воспринимал Кони (так же, как актера И. И. Монахова [Гончаров 2000в: 539–559], а ранее И. И. Льховского) почти как своего сына, радовался его успехам, подбадривал в неприятностях, наставлял.

Питая глубокий интерес к судебной реформе 1864 г. (многие ее деятели вращались в кругу «Вестника Европы» и были связаны с его редактором Стасюлевичем, как и Гончаров), к деятельности мировых судов, горячим поборником которых выступил Кони [См.: Смолярчук], романист постоянно следил за служебной карьерой своего молодого друга. Писатель проявлял интерес к его профессиональным трудам. Когда в 1888 г. судебные речи Кони вышли отдельной книгой, Гончаров сумел оценить значение этой книги, предрекая ей долгую жизнь и говоря о важной услуге, оказанной русскому обществу, науке и «множеству живущих и грядущих поколений» [Гончаров 2000б: 518]. Романист ценил в деятельности Кони тот «гуманитет», который во многом объединял весь круг «Вестника Европы», наследовавшего традиции Карамзина и его журнала<sup>1</sup>.

Благодаря Кони Гончаров следил за самыми острыми вопросами современной русской жизни. Судя по всему, писатель был посвящен своим другом в ход судебного процесса над Верой Засулич, революционеркой, стрелявшей в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Ведь, как известно, Кони был председателем суда на этом процессе, носившем сенсационный характер: 31 марта 1878 г. Петербургский окружной суд вынес Засулич оправдательный приговор. 16 февраля 1888 г., ободряя своего друга, Гончаров писал: «Имея в портфеле “Дело Засулич”, — Вам нельзя предаваться грусти, когда в ящике Пандоры осталась такая “надежда”» [Гончаров 2000б: 518].

Старый писатель переживал за судьбу Кони, пытался наставить его, уберечь от опрометчивых шагов. Он ценит и мощный интеллект, и наблюдательность, и тонкий вкус своего собеседника, обсуждает с ним самые разные литературные вопросы, делится воспоминаниями. В их беседах часто звучат имена А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Я. П. Полонского, Д. В. Григоровича, П. Д. Боборыкина, Э. Золя и др.

---

<sup>1</sup> В «Заметках по поводу юбилея Карамзина» Гончаров писал о своем великом земляке как о «проводнике знания, возвышенных идей, благородных, нравственных, гуманных начал в массу общества».

На теплое чувство старого романиста Кони старался отвечать «нежностью к его сединам» и глубоким, неизменным уважением к его мощному таланту. Уже в зрелом возрасте перечитывая «Обломова», он признавался, что «снова плакал над некоторыми страницами, снова восхищался этим чудным, точно из мрамора вырубленным языком, и горделиво вспоминал», что имеет «честь пользоваться... дружбою» писателя. «Нет! — убеждал он Гончарова. — Вы должны издать Ваши сочинения. Вы не имеет права лишать молодое поколение Вашей родины возможности наслаждаться этими облагораживающими строками» [Кони 8: 53–54]. Признавая за Гончаровым «непререкаемое право» на одно из самых выдающихся мест в первом ряду русских писателей, Кони старался помочь исследователям его творчества. Так, например, он передал французскому ученому А. Мазону материалы, на основе которых тот написал две работы: «Гончаров как цензор» [Мазон 1911: 471–484] и «Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова» [Мазон 1912]. Свою переписку с писателем он отдавал для ознакомления Е. Ляцкому, работавшему над книгой о Гончарове.

При этом, несмотря на самые почтительные, порою действительно «нежные» чувства к сединам Гончарова, Кони не всегда спокойно, без раздражения воспринимал те свойства характера своего старшего друга, которые появились у него на склоне лет. Это и обострившаяся подозрительность, нашедшая выражение в гончаровской «Необыкновенной истории», и «некоторая доза старческого эгоизма» и т. п. Отзвуки такого раздражения обнаруживаются в некоторых письмах Кони — не к самому Гончарову, но к другим его корреспондентам<sup>1</sup>.

Свое понимание личности писателя Кони раскрыл в юбилейной статье 1912 г., хотя упоминания об авторе «Обломова» есть и в очерке «Петербург (Воспоминания старожила)», и в подобном же очерке-воспоминании о журнале «Вестник Европы». В научной литературе до сих пор не было попытки проанализировать мемуарный очерк Кони о Гончарове, а между тем этот очерк, взятый в контексте событий, связанных с публикацией «Необыкновенной истории», позволяет глубже вникнуть в отношения Гончарова с Кони и, в каком-то смысле, со всем кружком либерального «Вестника Европы». В рамках настоящей рабо-

---

<sup>1</sup> Подробно о том, как складывались отношения Гончарова и Кони см.: [Мельник 1985: 163–165; Гончаров 1994а: 59–73; Гончаров 1994б: 82–95; Гончаров 2006: 434–534].

ты мы ограничимся лишь самым главным. В юбилейный 1912 год очерк Кони начинался как экспромт, как вдохновенно произнесенная сразу за предшествующим оратором речь: «Только что говоривший на этой кафедре академик Овсяннико-Куликовский уже сказал нам о художнике великой силы, о бытописателе, умевшем в ярком образе отметить такое присущее нашей жизни явление, как обломовщина. Но рядом и в неразрывной связи с творчеством писателя стоит его личность. На ней хочу я преимущественно остановиться». На самом деле Кони долго готовился к этой юбилейной речи — и работал над нею весь 1911 год. Так, за год до упомянутого заседания, 8 апреля 1911 года, он пишет короткую записку театральному деятелю, барону Николаю Васильевичу Остен-Дризену: «В поисках материала для биографии И. А. Гончарова я обнаружил записочку, напоминающую, что <нрзб.> записка Писарева<sup>1</sup> к И. А. Не знаете ли, где она напечатана?»<sup>2</sup>. Через два дня он пишет письмо к великому князю Константину Константиновичу Романову: «Я воспользовался несколькими днями сравнительной свободы от “каторжных работ на Сахалине у Синего моста”, чтобы заняться нашим другом Гончаровым и перечитать его огромную переписку с М. М. Стасюлевичем и семейством академика Никитенко, предоставленную в полное мое распоряжение» [Кони 1911: 425].

Помимо переписки Гончарова со Стасюлевичами и Никитенками, в руки Кони попала и насыщенная по содержанию переписка писателя с великим князем Константином Константиновичем (что нашло прямое

---

<sup>1</sup> Скорее всего, речь идет о неизвестной записке к Гончарову Модеста Ивановича Писарева (1844–1905), с 1885 г. являвшегося актером Александринского театра. У Гончарова было о чем поговорить с актером, чья театральная карьера началась в Симбирске. В 1865 г. Писарев окончил юридический факультет Московского университета. Творческий путь его начался в московских театральных кружках. С 1859 г. он выступал на любительской сцене. Профессиональную сценическую деятельность начал в 1867 г. в Симбирске. Работал в Оренбурге, городах Поволжья, Урала, затем в Москве (театр А. А. Бренко, театр Корша и др.), с 1885 г. — в Александринском театре в Петербурге. Как и Гончаров, Писарев глубоко почитал талант А. Н. Островского, ему довелось играть роль Несчастливцева в пьесе Островского «Лес» и Русакова в пьесе «Не в свои сани не садись». Это был один из образованнейших русских актеров своего времени. М. И. Писарев присутствовал на похоронах Гончарова.

<sup>2</sup> ГПБ. Ф. 263. Арх. Н.В. Дризена, № 179. Письмо А.Ф. Кони барону Н.В. Дризену от 8 апреля 1911 г.

отражение в его очерке). Очевидно, князь Константин, выступивший вместе с Кони инициатором проведения юбилейных торжеств Гончарова 15 апреля 1912 г. в заседании Разряда изящной словесности Императорской академии наук, передал ему для ознакомления свою переписку с автором «Обломова».

Кони хотя и был знаком с Гончаровым много лет, подавляющую часть воспоминаний посвятил художественной стороне его творчества, цитируя большие отрывки из его произведений. Свои мастеровито составленные рассуждения «об условиях творчества Гончарова», о его творческих установках, он строит на статьях В. Г. Белинского, А. В. Дружинина (сравнение с Рубенсом), Н. А. Добролюбова, А. Ляцкого (автобиографический характер творчества). Некоторые его утверждения (например, о том, что у Гончарова в произведениях не видно юмора), его общая — весьма поверхностная — характеристика романов Гончарова (например: «Обыкновенная история» была своего рода эпопеей личности, приходящей в столкновение с прозой жизни», «его Обломов так же бессмертен, как Чичиков»<sup>1</sup>) и пр. вызывают удивление и свидетельствуют о том, что Кони не понимал глубины произведений своего друга и не был посвящен автором в сокровенные стороны его творчества («Напрасно я ждал, что кто-нибудь... прочтет между строками»). Зная, что тираж «Вестника Европы» его друга М. М. Стасюлевича во время публикации «Обрыва» вырос почти вдвое (с 3 с половиной до пяти тысяч экземпляров<sup>2</sup>) и что публика жадно читала новое произведение Гончарова, Кони все-таки в оценке романа исходит из реакции враждебной Гончарову или, во всяком случае, весьма банальной в своих суждениях и ошибочной критики: «...русская жизнь опередила медлительную отзывчивость художника». Кони привык вычитывать в произведениях художественной литературы очевидную злобу дня, и в этом плане Гончаров его мало устраивал: «У него... нет в произведениях политических или общественных вопросов, которые ставились бы или разрешались автором» [Кони 1989: 56].

---

<sup>1</sup> Кони настаивает на этой параллели, считая, видимо, Чичикова одним из главных представителей русского национального характера в литературе, и повторяет ее в статье «Похороны Тургенева» [Кони 1989: 174].

<sup>2</sup> До опубликования «Обрыва» журнал выходил ежеквартально, именно публикация романа Гончарова сделал «Вестник Европы» ежемесячным изданием.



Что касается личной стороны жизни Гончарова, то Кони хотя и отдал должное общественной значимости и «широкой кисти» автора «Обломова», едва ли не большую часть в освещении личности писателя посвятил слабым, негативным сторонам его характера. Он двусмысленно ставит рядом разговор о роли «страстей» в жизни Гончарова и о привязанности его к семье вдовы Трейгут<sup>1</sup>, особенно к одной из ее дочерей, Сане, к которой писатель действительно относился как к собственному ребенку. В то время такое публичное утверждение должно было звучать сенсационно и вызывать отнюдь не юбилейные отголоски. Кони также говорит о «болезненном настроении души» Гончарова — и непропорционально большое для юбилейного выступления место уделяет конфликту Гончарова и Тургенева, безусловно становясь на сторону последнего. Кони считает, что «чувство к Тургеневу» у Гончарова было «если и не прямо враждебное, то, во всяком случае, полное крайнего недоверия, смешанного с какою-то смутною боязнью» [Кони 1989: 66].

При этом следует учесть: Гончарова знаменитый юрист знал целых пятнадцать (как он утверждает) лет, а с Тургеневым встречался несколько раз в жизни. Тем не менее он лишь единожды, в 1912 г., выступил с юбилейной речью о Гончарове, зато о Тургеневе в книге его воспоминаний написано целых четыре статьи: «Тургенев» (1908), «Памяти Тургенева» (1909), «Савина и Тургенев» (1918), «Похороны Тургенева» (1921). В этих статьях чувствуется неподдельная, искренняя симпатия к автору «Отцов и детей», восторг перед его «нежными и пленительными контурами», которые напоминают ему «письмо Рафаэля». Во многих суждениях о Тургеневе Кони допускает сильно преувеличенные похвалы. Например, забывая о таких образах, как Татьяна Ларина («Евгений Онегин»), Маша Миронова («Капитанская дочка»), Настасья Филипповна из «Идиота», Наташа Ростова из «Войны и мира», Вера, Марфенька, Татьяна Марковна («Обрыв»), он пишет в одной из статей о Тургеневе: «Ему принадлежит первое место среди изобразителей русской женщины и толкователей ее душевного строя».

Отношения Гончарова и Кони до некоторых пор представлялись в «парадном» виде: стареющий писатель поддерживает трогательные дружеские отношения с молодым талантливым юристом: с обеих сто-

---

<sup>1</sup> В последнее время исследователи стали затрагивать эту щекотливую тему и публиковать новые материалы [Балакин 2014].

рон проявляется уважение и желание поддержать советом или делом. На самом деле все обстоит, на наш взгляд, несколько сложнее. Отношения семидесятилетнего Гончарова к Кони (которому еще нет и сорока) — однолинейны и просты. Он видит в нем умного, волевого, талантливого человека, глубокого, тонкого, хорошо информированного собеседника, с которым ему легко и которому многое, хотя и не все, можно доверить, которому можно пожаловаться на здоровье, погоду, а поскольку Кони близок ему по взглядам, то порою и на власти. В плане же «самораскрытия» исключительное место занимала в жизни Гончарова только С. А. Никитенко, которая знала более других. Во всяком случае, Кони — бесценный носитель информации о представителях «верхушки общества», о проблемах русской жизни, выплескивающих в суде, о проходящих реформах и пр. Если учесть, что Кони глубоко и сострадательно понимал личность и обстоятельства жизни Гончарова, внося в эту жизнь атмосферу обновления и движения (дефицит которых уже испытывал Гончаров в 1870-е — 1880-е гг.), то можно понять, как ценил свою дружбу с Кони стареющий писатель.

Со стороны Кони наблюдается несколько иное — в силу возрастных и прочих причин — отношение. Надо учесть, что для него Гончаров — живой, хотя и не первый в России, классик литературы, дружба с которым, конечно, льстит, но не всегда приносит одни радости. Гончарова как писателя мемуарист очень ценит. Кони аккуратно собирает письма Гончарова, обсуждает с ним литературные вопросы, интересуется его планами. В юбилейном 1912 г. он мог сказать в своей речи: «В начале семидесятых годов я снова встретился с ним и, сойдясь довольно близко, пользовался его неизменным дружеским расположением в течение последних пятнадцати лет его жизни. В моем жилище хранится толстая пачка его писем, полных живого и глубокого интереса, а со стен на меня смотрят Вера с Марком Волоховым и Марфинька в оригинальных рисунках Трутовского с посвящением их автору «Обрыва», завещанные мне последним» [Кони 1989: 55].

Конечно, мало кто проявлял к Гончарову в эти годы столько человеческого сочувствия, как Кони, особенно в начале их знакомства. Обсуждение с М. Г. Савиной в 1880 г. домашней жизни Гончарова однозначно свидетельствует в пользу искренности и сердобольности Кони, которые лишь с годами несколько притупятся. Кони пишет Савиной 15 июля 1880 г.: «Есть тяжкие физические страдания, когда

помочь нельзя, а можно лишь на время дать забыть боль. То же и в области душевной. Годы уединения, вдумчивости, беспощадного анализа себя и других и притом с точки зрения обязательных идеалов и их реального невыполнения... хмель общих восторгов и тупая боль равнодушного забвения толпою чрез несколько лет... могут сложиться так, что тихое страдание станет неразрывным с самою жизнью, — что явится известная ревность к своему горю и тоске, которая будет щетиниться при всяком прикосновении к этому уже даже любящей и нежной руки» [Ежегодник: 185]. Эта уникальная характеристика личности Гончарова могла быть дана только человеком, которому писатель в какой-то мере «раскрыл» себя<sup>1</sup>. И далее о ситуации с Трейгутами: «Прибавьте к этому, — завязанный судьбою в усталом сердце узел последней (последней!) привязанности к ребенку<sup>2</sup>; а за этим ребенком грубое, капризное, тупо-злое и неразвитое существо, которое мнет бессознательно нежные и эстетические чувства старика<sup>3</sup> <...> Разорвать этот узел невозможно, вплестись в него светлую нитью нельзя, ибо грубая ткань не терпит соседства ткани нежной... Я тоже немало думал об этом — и горько, любя и сострадая, думал... Полагаю, что снисхождение к брюзжанию, умение слушать, — отсутствие горячих споров (его не переучишь, да и кто имеет право переделывать внутренний строй убеждений человека мыслившего и страдавшего?) — и нелицемерное искреннее уважение со стороны окружающих — облегчает нашего друга... <...> Утолять боль его души Вы умеете как только умеет русская женщина, — но прекратить его страдания — едва ли кто-либо в силах» [Ежегодник: 185].

Но в жизни Кони приходится иметь дело не столько с писателем, автором, сколько с пожилым человеком, с его «старческим брюзжанием», болезнями, бесконечными «зазываниями в гости» в свободное время, которого решительно нет у занятого юриста высочайшей квалификации, даже с капризами и пр. Весьма характерно в этом отношении письмо к С. А. Андреевскому от 21 июля 1883 г. из Дуббелна, где Кони отдыхал вместе с Гончаровым. «В довершение всего, — писал он, — меня ужасно стесняет Гончаров, — не тот окруженный ореолом

---

<sup>1</sup> Очевидно, что Гончаров сказал Кони то же самое, что написал в письме к С. А. Никитенко от 8 июня 1860 г. из Мариенбада.

<sup>2</sup> Речь идет о Сане Трейгут.

<sup>3</sup> Служанка Гончарова Александра Ивановна Трейгут [Балакин 2014].

художественной красоты старец, который написал “Обрыв” и т. д., а будничным, брюзгливым, капризным, ослабевшим памятью, мелочным и опустившийся старик, — больной и грустный — это правда, но в большом количестве нестерпимый, несмотря на мой терпеливый характер и нежную по отношению к нему деликатность...» [Кони 8: 62].

Притом надо учесть, что Кони воспринимает ценность писательской работы глазами критиков, которые в период 1870–1880-х гг. Гончарова не жаловали. Великие произведения Гончарова остались в прошлом, теперь он пишет мемуарного характера мелкие очерки, вроде «Слуг старого века», газетные статьи, от всех скрываемую «Необыкновенную историю» (до 1920 г. Кони, скорее всего, не знал о существовании этого произведения). Понять глубину гончаровского творчества было Кони не по плечу. В глазах критиков (а значит, и в его собственных) в русской литературе Гончаров занимает далеко не первое место, уступая не только Л. Толстому и Ф. Достоевскому, но и — безусловно — Тургеневу. Именно с ними хотелось бы общаться больше, не эпизодически, но судьба распорядилась по-своему — и на долгие годы Кони был связан — и связан тесно — как раз с Гончаровым.

Особенно выделяет Кони фигуру Тургенева. Как уже было сказано, он посвящает ему целых четыре мемуарных статьи. Он ценит автора «Отцов и детей» за его «аннибалову клятву», за поэтизацию народной жизни, за открытость «злобе дня», за искренность переживания, за лиричность и возвышенность — за все, что у Гончарова было сокрыто «за семью печатями» и выражено не в открытой форме, а в структуре образов и тщательно продуманной архитектонике его романного эпоса. По своим личностным и художественным свойствам Тургенев был современникам гораздо понятнее и симпатичнее, чем Гончаров, который — в своей концентрированности и необычайной емкости, в глубине высочайших идеалов, сравнимых с образами Данте, Шекспира, Сервантеса, — начинает открываться лишь в последнее время.

В своем понимании Гончарова и Тургенева мемуарист Кони был не одинок. Напротив, он выражал вполне усредненное мнение. Он буквально боготворил мало известного ему лично Тургенева и слишком хорошо изучил за пятнадцать лет все душевные и бытовые «язвы» Гончарова. Тургенев для него всегда фигура общественно значимая, всегда «представитель» — то России, то «западничества», посланник России в

Европе, «представитель» молодого поколения и пр.<sup>1</sup> Гончаров же чаще видится ему в бытовом контексте: дряхлеющий талант, даже «опустившийся старик». Подобное восприятие идет от многолетнего терпеливого несения «стариковского брюзжания» и пр. Гончарова.

Кони много раз становился невольным свидетелем негативного отношения Гончарова к Тургеневу — и вынужден был молчать или успокаивать Гончарова общими словами. В набросках к своим воспоминаниям о Гончарове он писал: «Я старался избегать в моих беседах с Гончаровым касаться этого вопроса, хотя бы определенным намеком» [Балакин 2012: 98]. Это копилось многие годы. Может быть, поэтому он невольно стал связывать этих писателей и сначала подсознательно, а потом открыто сравнивать их между собою. Весьма характерно, что почти все негативные характеристики Гончарова из уст Кони звучат тогда, когда речь заходит о Тургеневе и его конфликте с автором «Обрыва». Значительную часть его юбилейной речи о Гончарове занимает конфликт автора «Обломова» с Тургеневым, что не совсем укладывается в жанр юбилея, тем более что симпатии мемуариста явно на стороне Тургенева. Судя по ссылкам, Кони не знает, что Гончаров написал «Необыкновенную историю» — и создает свою версию событий (как и опасался романист, версию «протургеневскую»), причем, в противопоставлении Тургеневу, он готов обвинить не одного только Гончарова, но и других русских и иностранных писателей: «Известно, что Тургенев, в силу каких-то неуловимых особенностей и мягкости своего характера, вызывал у некоторых сомнение в своей искренности и этими своими свойствами возбуждал против себя. Достаточно припомнить злобный памфлет Достоевского в “Бесах”, ссору Тургенева с Толстым, отзыв о нем Додэ в “Trente ans de Paris”. Чем-нибудь из этих своих свойств он, вероятно, бессознательно уязвил и Гончарова, и на этой почве у последнего выросла так называемая навязчивая идея, подобная той, которой, как ныне оказывается, страдал драматург Стриндберг. Такая идея, как известно, сначала является лишь временами, отгоняемая рассудком, но затем рассудок перестает с нею бороться, и она овладевает вполне сознанием своей жертвы и образует своего рода безумный круг представлений, в котором уже все ей подчиняется и ею внушается...

---

<sup>1</sup> Однако Кони не слишком пощадил Тургенева, постоянно возвращаясь к теме двусмысленного и даже униженного положения писателя в любви к Полине Виардо.

Так было и с Гончаровым, который вообще отличался мнительностью» [Кони 1989: 67].

Не удивительно, что Кони довольно бесцеремонно обращается с памятью Гончарова в своих «воспоминаниях». Более чем за год до своей речи Кони пишет великому князю К. К. Романову: «Не скрою, что я вынес из этой работы крайне тягостное впечатление, омрачающее образ Ивана Александровича во многих отношениях. Мне больно было читать эти мелко исписанные страницы, развертывающие картину крайнего, почти чудовищного самолюбия, зависти, чревоугодничества и эгоизма, картину недружелюбия к людям (главным образом к Тургеневу), доходящего до галлюцинаций, до мании преследования, до настоящей клинической картины безумия». Создается впечатление, что Кони пятнадцать лет общался не с Гончаровым, а с каким-то другим человеком, которого только сейчас узнал по его письмам к общим знакомым. А вот и главное: «Я искал чего-либо положительного для будущих “поминок” о нем — и нашел одно отрицательное» [Кони 1911: 425]. Лишь деликатность великого князя, о которой, конечно, знал Кони, не позволила Константину Константиновичу урезонить молодого друга Гончарова, к которому К. Р. питал глубочайшее уважение. Возможно, впрочем, что великий князь внес определенные коррективы — и Кони в своей речи все-таки отметил многие положительные личностные качества автора «Обломова».

Конечно, встает резонный вопрос: при столь чудовищной характеристике личности Гончарова — как тесно и много Кони общался с писателем целых пятнадцать лет? Может быть, главную роль в его дружбе с Гончаровым играло самолюбие и лестное звание «близкого друга» Гончарова, от которого осталась на руках «толстая пачка его писем, полных живого и глубокого интереса»? Недаром современный исследователь пишет о мемуарах Кони: «Строго говоря, это не мемуары, а литературный этюд, анализирующий основные мотивы и характер творчества Гончарова, с гомеопатическими вкраплениями личных воспоминаний. Даже сам Кони не относил его к мемуарам: формируя второй том своей книги “На жизненном пути” (СПб., 1912), он включил его не в раздел “Из воспоминаний”, а в раздел “Публичные чтения”, где собрал речи и статьи, имеющий гораздо более официальный характер. Многолетний друг Гончарова, Кони не счел нужным поделиться житейскими воспоминаниями о нем, рассказать о многочисленных бесе-

дах со знаменитым писателем, почти не упомянул о его личной жизни, бедах и заботах — подобно тому, как он рассказал о людях, с которыми был гораздо менее близок. Это тем более удивительно, что к созданию подробного мемуарного очерка Кони готовился долго и тщательно» [Балакин 2014: 3–24].

Где же кроется корень этой раздвоенности Кони? Неужели он лишь из-за одного «старческого брюзжания», «чревоугодия» и пр. Гончарова позволил себе эту видимую всем двойственность, не украшающую мемуариста? Разумеется, нет. Как ни странно, главным здесь явился вопрос о конфликте Гончарова и Тургенева. Причины такого интереса к конфликту со стороны кружка Стасюлевича и «Вестника Европы» до конца пока трудно объяснить. Но вот характерные факты. А. Ю. Балакин документально доказывает, что фактически идею о мемуарах подал Кони Евгений Ляцкий еще в 1906 г.: «Право, Анатолий Федорович, сделайте это — не для себя, для Ив<ана> Ал<ександровича>, для Вест<ника> Европы и для всей России» (письмо от 18 декабря 1906 г.). Еще 27 ноября 1903 г. Ляцкий обратился к Кони с просьбой о встрече для беседы о писателе: «Дело в том, что теперь заходит речь об издании моих старых и последних статей о Гончарове в виде отдельной книги, и мне было бы в высшей степени желательно поговорить с Вами в этом направлении» [Балакин 2014: 5]. Кони передавал Ляцкому письма Гончарова на протяжении всего 1905 года. Ляцкий с чрезвычайной деликатностью и уважением к памяти Гончарова знакомился с этими письмами: «Они драгоценны... и я читал их с чувством бережного и застенчивого умиления». Тем не менее Ляцкий не воспользовался письмами Гончарова к Кони, объясняя это следующим образом: «Склад гончаровской личности — строй его мыслей и чувств — сказался в письмах гораздо бледнее, чем в его сочинениях, и тот высокий лиризм, который одухотворял лучшие страницы его романов, ни в одном из известных нам писем не поднялся над уровнем приветливой доброты старика, недовольного всем миром, и только для ближайших друзей сберегающего маленький оазис в своей душе. В письмах своих, капризных по тону, то меланхолических и ворчливых, то светски любезных и остроумных, Гончаров был не более субъективен (или объективен, по терминологии старой критики), чем в своих романах; нигде не показались нам они тою исповедью души, которая знаменует собой горячее и непосредственное излияние переполнившего душу чувства» [Балакин 2014: 7].

По сути, Ляцкий говорит о том, что письма к Кони раскрывают лишь быт Гончарова, но не его высокие чувства и мысли, что лишь подтверждает наше мнение, что Гончаров далеко не во все посвящал своего молодого друга, а возможно, и «Необыкновенную историю» стал писать в начале 1870-х гг., опасаясь враждебных трактовок его отношений с Тургеневым, которым тем более поверят, что исходить они будут от «близких друзей». Недаром в примечаниях к «Необыкновенной истории» он прямо относит Стасюлевича к своим тайным противникам в конфликте с Тургеневым: «...эта рукопись не должна быть вверяема — никому из личных друзей, или, вернее, покорнейших слуг Тургенева: например, Стасюлевича... где, конечно, будут всячески его оправдывать — а меня обвинять» [Гончаров 2000а: 278]. И писатель оказался прав! В воспоминаниях Кони о Гончарове не только затронут вопрос о конфликте с Тургеневым, но и дается вполне «тургеньевская» интерпретация событий. «Милльон терзаний» Гончаров написал в предчувствии того, что его объявят, как и Чацкого, сумасшедшим («мнительным»). Интересно, что и опубликовал свою статью он в «Вестнике Европы» в 1872 году [Гончаров 1872: 429–460].

В 1870-е гг. (основная часть датирована декабрем 1875 — январем 1876 гг.) пишется самая печальная книга Гончарова — «Необыкновенная история». Помимо других, в ней затронута важнейшая для писателя тема — тема современного состояния умов, отношения русского общества к религии. Но главное — в «Необыкновенной истории» излагается сложная история отношений Гончарова с его «другом-соперником» в литературе Тургеневым. Гончаров писал здесь: «Завещаю — моим наследникам и вообще всем тем, в чьи руки и в чье распоряжение поступит эта рукопись, заимствовать из нее и огласить, что окажется необходимым и возможным — во 1-х — не прежде пяти лет после моей смерти — и во 2-х — в таком только случае, если через Тургенева, или через других в печати возникнет и утвердится убеждение (основанное на сходстве моих романов с романами как Тургенева, так и иностранных романистов), что не они у меня, а я заимствовал у них — и вообще, что я шел по чужим следам!

В противном случае, то есть если хотя и будут находить сходство, но никакого предосудительного мнения о заимствовании выражать не будут, то эту рукопись прошу предать всю огню или отдать на хранение в Им<ператорскую> Публ<ичную> библиотеку, как материал для



будущего историка русской литературы. Прошу убедительно об этом и надеюсь, что воля умершего будет уважена!

Само собою разумеется, что эта рукопись не должна быть вверяема — никому из личных друзей, или, вернее, покорнейших слуг Тургенева: например, Стасюлевича, Анненкова, <Н. Н.> Тютчева и всего этого круга — где, конечно, будут всячески его оправдывать — а меня обвинять. — Тонкой, пронизательной критики у нас теперь нет — хотя есть умные перья, но большею частью) — публицисты, а не критики. А одна глубокая, пронизательная и беспристрастная критика и может только внимательно взвесить, обсудить и решить спор подобного рода. Она и скажет: кто из нас прав, кто виноват, не теперь, так со временем. А его друзья (или слуги — у него друзей не было) будут только пристрасно вопиять за него и против меня. Иван Гончаров. Декабрь 1875 и январь 1876 года» [Гончаров 2000а: 278].

На наш взгляд, Кони долгое время и после своих «мемуаров» 1912 г. не знал о существовании «Необыкновенной истории» или, во всяком случае, не держал рукопись в руках. До некоторых пор невозможно было проверить достоверность его утверждений, что перед своей смертью в 1901 г. С. А. Никитенко передала ему это загадочное произведение Гончарова. Авторы предисловия к переписке Кони и Радлова принимают на веру версию, изложенную в письме Кони к директору Публичной библиотеки Э. Л. Радлову. Однако в этой версии — сплошные загадки: «В 1901 г. С. А. Никитенко скончалась. Незадолго до смерти она передала рукопись “Необыкновенной истории” А. Ф. Кони в полное его распоряжение (об этом он вспоминает в публикуемом ниже письме к Э. Л. Радлову). Ознакомившись с рукописью, Кони пришел к выводу, что она должна быть уничтожена как документ, компрометирующий память Гончарова; эту точку зрения разделял и Н. А. Котляревский, которому Кони дал прочитать “Необыкновенную историю”. Тем не менее привести свою мысль в исполнение он не решился и рукопись не уничтожил. Что произошло с этой рукописью в дальнейшем, остается неразрешимой загадкой. По-видимому, она каким-то образом исчезла из архива Кони, и на протяжении двух десятилетий судьба ее не прослеживается — вплоть до начала 1920 г., когда некто А. И. Старицкий обратился в Российскую Публичную библиотеку с предложением приобрести у него автограф “Необыкновенной истории”» [О первой публикации «Необыкновенной истории»: 305]. На самом деле Никитенко не

передавала рукопись Кони — и не могла передать по важной причине. Позднейшие исследования показали, что рукопись была передана другому человеку, родственнику Никитенко А. И. Старицкому. Не принято во внимание, что Никитенко являлась самым доверенным лицом Гончарова и, конечно, была в курсе, от кого хотел уберечь эту рукопись писатель (Стасюлевич и его круг, куда входил и Кони). Во-вторых, еще более важна фигура Александра Ивановича Старицкого, который не просто хранил рукопись два десятка лет и потом продал ее в Публичную библиотеку. Его записка говорит о том, что он был не случайным человеком в этой истории. Кони, пытаясь повлиять на решение Радлова, объявил себя чуть ли не наследником Гончарова, утверждая, что в 1901 г. Никитенко передала ему рукопись «Необыкновенной истории», но она пропала. Получается, что Кони имел полное моральное право диктовать, что именно следует сделать с рукописью, а некто Старицкий выступает в его письме (хотя он почему-то и не утверждает этого прямо) в незавидной роли похитителя рукописи (по умолчанию).

Однако Кони не мог письменно обвинить Старицкого — по нескольким причинам. Во-первых, он прекрасно знал, что Никитенко передала рукопись именно Старицкому, а во-вторых, потому, что Старицкий был слишком известным человеком. В 1994 г. сотрудница Ульяновского музея Гончарова Антонина Васильевна Лобкарева опубликовала статью «К вопросу об истории архива И. А. Гончарова» [Лобкарева: 297–302]. В этой статье она рассказала о судьбе той части гончаровского архива, которая перешла к С. Никитенко. Судя по статье А. В. Лобкаревой, новые факты были получены, в частности, благодаря знакомству с дочерью Старицкого — Екатериной Александровной Старицкой, которая вернулась из эмиграции в 1956 г. («жила в Москве, на Зубовской площади, в бывшем доме Любоцинских»). Екатерина Старицкая рассказала о своем отце и о судьбе архива. А. И. Старицкий родился 28 сентября 1858 г., в 1882 г. окончил юридический факультет Московского университета. Служил в министерствах юстиции и внутренних дел, в 1893 г. назначен Орловским вице-губернатором, в 1897–1899 гг. был Екатеринославским вице-губернатором. С 1899 г. он служил в Государственном совете. Столь известного человека трудно и опасно было объявлять мошенником или похитителем рукописи. Письмо Кони к Радлову показывает, что его автор странно умалчивает, куда пропала рукопись, если С. Никитенко ее передала ему в руки.

«По словам Е. А. Старицкой, С. А. Никитенко завещала ее отцу (А. И. Старицкому. — В. М.) хранившийся у нее архив гончаровских рукописей и писем. Перед отъездом в эмиграцию А. И. Старицкий через Н. А. Котляревского продал архив Гончарова в Пушкинский Дом за 120 тысяч рублей. Пакет с “Необыкновенной историей” и рукописи очерков “Опять Гамлет на русской сцене”, “Материалы для критической статьи об Островском” в то же время были проданы в ГПБ» [Лобкарева: 297–298]. Еще часть рукописей Старицкий передал своим родственникам: профессору Петербургского университета историку И. М. Гревсу и А. М. Фокину.

Следует обратить внимание и на отношение Старицкого к возложенной на него С. Никитенко задаче: довести рукопись до издания. Причем посредством передачи ее в Публичную библиотеку, как и завещал Гончаров. Старицкий неукоснительно соблюдает волю как писателя, так и С. Никитенко. Он выдержал длительный срок, на чем настаивал Гончаров, а затем сделал характерную приписку: «...убедительно прошу обратить внимание на пожелания, выраженные покойным как на первой странице рукописи, так и на последней странице 50 листа, и уверить, что Публичная библиотека в точности исполнит волю умершего» [О первой публикации «Необыкновенной истории»: 307]<sup>1</sup>. То есть он ставит библиотеке условие при передаче рукописи: только получив заверения Радлова в том, что «Необыкновенная история» будет опубликована, он передает ее в Публичную библиотеку. Очевидно, и он, и С. Никитенко сознавали, что люди, принадлежащие к кружку Стасюлевича, попытаются под любыми благовидными предлогами не допустить рукопись до издания. Все эти факты абсолютно исключают историю Кони о том, что Никитенко передала рукопись «Необыкновенной истории» ему. Таким образом, публикаторы явно ошиблись, говоря, что рукопись «каким-то образом исчезла из архива Кони и на протяжении двух десятилетий судьба ее не прослеживается». Исследователи не решились на тот вывод, который с очевидностью следует из письма Кони к Радлову: почти невозможно сомневаться, что Кони уничтожил бы рукопись «Необыкновенной истории», если бы она

---

<sup>1</sup> Старицкий передал рукопись в апреле 1920 г. Первая публикация его записки была осуществлена О. А. Демиховской: [Гончаров. Новые материалы: 92]. Затем О. А. Демиховская опубликовала ее повторно [Старицкий. 449–450].

была в его руках.

Это подтверждается самим ходом событий. Когда в 1920 г. он действительно узнал о существовании «Необыкновенной истории», Кони приложил все усилия для того, чтобы рукопись была уничтожена. Об этом свидетельствует его переписка с Радловым. В письме к нему от 1 августа 1920 г. Кони использует всю возможную аргументацию для того, чтобы «Необыкновенная история» была не только не опубликована, но и каким-либо образом уничтожена: «Глубокоуважаемый Эрнест Львович! При последнем нашем свидании, в Публичной библиотеке, Вы разрешили мне написать Вам по поводу предполагаемого издания рукописи И. А. Гончарова, в которой он говорит о своих отношениях к Тургеневу и характеризует последнего. Рукопись эта первоначально была отдана в мое распоряжение покойной дочерью А. <В> Никитенко<sup>1</sup>. Прочитав этот поток подозрений Тургенева в своеобразном плагиате сюжетов, злобных инсинуаций по его адресу и ругательных характеристик, я пришел в мое время к выводу, что это больной бред (Гончаров, несомненно, страдал “навязчивыми идеями”, в чем по отношению к Тургеневу я имел случай лично и много раз убедиться, о

---

<sup>1</sup> Скорее всего, Кони был информирован об общем содержании рукописи самой С. А. Никитенко, но не читал ее. Об этом говорит и то, что цитат из нее нет в речи 1912 г., в то время как достоверно использованные документы (письма к Стасюлевичу, Никитенкам, Константину Романову) цитируются. Кроме того, в письме к К. Романову Кони сам перечисляет источники, которыми он пользуется. Среди них нет гончаровской рукописи. Характер и направленность использования попавших к Кони материалов подсказывают, что если бы рукопись «Необыкновенной истории» хоть какое-то время была в его руках, он бы не удержался от цитирования если не кусков текста, то отдельных выражений или слов, поскольку его речь построена так, чтобы убедить слушателей в тесной связи его с Гончаровым, необыкновенной его информированности и пр. Она пестрит выражениями, которые для специалистов могут показаться и глубокими, и одновременно удивляющими свежестью мысли и обнажающей истину парадоксальностью. Ссылка на «Необыкновенную историю» в таком случае была бы весьма кстати, даже если бы она носила затухающий характер. Кстати сказать, на самом деле речь Кони состоит из расхожих, но мастерски подобранных переложений забытой критики 1840–1850-х гг., цитат из писем, общих наблюдений, порою не лишенных интереса, и пр. Она лишена глубины, искренности и любви к Гончарову, хотя и считается едва ли не лучшим мемуарным документом о Гончарове.

чем, при удобном случае, могу Вам подробно рассказать). *Лучше всего* согласно надписи, сделанной самим Гончаровым на рукописи, *ее уничтожить* (курсив наш. — В. М.). С этим был согласен и Н. А. Котляревский, который прочел рукопись Гончарова<sup>1</sup>. Я не знаю, по какому поводу и праву передал Старицкий эту рукопись в Библиотеку и сделал ли он какие-либо оговорки<sup>2</sup>, но с большой печалью думаю о возможности появления ее в печати и предания внутренней драмы больного человека праздному любопытству толпы... При нравственной неразборчивости рукопись Гончарова может дать обильный материал для выводов, недостойных ни памяти Гончарова и Тургенева, ни их громадных заслуг для родины. Опубликование рукописи было бы сверх того явным нарушением завета Гончарова, с такой силой выраженного в “Нарушении воли”. Неужели автор “Обломова” не заслуживает хотя бы такого снисхождения? У меня есть весьма много его весьма интимных и очень интересных писем, и я их дал в Академию наук на хранение, не желая нарушать его посмертной воли. Как было бы хорошо, если бы Библиотека сохранила рукопись Гончарова в своих недрах, не выпуская ее на “базар житейской суеты”. Простите, что отнимаю у Вас время и верьте искренней преданности и уважению А. К.» [О первой публикации «Необыкновенной истории»: 306–307].

Тем не менее, ввиду большого историко-литературного значения «Необыкновенной истории», дирекция Библиотеки приняла решение публиковать рукопись небольшим тиражом в «Сборнике Российской Публичной библиотеки». Дело в том, что директор Публичной библиотеки, Эрнест Львович Радлов, был истинным ученым, для которого просьба Кони уничтожить архивный материал, а с ним, возможно, и истину, какой бы она ни была, должна была представляться абсолютно неприемлемой. Радлов (20.11.1854, Петербург — 28.12.1928, Ленинград)

---

<sup>1</sup> Характерна эта ссылка на академика Нестора Александровича Котляревского, также принадлежащего к кругу «Вестника Европы». Академик Котляревский, автор статьи о Тургеневе-драматурге, в 1908–1909 гг. был редактором отдела беллетристики «Вестника Европы», а в 1910–1914 гг. опубликовал в «Вестнике Европы» цикл статей «Из истории общественного настроения в России в шестидесятых годах прошлого века» [Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь 3: 111].

<sup>2</sup> Очевидно, что Кони опасается условий, действительно выдвинутых Старицким и, возможно, известных ему (об обязательном опубликовании рукописи «Необыкновенной истории»).

был философом, автором эстетических и литературных трудов, переводчиком. Его перу принадлежат труды по античной этике, логике, психологии, истории философии. После окончания историко-филологического факультета Петербургского университета он был направлен в Берлин и Лейпциг, где готовил свою диссертацию (1877–1879). Вернувшись в Россию, начал службу в Публичной библиотеке, совмещая ее с педагогической работой и чтением лекций. В 1880 г. он познакомился с философом В. С. Соловьевым, знакомство перешло в многолетнюю дружбу. Радлов воспринял как основу своего философского творчества идею Соловьева о всеединстве и цельном знании и ко всем философским вопросам подходил с той точки зрения, что «только безусловное начало, Бог, придает земной жизни смысл и ценность» [Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь 5: 240]. Работы Радлова отличали блестящая эрудиция и научная основательность. Как директор Публичной библиотеки Радлов проявил себя с самой лучшей стороны. Я. П. Гребенщиков писал ему: «С Вами жить было легко. Была твердая уверенность, что пока Радлов жив и управляет, библиотека... не станет на путь влияний (*sic!* но, может быть, правильнее — «виляний?»), непорядочных заискиваний, недостойных компромиссов» [Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь 5: 242]. Мог ли такой человек и ученый пойти на уничтожение рукописи русского классика? Совет Кони уничтожить «Необыкновенную историю» был отвергнут.

Но на этом дело не прекратилось, что показывает, с одной стороны, то, сколь важен был для круга «Вестника Европы» «тургеневский вопрос», а с другой — какими средствами и с какой энергией готов был этот круг пользоваться для достижения своей цели.

К лету 1923 г. рукопись была подготовлена к печати. Тогда Кони «предпринял вторичную попытку воспрепятствовать предстоящей публикации» [О первой публикации «Необыкновенной истории»: 305]. Он пишет новое письмо Э. Л. Радлову, который снова отвечает отказом: «...всему Петербургу (литературному, конечно) известно, что рукопись Гончарова находится в Библиотеке, и многие в ней заинтересованы и требуют ее опубликования. Если Библиотека сама не возьмет на себя это дело, то она не может воспрепятствовать другим исполнить его. Конечно, если б это дело было грязное, то его следовало бы предоставить другим, но Библиотека посмотрела на него несколько иначе. Ведь Библиотека приобрела рукопись от г. Старицкого за боль-

шие деньги и без всяких ограничений ее прав владения, к тому же воля самого Гончарова, как это видно из двух записей, сделанных его рукою, клонилась к тому, чтобы рукопись была опубликована ввиду ее историко-литературного значения. Ничто не мешало Гончарову сжечь рукопись, если он этого желал; но он этого не сделал, следовательно, имел в виду возможность появления ее в печати; ценил он свое произведение как характеристику литературных нравов известной эпохи. Хотя в рукописи и встречаются резкие, грубые и злые выражения, свидетельствующие о неуравновешенном состоянии писавшего, но в сущности она не прибавляет ничего нового по отношению к противнику и не может особенно повредить его памяти: отношение Гончарова к Тургеневу было — как это Вам, конечно, хорошо известно — предметом обсуждения как в печати, так и в разных докладах<sup>1</sup> [О первой публикации «Необыкновенной истории»: 307].

В январе 1924 г. «Необыкновенная история» была опубликована [Гончаров 1924: 7–189], а рукопись сохранена в архивах Публичной библиотеки. Но и здесь Кони не успокоился. Отбрасывая всякие этические нормы и недавно выраженную заботу о репутации Гончарова (и Тургенева), он пошел на крайние меры с целью указать на виновника «необыкновенной истории» (Гончаров как в воду глядел, сказав: «А его друзья (или слуги — у него друзей не было) будут только пристрастно вопиять за него и против меня»). Теперь его задачей было публично объявить Гончарова психически больным человеком. 17 ноября 1924 г. он выступил в ленинградском Доме ученых с лекцией о Гончарове. Анонимный корреспондент «Красной газеты» писал об этом выступлении: «Анатолий Федорович убедительно доказал, что “Необыкновенная история” — плод тяжелого болезненного состояния Гончарова. Книга эта не может дать ничего ни исследователю, ни читателю. Она дает только обильный материал для психиатрического диагноза» [Аноним].

О пристрастии Кони и всего кружка Стасюлевича к Тургеневу писатель догадывался задолго до своей кончины. В «Необыкновенной истории» Гончаров с горечью говорит об этом: «Он (Тургенев. — В. М.)...

---

<sup>1</sup> В последних словах звучит явная ирония, т. к. «доклад» об отношениях Тургенева и Гончарова включил в юбилейную речь 1912 г. сам Кони. Вся заключительная часть письма также звучит не без иронии: «Думаю, что и мне, и Вам придется, как это ни грустно, примириться с неизбежным и заглушить в себе скорбь...»

поспешил сблизиться с Стасюлевичем и начал хлопотать для него... перенес свое перо из “Русск<ого> вест<ника>” в “Вестн<ик> Европы”... и они снюхались вполне друг с другом, *угадав один в другом две сходные во многом (в гибкости) натуры* (курсив наш. — В. М.). Я заметил, еще вскоре после “Обрыва”, что Стасюлевич допрашивается искусно у меня о том, что я хочу писать далее. Конечно, я молчал, угадывая его умысел... Я с тех пор стал удаляться от Стасюлевича — несмотря на их обоих с женой усиленные приглашения — видя, что у него с Тургеневым состоялось секретное соглашение. Стасюлевич даже скрывал от меня, что часто видится с Тургеневым во время поездок за границу, а говорил, что видел его мельком, полчаса, и даже отзывался о нем с легкой небрежностью, чтоб отвести мне глаза. Но поздно, я уже все видел» [Гончаров 2000а: 244–245]. В своих воспоминаниях Кони приводит дуббельнский эпизод 1880 г.: «Последний отголосок этого состояния видел и я, когда летом 1880 года в Дуббелне, ссылаясь на трудность приобретения и дороговизну ставшего редкостью «Обломова», я уговаривал его издать полное собрание своих сочинений. “Такой совет мне мог бы дать, — сказал мне, мрачно потупясь, Гончаров, — лишь недруг: разве вы хотите, чтобы меня стали обвинять в том, что я обокрал Тургенева?!” Мне стало ясно, что навязчивая идея завершила свой круг...» [Кони 1989: 66]. Слова Гончарова, конечно, кажутся странными, тем более учитывая, что Кони позиционирует себя как его «молодой друг». Однако мы ничего не знаем о контексте разговора. Возможно, таким образом Гончаров лишь дал понять Кони, что видит и понимает его (и Стасюлевича) истинное отношение к себе и к Тургеневу. Как показали события после его смерти, он не ошибся в Кони. Что же касается переиздания полного собрания сочинений, то Гончаров после этого разговора переиздал его трижды: в 1884, 1886 и в 1889 гг., никак не опасаясь, что его обвинят в литературной краже. В его словах, обращенных к Кони, видится, скорее, выраженное вслух прозрение.



### Список литературы

<Аноним>. А. Ф. Кони о Гончарове // Красная газета. Л., 1924. Вечерний выпуск. № 263. 18 ноября. С. 3. Цит. по: И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. Т. 102. С. 306.

*Балакин Алексей*. Ненаписанные воспоминания А. Ф. Кони о Гончарове: попытка реконструкции // Десятая Международная летняя школа по русской литературе: статьи и материалы. Цвелодубово, Ленинградская обл., 2014. С. 3–24.

*Балакин А. Ю.* Неизвестные страницы воспоминаний А. Ф. Кони о Гончарове // Русская литература. 2012. № 2. 256 с.

*Гончаров И. А.* Мильон терзаний: («Горе от ума» Грибоедова. Бенефис г. Монахова, ноябрь 1871 г.) // Вестник Европы. 1872. № 3. С. 429–460.

*Гончаров И. А.* Необыкновенная история: (Истин. события) / ред. и примеч. Д. И. Абрамовича // Сб. Рос. Публ. 6-ки. Пг.: Брокгауз — Ефрон, 1924. Т. 2. Материалы и исследования. Вып. 1. С. 7–189.

*И. А. Гончаров*. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000а. Т. 102. 736 с.

*И. А. Гончаров*. Новые материалы о жизни и творчестве писателя. Ульяновск: Приволжское книжн. изд-во, 1976. 160 с.

[*Гончаров И. А.*] Письма И. А. Гончарова к А. Ф. Кони / вступ. ст., публ., коммент. В. И. Мельника // Симбирский вестник. Ульяновск, 1994а. Вып. 2. С. 59–73.

[*Гончаров И. А.*] Письма И. А. Гончарова к А. Ф. Кони / предисл., коммент., публ. В. И. Мельника // Гончаровские чтения. Ульяновск, 1995. С. 82–95.

[*Гончаров И. А.*] Письма И. А. Гончарова к А. Ф. Кони / вступ. ст., коммент. и публ. В. И. Мельника и Т. И. Орнатской // И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000б. Т. 102. С. 434–534.

[*Гончаров И. А.*] Письма И. Гончарова к И. И. Монахову / публ. И. Н. Сухих // И. А. Гончаров. Материалы и исследования. Литературное наследство. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000в. Т. 102. С. 539–559.

Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л.: Наука, 1978. 296 с.

*Кони А. Ф.* Воспоминания о писателях / сост., вступ. ст. и коммент. Г. М. Мироннова, Л. Г. Миронова. М.: Правда, 1989. 656 с.

*Кони А. Ф.* Письмо к К. К. Романову от 10 апреля 1911 г. // И. А. Гончаров в кругу современников. Незданная переписка / сост., подг. текста и коммент. Е. К. Демиховской, О. А. Демиховской. Псков, 1997. 454 с.

*Кони А. Ф.* Собр. соч.: в 8 т. М.: Юридическая литература, 1966–1969.

*Лобкарева А. В.* К вопросу об истории архива И. А. Гончарова // И. А. Гончаров: материалы Междунар. конф. к 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1994. С. 297–302.

*Мазон А.* Гончаров как цензор: (К освещению цензорской деятельности И. А. Гончарова) // Рус. старина. 1911. № 3. С. 471–484.

[*Мазон А. А.*] Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова, собранные А. А. Мазоном. СПб.: Тип. т-ва п/ф «Электро-тип. Н. Я. Стойковой», 1912. 95 с.

Мельник В. И. И. А. Гончаров и А. Ф. Кони. Неопубликованные письма // Волга. Саратов. 1985. № 12. С. 163–165.

Мельник В. И. «Театральная эстетика» И. А. Гончарова: истоки интереса и эволюция // Кино — Театр: коллективная монография / редкол.: Д. В. Родионов и др. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2017. 224 с.

О первой публикации «Необыкновенной истории» (Письма А. Ф. Кони и Э. Л. Радлова) / предисл. редакции «Литературного наследства»; публ. О. А. Демиховской // И. А. Гончаров. Материалы и исследования. Литературное наследство. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. Т. 102. С. 305–307.

Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 3. М.: Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1994. 591 с.

Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 5. М.: Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2007. 800 с.

Смолярчук В. И. Анатолий Федорович Кони. М.: Наука, 2001. 220 с.

Старицкий А. И. [Заявление в Публичную библиотеку] // И. А. Гончаров в кругу современников: Неизданная переписка / сост., подг. текста и коммент. Е. К. Демиховской и О. А. Демиховской. Псков, 1997. 454 с.

#### References

<Anonim>. A. F. Koni o Goncharove [A. F. Koni about Goncharov]. *Krasnaja gazeta* [Red newspaper]. L., 1924, Vechernij vypusk, № 263, 18 nov., pp. 3. Cit. po: I. A. Goncharov. *Novye materialy i issledovanija. Literaturnoe nasledstvo* [I. A. Goncharov. New materials and research. Literary legacy]. Moscow, IMLI RAN, Nasledie Publ., 2000, vol. 102, pp. 306. (In Russ.)

Balakin Aleksej. *Nenapisannye vospominanija A. F. Koni o Goncharove: popytka rekonstrukcii* [A. F. Kony's unwritten memories of Goncharov: an attempt at reconstruction]. *Desjataja Mezhdunarodnaja letnjaja shkola po russkoj literature: Stat'i i materialy* [Tenth international summer school in Russian literature: Articles and materials]. Cvelodubovo, Leningradskaja obl., 2014, pp. 3–24. (In Russ.)

Balakin A. Ju. *Neizvestnye stranicy vospominanij A. F. Koni o Goncharove* [Unknown pages of A. F. Kony's memoirs about Goncharov]. *Russkaja literature* [Russian literature], 2012, № 2, 256 p. (In Russ.)

Goncharov I. A. *Millon terzanij*: (“Gore ot uma” Griboedova. Benefis g. Monahova, nojabr' 1871 g.) [A million torments: (“Woe from wit” Griboyedov. Benefit G. Monakhov, November 1871)]. *Vestn. Evropy* [Herald Of Europe], 1872, № 3, pp. 429–460. (In Russ.)

Goncharov I. A. *Neobyknovennaja istorija: (Istin. sobytija)* [An extraordinary story: (the true events)], red. i primech. D. I. Abramovicha. *Sb. Ros. Publ. b-ki*. Petersburg, Brokgauz–Efron, 1924, vol. 2. Materialy i issled., issue 1, pp. 7–189. (In Russ.)

I. A. Goncharov. *Novye materialy i issledovanija. Literaturnoe nasledstvo* [I. A. Goncharov. New materials and research. Literary legacy]. Moscow, IMLI RAN, Nasledie Publ., 2000, vol. 102, 736 p. (In Russ.)

I. A. Goncharov. *Novye materialy o zhizni i tvorchestve pisatelja* [I. A. Goncharov. New materials about the life and work of the writer]. Ul'janovsk, Privolzhskoe knizhn. izd-vo Publ., 1976, 160 p. (In Russ.)

[Goncharov I. A.] *Pis'ma I. A. Goncharova k A. F. Koni* [Letters of I. A. Goncharov to A. F. Kony], vstup. st., publ., comment. V. I. Mel'nika. *Cimbirskij vestnik* [Simbirsk Herald]. Ul'janovsk, 1994, vol. 2, pp. 59–73. (In Russ.)

[Goncharov I. A.] *Pis'ma I. A. Goncharova k A. F. Koni* [Letters of I. A. Goncharov to A. F. Kony], predisl., comment., publ. V. I. Mel'nika. *Goncharovskie chtenija* [Goncharov's readings], Ul'janovsk, 1995, pp. 82–95. (In Russ.)

[Goncharov I. A.] *Pis'ma I. A. Goncharova k A. F. Koni* [Letters of I. A. Goncharov to A. F. Kony], vstup. st., comment. i publ. V. I. Mel'nika, T. I. Ornatskoj. *I. A. Goncharov. Novye materialy i issledovanija. Literaturnoe nasledstvo* [I. A. Goncharov. New materials and research. Literary legacy]. Moscow, IMLI RAN, Nasledie Publ., 2000, vol. 102, pp. 434–534. (In Russ.)

[Goncharov I. A.] *Pis'ma I. A. Goncharova k I. I. Monakhovu* [Letters of I. Goncharov to I. I. Monakhov], publ. I. N. Suhih. *I. A. Goncharov. Materialy i issledovanija. Literaturnoe nasledstvo* [I. A. Goncharov. New materials and research. Literary legacy]. Moscow, IMLI RAN, Nasledie Publ., vol. 102, 2000, pp. 539–559. (In Russ.)

*Ezhegodnik rukopisnogo otдела Pushkinskogo Doma na 1976 god* [Yearbook of the manuscript Department of the Pushkin House for 1976]. Leningrad, Nauka Publ., 1978, 296 p. (In Russ.)

Koni A. F. *Vospominanija o pisateljah* [Memories of the writers], sost., vstup. st. i komment. G. M. Mironova, L. G. Mironova. Moscow, Pravda Publ., 1989, 656 p. (In Russ.)

Koni A. F. *Pis'mo k K. K. Romanovu ot 10 aprelya 1911 g.* [Letter to K. K. Romanov dated April 10, 1911]. *I. A. Goncharov v krugu sovremennikov. Neizdannaja perepiska* [I. A. Goncharov in the circle of contemporaries. Unreleased correspondence], sost., podg. teksta i komment. E. K. Demihovskoj, O. A. Demihovskoj. Pskov, 1997, 454 p. (In Russ.)

Koni A. F. *Sobr. soch.: v 8 t.* [Collected works: in 8 vol.]. Moscow, Juridicheskaja literature Publ., 1966–1969.

Lobkareva A. V. *K voprosu ob istorii arhiva I. A. Goncharova* [To the question of the history of the archive of I. A. Goncharov]. *I. A. Goncharov: Materialy Mezhdunarodnoj konferencii k 180-letiju so dnja rozhdenija I. A. Goncharova* [Proceedings of The international conference on the 180th anniversary of I. A. Goncharov]. Ul'janovsk, 1994, pp. 297–302. (In Russ.)

Mazon A. *Goncharov kak cenzor: (K osveshheniju cenzorskoj dejatel'nosti I. A. Goncharova)* [Goncharov as censor :( to the coverage of the censor activity of I. A. Goncharov)]. *Rus. starina* [Russian antiquity], 1911, № 3, pp. 471–484. (In Russ.)

[Mazon A. A.] *Materialy dlja biografii i harakteristiki I. A. Goncharova, sobrannye A. A. Mazonom* [Materials for biography and characteristics of I. A. Goncharov, collected by A. A. Mazon]. Sankt-Peterburg, tip. t-va p/f «Jelektro-tip. N. Ja. Stojkovojoj», 1912, 95 p. (In Russ.)

Mel'nik V. I. *I. A. Goncharov i A. F. Koni. Neopublikovannye pis'ma* [I. A. Goncharov and A. F. Kony. Unpublished letters]. Volga. Saratov, 1985, № 12, pp. 163–165. (In Russ.)

Mel'nik V. I. «*Teatral'naja jestetika*» I. A. Goncharova: *istoki interesa i jevoljucija* [“Theatrical aesthetics” by I. A. Goncharov: sources of interest and evolution]. Kino —

Teatr: kolektivnaja monografija, redkoll.: D. V. Rodionov i dr. Moscow, GCTM im. A. A. Bahrushina Publ., 2017, 224 p. (In Russ.)

*O pervoj publikacii «Neobyknovennoj istorii» (Pis'ma A. F. Koni i Je. L. Radlova)* [On the first publication of “Extraordinary history” (Letters of A. F. Kony and E. L. Radlov)], predisl. redakcii «Literaturnogo nasledstva», publ. O. A. Demihovskoj. *I. A. Goncharov. Materialy i issledovanija. Literaturnoe nasledstvo* [I. A. Goncharov. Materials and research. Literary legacy]. Moscow, IMLI RAN, Nasledie Publ., 2000, vol. 102, pp. 305–307. (In Russ.)

*Russkie pisateli. 1800–1917. Biograficheskij slovar'* [Russian writer. 1800–1917. Biographical dictionary]. Moscow, Nauchnoe izdatel'stvo «Bol'shaja Rossijskaja jenciklopedija» Publ., 1994, vol. 3, 591 p. (In Russ.)

*Russkie pisateli. 1800–1917. Biograficheskij slovar'* [Russian writer. 1800–1917. Biographical dictionary]. Moscow, Nauchnoe izdatel'stvo «Bol'shaja Rossijskaja jenciklopedija» Publ., 2007, vol. 5, 800 p. (In Russ.)

Smoljarchuk V.I. *Anatolij Fedorovich Koni*. Moscow, Nauka Publ., 2001, 220 p. (In Russ.)

25. Starickij A. I. [*Zayavlenie v Publichnuju biblioteku*]. *I. A. Goncharov v krugu sovremennikov. Neizdannaja perepiska* [I. A. Goncharov in the circle of contemporaries. Unreleased correspondence], sost., podg. teksta i komment. E. K. Demihovskoj, O. A. Demihovskoj. Pskov, 1997, 454 p. (In Russ.)

© 2020. А. В. Марков

Российский государственный гуманитарный университет  
г. Москва, Россия

### Категория жизнеподобия в духовной прозе А. М. Бухарева

Один из интереснейших русских духовных писателей XIX в. А. М. Бухарев (архимандрит Феодор) претендовал на создание системы интерпретации как библейских текстов, так и данных художественной литературы с целью обоснования политического проекта воцерковления жизни. В статье доказывается, что, кроме библейской экзегезы и своеобразной рецепции официального духовно-просветительского проекта эпохи Александра I, Бухарев опирался на эстетику, на данные русского искусства. В русской живописи, наследовавшей европейскому классицизму, натуральное было понято не как одна из категорий в риторической системе, но как создание повышенного эффекта присутствия, потенциально иконичного, вписанного в различные библейские или духовные контексты. Эту близость жизнеподобия иконе Бухарев осмыслил с опорой на собственные наблюдения над живописью, под влиянием общения и длительной полемики с Гоголем и усвоения его представлений о размежевании изобразительных искусств, но главное, исходя из собственного географического воображения. Согласно Бухареву, влияние Церкви на общество затрагивает не только историческое, но и географическое состояние последнего, и духовная живопись близка иконе в том, что может по-новому собрать и качественно разделить землю как географическую и политическую реальность. Проведенное исследование позволяет уточнить как соотношение между официальными эстетическими идеалами эпохи Александра I и эпохи Николая I, так и объяснить интеллектуальные факторы становления русского литературного реализма.

**Ключевые слова:** Александр Матвеевич Бухарев, Гоголь, духовная проза, жизнеподобие, жизнестроительство, история русской живописи, русская литературная критика, социальное христианство, географическое воображение, эпоха Николая I.

**Информация об авторе:** Марков Александр Викторович, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет, ул. Чаянова, д. 15, 125993, г. Москва, Россия.

E-mail: markovius@gmail.com

**Дата поступления статьи в редакцию:** 27.12.2019

**Дата публикации статьи:** 24.03.2020

**Для цитирования:** Марков А. В. Категория правдоподобия в духовной прозе А. М. Бухарева // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 1. С. 196–223. DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-196-223



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

© 2020. Alexander V. Markov

Russian State University for the Humanities  
Moscow, Russia

### Category of aesthetical likeness in the spiritual prose by Aleksandr Matveyevich Bukharev (archimandrite Theodore)

One of the most interesting Russian spiritual writers of the 19th century, Aleksandr Matveyevich Bukharev (archimandrite Theodore), claimed to create a system of interpretation of both biblical texts and literary-artistic data, in order to justify the political project of the churching of life. I prove that in addition to biblical exegesis and a kind of reception of the official spiritual and educational project of the era of Alexander I, Aleksandr Bukharev relied on aesthetics, on the data of Russian art. In Russian painting, which had inherited European classicism, the natural was understood as creation of an increased presence effect, potentially-iconically inscribed in various biblical or spiritual contexts rather than as one of the categories in the rhetorical system. The icon was understood by Aleksandr Bukharev as one that comprehends this closeness of life-likeness, relying on his own observations on painting, influenced by communication and disputes with Nikolai Gogol and by assimilation of his ideas about the delimitation of the visual arts, but most importantly, based on his own geographical imagination. According to Aleksandr Bukharev, the influence of the Church on society affects not only the historical, but also the geographical state of the latter, and spiritual painting is close to the icon in that it can reassemble and qualitatively divide the earth as a geographical and political reality. The study allows us to clarify both the relationship between the official aesthetic ideals of the era of Alexander I and the era of Nicholas I, and to explain the intellectual factors of the formation of Russian realism.

**Keywords:** Aleksandr Matveyevich Bukharev, Nikolai Gogol, spiritual prose, life-likeness, life-building, Russian painting history, Russian literary criticism, social Christianity, geographical imagination, era of Nicholas I of Russia.

**Information about the author:** Alexander V. Markov, DSc in Philology, Full Professor, Russian State University for the Humanities, Chayanova st. 15, 125993, Moscow, Russia.

E-mail: markovius@gmail.com

**Received:** December 27, 2019

**Published:** March 24, 2020

**For citation:** Markov A. V. Category of aesthetical likeness in the spiritual prose by Aleksandr Matveyevich Bukharev (archimandrite Theodore). Two centuries of the Russian classics, 2020, vol. 2, № 1, pp. 196–223. (In Russ.) DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-196-223

Духовный писатель Александр Матвеевич Бухарев (1822–1871) является примером не простой вовлеченности в литературную жизнь эпохи, которой отличались и самые авторитетные духовные писатели XIX века, как еп. Игнатий Брянчанинов и еп. Феофан Говоров, следившие за журнальной литературной жизнью и выступавшие по общественным вопросам. Для нашего исследования важнее другое: исходя из данных современной литературы, Бухарев укреплял свою собственную историософскую позицию, вписывавшую литературу как систему влиятельных утверждений в Священную историю как историю длящегося откровения, пророчеств и предупреждений. Это не означает, что литературным произведениям приписывался пророческий смысл, но, в чем и состоит наше первое предположение, что литературное воображение могло быть встроено в пророческую образность не на уровне референции, а на уровне форм представлений, способности представлять мироздание, действие Божией воли и свободы человека. В таком случае оправдание литературы оказывается частью такого представления отношения Церкви и мира, в котором вплоть до последних (эсхатологических) событий пространство гражданского существования делится на качественно различные области, и литературное сообщение находит себе место в одной из этих областей, в «притворе» или «дворе» храма.

В исследованиях по судьбе богословского и литературно-критического наследия Бухарева в дальнейшей русской литературе указывается, что его попытка представить мировую историю пространственно, как храм со своим алтарем и своим двором для внешних, и тем самым оправдать и античную, и современную ему светскую литературу как служащие общему христианскому делу предвосхищает метафизические поиски «нового религиозного сознания» конца XIX — начала XX века. Если в работах 2000-х годов идея воцерковления культуры Бухарева рассматривалась как жест доброй воли, к которому он призы-

вал монашество [Никифоров: 47], или как предвестие более широкого церковно-общественного движения XX века [Титова: 46], то в исследованиях последних лет описательный подход сменился более продуманным подходом интеллектуальной истории (даже если этот метод прямо не называется). Так, И. В. Воронцова усматривает в Бухареве предшественника не только идеи «святой плоти» Д. С. Мережковского, наследующей через ряд опосредований такому освящению истории, но и эстетики русского символизма, в котором жесткие конструкции производства смыслов с помощью ограниченного числа символов напоминают то, как Бухарев выводил из поэзии Гомера или из романов Тургенева и Чернышевского христианские спасительные смыслы, просто рассматривая не характеры, а действие самых общих законов сюжетосложения [Воронцова 2013: 10–12]. И. В. Воронцова как крупнейший специалист по истории русского «неохристианства» реконструировала в ряде статей и своеобразную бухаревскую школу, находя адептов его сочинений и считая, что уже в ней происходит сдвиг от христианизации культуры к христианизации «плоти», и что в этом во многом виноват сам Бухарев [Воронцова 2017: 55]. А. М. Назарова считает, что настаивая на необходимости христианизации светской жизни и выводя это не из внутренней этической, а из текстовой необходимости, из того, что тексты Писания с соответствующими указаниями не могли не появиться, Бухарев, как и А. С. Хомяков, отчасти определил облик русской религиозной философии, ориентирующейся на литературную критику как на образец и ресурс [Назарова: 22]. Для Назаровой связующим звеном между Бухаревым и позднейшей русской мыслью стало понятие метода не как руководства для разума, но как результата разумного выбора, причем к методам может быть отнесен и литературный опыт, опыт внимательного чтения современной литературы. Наконец, есть попытки увидеть в этой идее христианизации культуры практическое приложение некоторых богословских тем Бухарева, таких как почитание Богородицы [Марков, Мартьянова: 130], которое было в эпоху «нового религиозного сознания» прочитано уже в ином интеллектуальном ключе, близком символистскому пониманию духовного рыцарства.

Уже этот краткий очерк современного изучения наследия мыслителя говорит о том, насколько он был сложной фигурой не только в смысле духовной жизни, но и в смысле соотношения своих усилий



проповедника с состоянием и изменчивостью литературного поля. Более того, эти две сложности невозможно размежевать: достаточно указать, что в своих литературных предпочтениях, в понимании задач проповеди и в гомилетических приемах архимандрит Феодор Бухарев ориентировался на митрополита Филарета (Дроздова), но отказ последнего одобрить печатание его самого масштабного труда, «Исследования Апокалипсиса», привел к обиде Бухарева на епископат и прошению о снятии сана. Бухарев парадоксальным образом отказался от монашества, хотя считал, что в истолковании Апокалипсиса он следует и аскетическому, и социальному настроению митрополита Филарета, видя в новозаветной книге указание не только на библейские события, но и на то, как Церковь должна действовать в современности. Как и митрополит Филарет, Бухарев стремился извлекать моральные уроки из современности, уже потом проверяя эту мораль Словом Божиим, но, вероятно, не обладая той мощью истолкования догматов, которой обладал митрополит, мысля скорее образно, чем понятийно, он настолько увлекся своими толкованиями и своим видением большого будущего православного христианства, что почувствовал монашество для себя тесным. В литературоведческой статье мы не можем, конечно, разбирать эти духовные перипетии, но нам достаточно указать на общую рамку связи наследия Бухарева и нового христианства (нового религиозного сознания) начала XX века: понимание сложившихся церковных институтов как слишком инертных в сравнении с глубиной религиозного переживания, а значит, усиленное внимание к данным философии, литературы и искусства как поддерживающих основательность и даже определенный универсализм этого переживания. И для Бухарева, и для Мережковского было одинаково важно читать современную литературу и знакомиться с произведениями искусства, дающими самые глубокие переживания, чтобы поддерживать не только социальную вовлеченность, но и некоторый универсализм осмысления окружающего мира, в котором навстречу общей христианской этике выступает индивидуальная эстетика самого критика, и любые усилия литературного или художественного критика способствуют целостному пониманию происходящего в мировой истории, открывая, какие еще символы спасения христианство принесло в мир культуры. Однако, несмотря на то, что критика тогда часто заменяет богословие и философию, есть суще-

ственное различие между позицией Бухарева и его ценителей в эпоху русского модернизма: а именно, определенное государственничество этого мыслителя, соединяющееся при этом с признанием духовной свободы не только как чувства (как это было у модернистов), но как этического и вероучительного императива.

Хотя во всех этих исследованиях справедливо указывается, что главным программным сочинением А. М. Бухарева стали не его статьи журнального типа, составлявшие часть тогдашней литературно-критической полемики, но его историософский труд «Исследования Апокалипсиса» [Бухарев 1916], при этом ни разу не указано ядро этой историософии, разобравшись с которым мы лучше поймем и литературно-критическую позицию этого автора. Это понятие «гражданства» и гражданских обязанностей, так что «гражданство» оказывается общим горизонтом обязанностей как небесных, так и земных. В «Исследованиях Апокалипсиса» он, по нашим подсчетам, употребляет слова «гражданский» и «гражданство» не менее 200 раз. Такое употребление позволяет объединить гражданскую добродетель и церковный подвиг в общей структуре статусов, положений, определяющих распределение полномочий в государственном управлении и вообще в ходе исторических событий. Так как благодаря заслугам целого ряда мировых научных школ (Кембриджская школа исторических понятий К. Скиннера, Школа истории социально-политических понятий Р. Козеллека, Школа исследования философских непереводаемых понятий Б. Кассен) достаточно хорошо установлено соотношение латинского понятия «статус», ставшего обозначением государства во многих языках, системы статусов в государстве и проблем церковно-государственных отношений в разных странах [Хархордин и др.], то мы и будем опираться на выводы, в частности книги под редакцией О. Хархордина, в интерпретации мысли Бухарева. При этом мы исходим и из достижений новейшей философии, рассматривающей с опорой на политологические идеи Э. Канторовича и М. Фуко «политическое тело» как подверженное «порче» [Такер: 50], только исследуем то, как Бухарев мыслил не только порчу, но и духовное возрождение этого тела. Мы покажем, что идеи Бухарева не сводимы как к политическому благочестию эпохи Александра I (которому посвящены многочисленные и новейшие работы Е. Ю. Назаренко [Назаренко],

А. Ю. Минакова [Минаков] и других), ни к позднейшей рецепции мысли Бухарева в «неохристианстве».

В своей историософии Бухарев исходил не только из исторического, но и из географического воображения. Для него освящение государства и его учреждений является историческим фактом константиновской эпохи: «гражданство, с равноапостольным Константином предавшись христианству, стало представлять в себе уже *святой град*», это «гражданство, в котором водворилась св. Церковь» (здесь и далее курсив автора) [Бухарев 1916: 8]. Иначе говоря, политическая реальность понимается им как определенный способ действия Церкви, которая, конечно, не может пока обратить в христианство всё человечество, но может обособить христианские и языческие сообщества благодаря определенным социальным ритуалам, по образцу ритуалов и деления пространства в ветхозаветном храме. Таким образом, иконический принцип оказывался для Бухарева принципом структурирования пространства, а в конце концов, и социальной реальности: мысля храм, каждый гражданин земного царства мог обратиться к ветхозаветному храму, от него — к новозаветному, и тем самым сделаться и гражданином Царствия Небесного. Проповедь у Бухарева, к чему он скрыто и призывал, поэтому могла осуществляться не только на основе отработанных гомилетических приемов, но и на основе тех аналогий, которые получают как бы официальный статус, при этом принадлежа миру пространственного и почти что живописного воображения.

Все социальные ритуалы, обеспечивающие настоящий и грядущий триумф христианства, согласно Бухареву, имеют иконический прообраз в Ветхом Завете: «...должно взять во внимание значение избранного народа с его святым градом, храмом и всем Феократическим гражданством» [Бухарев 1916: 213]. Но в христианское время кроме исторического движения появляется географическое. Римская империя постоянно подвергается испытаниям, язычники страдают, но страдают и христиане: «...такие бедствия, по-видимому, должны касаться и членов гражданства небесного, т. е. христиан; так как и они принадлежали к составу Империи» [Бухарев 1916: 267]. Иначе говоря, империя владеет всем пространством исторического действия, всеми концами света, и чтобы представить и страдания христиан в географическом плане, и далее не отходить от географи-

ческого критерия качественной оценки выполнения гражданских обязанностей, гражданства небесного и гражданства земного, в том или ином месте.

Победа христианства в империи поэтому означала не просто исторический проигрыш язычников, но и отведение им некоторого места, в котором они расположатся: будучи под властью христианской империи, они даже не приняв благодати Христовой, «беспрепятственно могущие приникать в ее область, состоящие под предваряющею благодатию Христовою, и даже доставленные в некоторую зависимость от ее владычества, хотя только во внешнем или гражданском своем быте; то это, по апокалипсическому образу представления, и будет не иное что, как предоставление сим язычникам *внешнего* двора Христовой Церкви» [Бухарев 1916: 334]. Иначе говоря, язычники, живущие в соответствии с социальными ритуалами христианского государства, оказываются локализованы в некотором воображаемом пространстве. Таким образом, опять гомилетический принцип заменяется обновленным воображением: быть безучастным к спасению, равнодушным или еще не проникнуться спасительной проповедью — это не значит быть вне тех или иных слов или понятий, но быть на том месте внутри некоторой гражданской композиции, внутри некоторого стремящегося к идеалу государства, которое оспаривается КАК(?) зависимое, рабское, недостаточное, преисполненное нужды и недостатка, так что достаточно просто поддерживаемой эстетической интуиции воли, чтобы обратиться в христианство и применить уже приобретенные навыки гражданских обязанностей к новой жизни в небесном гражданстве, к обязанностям гражданина Царствия Небесного. Опять же, задачи статьи не позволяют рассмотреть истоки таких представлений в рецепции государственничества Цицерона (трактат «Об обязанностях»), в мысли Контрреформации и в памятниках, созданных на основании такого учения об обязанностях, таких как «О должностях пресвитеров приходских» (1776) святителя Георгия Конисского. Нам важно только то, что Бухарев не ограничивал систему обязанностей только действиями клира, но считал, как и А. С. Хомяков, что церковный народ является полноценным субъектом церковной истории, причем субъектом не только нравственным, выбирающим правду Божию, но и гражданским, благодаря определенному пространственному воображению видящим, как работают

регулятивы этой правды, например, когда могут обратиться язычники или когда чиновники действуют во благо стране — и самим своим участием в гражданской жизни Царствия Небесного такой субъект способствует христианизации всех гражданских обязанностей и отношений.

Конечно, можно было бы сказать, что Бухарев (тогда архимандрит Феодор) был просто увлечен яркими пространственными образами последней книги Нового Завета. Но на самом деле сквозное чтение его труда показывает, что его пространственные рассуждения о связи гражданских обязанностей в широком смысле, гражданского триумфа Римской империи как владеющей всеми четырьмя концами земли, устройства храма с качественным подразделением пространств и императива победы благодати Христовой над злом и нестроением мира укоренены в истолковании одного из терминов книги Откровения. Это термин «земля», который Бухарев понимает как указание на гражданский мир как на политико-географическую реальность. По сути, Бухарев оказывается в основном русле русской мысли, как левой, так и правой, понимавшей землю не просто как экономическую и правовую реальность, но и как реальность гражданскую и нравственную: это единственное, наверное, в чем сходились в истории русской мысли крайне левые, требовавшие потом «земли и воли», и правые, говорившие о родной земле и спокойствии на ней как основе гражданского благополучия. Земля здесь оказывается не столько предметом экономического спора или установления юридических правил, сколько мерой верности, сколько способом проверить выполнение гражданами нравственных обязанностей, которые оказываются и обязанностями политическими. Но дальше уже начались бы партийные расхождения, тогда как Бухарев считал, что правильное истолкование Библии, и особенно последней ее книги, позволит избежать этих партийных расхождений, поэтому он так ревностно и относился к своему проекту, ревностнее, чем к сану и монашеству.

По сути, термин «земля», в каких бы контекстах он ни употреблялся в исследуемой им библейской книге, всегда имеет универсальный смысл политической реальности, для познания которого требуются определенные усилия воображения, способность представить и ветхий Иерусалим, и новый Иерусалим как горизонты бытия Церкви и ее влияния на общество. «Земля же означает гражданское устройство,

как известно уже нам. Отсюда и объясняется значение символического Иерусалима: насколько Церковь водворяется в области известного гражданства или государства, благословляя или освящая собою все части его устройства, то в сем отношении Церковь и есть *Св. Град на земле* [Бухарев 1916: 335]. «Здесь все символические черты изъясняются из понятия земли, означающей (как уже было показано) гражданские земные порядки, учреждения, политику царств и народов» [Бухарев 1916: 467]. Эти две цитаты красноречивы сами по себе. Такая интерпретация «земли» как *политического* вообще не может объясняться только навыками традиционной аллегорической интерпретации Писания, где земля могла бы быть творением или местом, но не могла бы быть совокупностью ситуаций. Значит, архимандрит Феодор в период многолетней работы над своим главным трудом, стремление опубликовать который привело к горестному снятию монашества и сана и возвращению в мирское состояние, руководствовался определенными формами воображения, которые внушает литература и искусство, и которое позволяет представлять ситуации и состояния не как эпизоды, но как часть качественного бытия Церкви и общества.

Наше основное предположение состоит в том, что истоки мысли А. М. Бухарева о взаимодействии благодати и гражданских институтов восходят не только к мистическим поискам политической элиты времен Александра I, и не только к христианскому цистеронианству контрреформации, но и к определенным формам осмысления русского искусства в русской литературе. Сам Бухарев, конечно, оценивает опыт александровской эпохи как однозначно положительный, одобряя деятельность библейских обществ [Бухарев 1916: 17] и Священного союза как «эпохи всеобщего сознания и ощущения совершившейся строгости судов неподкупной правды и Христовой обновительной для мира милующей благодати; эпохи пробуждения (...) уснувших было христианских воззрений и стремлений» [Бухарев 1916: 591]. Но он также считает, что современное ему искусство способно создавать тот же институциональный дизайн торжества христианства в началах гражданской жизни, достаточно уметь рассматривать его в правильном порядке, в соответствии с теми формами изложения, которые приняты в литературной и художественной критике.

В статье «О картине Иванова» он рассматривает «Явление Христа народу» как икону, показавшую способность искусства передать Божечеловечество, по сути дела, эта картина должна стать предметом иконопочитания. Аргумент Бухарева (тогда архимандрита Феодора) прост: перед нами не движение Христа к Иоанну Крестителю с целью креститься, а выход на проповедь, и Иоанн Креститель выступает как главный свидетель спасительной проповеди. Доказывается это так: до крещения Христа и сошествия Святого Духа в образе голубя Иоанн Креститель не знал, что Иисус есть Христос (Мессия), «до крещения Господня такого ведения не было у него» [Бухарев 1859: 1], и только опознав исполнение пророчества (Ин. 1: 33), Иоанн Креститель стал исповедником. Как профессиональный библиист Бухарев понимал, что хотя изображение голубя обычно в иконописи и живописи Благовещения и Крещения, в библейском употреблении говорится не об оптической иллюзии птицы, а об особом успокоительном движении ветра, внушающем идею мира. Но именно исходя из такого рассмотрения картины Бухарев утверждает, что общей темой картины оказывается свобода всех, готовность всех быть принятыми в Царствие Небесное: «Общее всей картины, что и поражает и улаждает ваши взоры, это — свобода и непринужденность лиц, их выражений и положений; не видно ни в ком и ни в чем ни внешнего, ни духовного стеснения; всякий является вам просто таким, каким он есть, каким его Господь застал и нашел благодатию Своего Явления» [Бухарев 1859: 8].

Таким образом, в картине земля понимается как место, в котором явление Спасителя уже произошло как опознанное всеми, все герои умеют считывать пророчества, и все они оказались уже в той ситуации свободы, когда им не нужно даже распознавать смыслы, сама земля их уже есть земля Нового Завета. Такая свобода выводится из непосредственной данности лиц, если лица даны в их непринужденности, то они даны уже в свободе. Здесь показателен скрытый спор с Гоголем, который всячески подчеркивал локальный колорит картины Иванова как некоторое доказательство ее исторической достоверности, а значит, и духовной достоверности. Гоголь предварительно мыслил не всю землю, а Палестину как место спасительного действия, и ему было важно, что художник оказался именно ревностным копиистом того места, где божественный Промысл и осуществился: «Са-

мые лица получили свое типическое, согласно Евангелию, сходство и с тем вместе сходство еврейское. Вдруг слышишь по лицам, в какой земле происходит дело. Иванов повсюду ездил нарочно изучать для того еврейские лица. Все, что ни относится до гармонического размещения цветов, одежды человека и до обдуманной се наброски на тело, изучено в такой степени, что всякая складка привлекает вниманье знатока. Наконец, вся ландшафтная часть, на которую обыкновенно не много смотрит исторический живописец, вид всей живописной пустыни, окружающей группу, исполнен так, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущие в Риме. Иванов для этого про-сизивал по нескольким месяцам в нездоровых Понтийских болотах и пустынных местах Италии, перенес в свои этюды все дикие захо-лустья, находящиеся вокруг Рима, изучил всякий камешек и древесный листик, словом — сделал все, что мог сделать, все изобразил, чему только нашел образец» [Гоголь: 168–169].

Но, конечно, главная мысль Гоголя в другом, как мы можем убе-диться после многочисленных исследований И. А. Виноградова о личных и творческих связях Гоголя и Иванова (в частности, [Вино-градов, 2001]). Гоголь ни в коем случае не считал, что именно явление Христа в Палестине и есть начальное спасительное действие богоче-ловечества, для него церковность была несопоставима выше любых требований местного колорита. Из дальнейших слов Гоголя прямо следует, что художник, сохранив точность и верность всех деталей, еще не пришел к главному, ко Христу. «Иванов сделал все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины. Вся мате-риальная часть, все, что относится до умного и строгого размещения группы в картине, исполнено в совершенстве. <...> Но как изобразить то, чему еще не нашел художник образца? <...> Нет, пока в самом ху-дожнике не произошло истинное обращение ко Христу, не изобра-зить ему того на полотне». Получается, что с точки зрения Гоголя Иванов, а в его лице и всё искусство, весь накопленный живописный опыт еще не пришли к иконе, к непосредственному созерцанию во-плотившегося Господа, потому что художник еще не нашел “образца”, иначе говоря, не стал свят так, чтобы Христос был образцом и для всей его жизни. При этом Гоголь, конечно, не собирался судить сво-его собеседника и во многом друга: наоборот, он понимал святость онтологически, как начало, которое сначала преображает образцы,



сначала создает идеал богочеловечества и богочеловеческой любви, и потом по образцу этой жертвенной любви возможно и спасение человечества. Как мы все помним, для Гоголя существенным было созерцание Божественной Литургии как исполнения крестной жертвы и истинной божественной любви, которой не может постичь даже самая совершенная земная мысль.

Архимандрит Феодор полностью отвергает даже самую мысль о местном колорите, но, напротив, утверждает, что перед нами универсальное изображение земли со всеми четырьмя концами и евангельского универсализма проповеди: «Еще могу прибавить к вашему утешению, что общий вид Христов взят с православных Церковных икон Спасителя: открытая голова с длинными орехового цвета волосами, с бородой такого же цвета, в хитоне красноватом и верхней одежде небесно-голубого цвета. В этом устраниении, в лице Спасителя, резкого еврейского типа — как прекрасно выражается, что Господь Иисус, принадлежа Востоку и Югу по своему происхождению плотию от Авраама и Давида, — по человечеству своему есть свой и Западу, и нашему Северу!» [Бухарев 1859: 27].

Получается, что в противоположность Гоголю Бухарев считал, что картина Иванова приобрела вселенское христианское значение и может способствовать спасению человечества. Там, где Гоголь мыслит онтологически, где мыслит крестную Жертву, там Бухарев скорее говорит о состоявшемся географическом воображении, о той рамке, в которой любой житель земли может представить себя среди толпы на картине, а значит, прийти ко Христу. Бухарев опять же мыслит этически и политически: увидев себя или похожих на себя людей на картине, любой человек представит себя по своим гражданским обязанностям способным общаться со Христом, не просто найдет место Христу в своей гражданской или повседневной жизни, но сделает сами свои гражданские обязанности следствием созерцания Христа, который оказался рядом, прямо рядом с его или ее повседневностью. И тогда, оказавшись Христовым, зритель картины, любой человек соотнесет себя уже не с картиной Иванова, а с собственными обязанностями христианина. Именно поэтому Бухарев вдруг неожиданно заявляет, что Иванов как художник преодолел любую страстность, с чем не согласился бы не только его современник епископ Игнатий Брянчанинов, считавший, что академическая живопись в принципе не свободна от страсти, сами механизмы живописного

подражания плотскому воспроизводят и плотскую страсть, но и Гоголь: «Женщины у Иванова, действительно, возвышаются над бесплодной религиозной сентиментальностью. Правда, Гоголь, помнится, заметил в их выражении, когда картина только еще писалась, — нечто страстное; видно, художник, имея пред собою образцы латинской эффектной набожности, сначала сбивался было на религиозную сентиментальность. Но теперь в законченном создании не видно уже и следа чего-либо подобного» [Бухарев 1859: 23].

Так как архимандрит Феодор обращался к публике после смерти великого писателя, он мог иметь в виду только опубликованные сочинения Гоголя, а не передаваемые устные высказывания или письма. Но в опубликованных «Выбранных местах...» мы не находим ничего о страстности или преувеличенных аффектах западных образцов. Единственное место относится к поведению католических проповедников: «Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы» [Гоголь: 61]. Но такой переход от характеристики сценического намеренного поведения к характеристике всей западной духовности оказывается мотивирован тем, что для Бухарева существует только мировая история, но не локальная, и там, где Гоголь мог говорить о различии явлений Запада и Востока, для Бухарева существует лишь различие незрелости и зрелости. Это мы встречаем и в многочисленных толкованиях Бухаревым пророческих книг Ветхого Завета, в которых он видит историю перехода от страстей юности к дальнейшей зрелости и готовности к принятию или непринятию проповеди о спасении: «Впрочем и в израильянах в это время замечается уже далеко не та страстная увлекаемость к язычеству, какую видим, напр., в них — во время странствования их из Египта; но суеверное увлечение к подражанию язычникам — евреи, утратившие веру в истинного Бога, соединяли с своекорыстным расчетом» [Бухарев, 1864: 6].

Вероятно, мысль о страсти также пришла из смелого сравнения Гоголя: отвечая неназванным оппонентам, которые говорили, что Иванов мог бы встроиться в обычную художественную жизнь, регулярно писать картины на продажу, он с гневом отвергает это предложение как мысль о насилии и поругании: «Так верная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбит уже никого другого, никому

не продаст за деньги своих ласк, хотя бы этим средством могла бы спасти от бедности себя и мужа» [Гоголь 1847: 170]. В любом случае эти слова Гоголя были восприняты Бухаревым, судя по всему, не как сатирический выпад, но как тоже историсофская метафора, говорящая о прохождении через соблазны и отдельного человека, и всего человечества. Но также вполне возможно, что для Бухарева женская красота была спасительной (не случайно он завершил снятие сана и отказ от монашества довольно благополучной женитьбой), потому что она уже действует в человека как некоторая действительность, как некоторое доказательство возможности хотя бы эстетического совершенства. В вопросе о женской красоте архимандрит Феодор Бухарев оказывался радикален: так как с женской красотой трудно связать гражданские обязанности, а триумф христианства он мыслил как схождение этики и эстетики, как мы говорили выше, то встреча с женской красотой и оказывалась таким обещанием истинного спасения, так что страсть оказывалась лишь частным обстоятельством несовершенства индивидуальной природы, не затрагивая того нормативного опыта, о котором Бухарев говорил как этико-политический мыслитель.

Прежде чем говорить дальше о расхождениях Бухарева и Гоголя, заметим, что такая разная оценка картины Иванова обязана не различию эстетических привычек, но и особой концепции законченного произведения у Гоголя. Так, по мнению Гоголя, перевод «Одиссеи» Жуковского производит безусловное впечатление не только на узкий круг ценителей и знатоков, но и на весь народ. Тогда как картину Иванова народ не оценит, но и пользы она пока не принесет: несмотря на все мастерство и высокие оценки экспертов, Иванову только еще предстоит дорасти до того уровня, которого уже достиг Жуковский. Только после этого ивановское полотно получит такое же всенародное признание и влияние.

Бухарев судил об Иванове не как его знакомый, а как один из восторженных реципиентов. Не считая возможным обращаться к художнику со скрытыми увещаниями, как это делал Гоголь, и требовать доработки уже выставленной перед публикой на момент публикации его статьи картины, он просто считал, что картина уже начала производить спасительное действие на самого художника, просто потому что он смог ее завершить. Бухарев — уже мыслитель эпохи реализ-

ма, эпохи романа, ценитель Белинского, Тургенева и Чернышевского, для которого в отличие от Гоголя в центре литературы стоит не эпос, а роман. Поэтому если для Гоголя завершенность «Одиссеи» и была этико-политическим действием, которое обязано нравственной чистоте Жуковского, нравственной первозданности Гомера и легальности христианского прочтения Гомера, вслед за Василием Великим, то для Бухарева, наоборот, завершение художником картины, как и завершение писателем романа, начинает менять самого писателя. Нравственность писателя оказывается зависимой от завершенности романа, и, например, как критик романа Тургенева «Отцы и дети» Бухарев замечал, что он читал роман на пасхальной неделе, и содержание романа ничуть не нарушило его благочестивое чувство, поэтому явно роман оказывает благочестивое действие на всех, а не только на него самого.

Полемика с Гоголем началась у Бухарева еще в его письмах к Гоголю, созданных с целью поддержать автора «Выбранных мест», но на самом деле показавших и некоторые фундаментальные расхождения двух критиков. Весь смысл похвал Иванову в посвященной ему главке (письме) «Выбранных мест» в том, что этот художник жизнеподобием заслужил похвалу римских знатоков, экспертного сообщества производящих мировое искусство художников, а значит, уже стал мировым художником. Гоголь не знал, будет ли картина завершена при жизни художника, равно как и будет ли она привезена в Россию. Бухарев в период писем Гоголю не знал последнего, но уже смотрел на картину как на вполне завершенную икону, которая рано или поздно послужит целям просвещения в России. Как мы уже сказали, здесь Бухарев слишком доверяет экспертам, для которых любое эстетическое решение уже самодостаточно, а значит, завершено, как для гражданина любое гражданское действие является вполне ответственным выполнением гражданских обязанностей, независимо от того, крупный это поступок или мелкий. Когда политически мыслящий Бухарев сближает воспетую аскетически мыслящим Гоголем «Одиссею» в переводе Жуковского и им прославляемую картину Иванова, он, в отличие от Гоголя, хорошо различающего эффекты одного и другого произведения, считающего, что «Одиссею» прочтет народ, а «Явление Христа народу» оценят прежде всего самые взыскательные эксперты, никаких эффектов не различает. Для него и то и другое одинаково

обращено к народу поверх голов экспертов, более того, экспертов как таковых в его мире просто не подразумевается: «Поэзия — полная и верная картина нашего быта в его глубочайшем значении, и художник есть также деятельный служитель воспитания и образования людей, могущих понимать и сочувствовать ему, а искусство истинное должно иметь, прямое или незаметное, благотворнейшее влияние на дух людей. В истинном художнике живо отразится приемлемость к небесной милости как вообще человечества, так в особенности того народа и времени, в котором он живет, и мыслит, и говорит» [Бухарев 1860: 45]

Соответственно, если важна не передача характеров, а только воображение или отображение милости Бога ко всему человечеству, и любые характеры оказываются только показателем юности или зрелости народа, готовности или неготовности воспринять Откровение, а не предметом художественного интереса, то и понимание задач живописца оказывается другим. Гоголь считал, что Иванов передает различие в характерах персонажей и в их отношении к вере, по лицам считываются верующие и маловеры, сомневающиеся и скептики, искренние и испытанные верой, чувствующие и бесчувственные: «Все, отправляя свои различные телесные движенья, устремляется внутренним ухом к речам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих различные чувства: на одних — уже полная вера; на других — еще сомненье; третьи уже колеблются; четвертые понурили главы в сокрушенье и покаянье; есть и такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная» [Гоголь: 167].

Для Бухарева важно только то, что живопись, передавая землю вообще, а не только Палестину, передает тоже не отношение отдельных лиц к вере, но общее обращение людей к Спасителю. В сравнении с тем, насколько живописец оказывается живописцем в собственном смысле, насколько он может оживлять персонажей, не так важно, что думают, что хотят сказать и как показаны сами персонажи. Вслед за отказом от экспертного знания Бухарев объявляет академизм, главной ценностью которого была передача характеров, мертвым. Нужно не передавать характеры, а передавать сами дела, само присутствие Спасителя, признанное четырьмя концами земли, иначе говоря, создавать икону, а не картину: «Потому и дело художника творить, живо воспро-

изводить словом, или кистью или чем иным дела Того, Кто все создал и животворит своей любовью. Иначе и всякий художник произведет не художественное творение, но жалкую и смешную карикатуру на себя самого, напишет мертвую академическую картину, хотя бы предмет ее был духовное обращение людей к Самому Спасителю, к Самой Любви воплотившейся, и о святейшем предмете скажет слово гнилое» [Бухарев 1860: 43].

Как видим, понятие художника расширяется, и, как явствует из всего дальнейшего текста, включает в себя и поэта, который способен говорить о божественной милости, о чудесах кротости, долготерпения и щедрости Бога, которые на полотне выглядели бы как фокусы, но поэзия с ее стремительностью и неожиданными поворотами сюжета способна воспроизвести чудо. Литература тогда может сделать то, что не может сделать живопись, точнее, что живопись делает только символическими намеками, например, передавая присутствие Святого Духа ясностью и лазурностью всего изображенного.

Далее, оказывается, что бесчувственность — это карикатурное свойство, но которое угрожает не столько отдельным персонажам, как у Гоголя, но самому художнику, тогда как спастись призваны все, и художник, выполняя свою задачу иконописца, способствует спасению не только знатоков Палестины и экспертов, но всех людей со всех четырех концов земли. Тогда, создавая картину только с характерами и отдельными ситуациями, он создаст уже не ситуацию библейского мира, где есть всегда бесчувственные люди, грешники и безбожники, но ситуацию собственного к нему отношения, и эта картина будет выражать только характер художника.

Получается, что современный художник обладает уже достаточно живой кистью, сам художественный язык изменился, и уже не простое жизнеподобие отдельных изображенных лиц, которому учил академизм, но характерная живость кисти, вовлекающая в себя и биографию художника, определяет качество произведения. Чтобы лучше понять этот тезис, нам придется сделать искусствоведческий экскурс, а потом вернуться к тому, как именно живость кисти сделала живопись иконой, не изображением характеров, пропущенных через фильтры экспертной оценки, но непосредственно живой живописью, реализмом, который и способен представить действительность как уже, по Бухареву, реальное действие воли Бога и суда Божия над гре-

хом во всех социальных и политических институтах и социальных ритуалах. Для того, чтобы уяснить, насколько «романным» был подход Бухарева, нам придется сделать искусствоведческий экскурс, за который пусть простит нас взыскательный читатель, относясь к нему просто как к некоторой иллюстрации для усвоения уже прочитанного, не самой обязательной, но дополнительно подтверждающей, что Бухарев мыслит политически и граждански, но мыслит так в романную эпоху.

Уже начальный русский классицизм никогда не был только изображением характеров, вопреки воле его создателей, оказался капитуляцией экспертной характерологии перед библейскими сюжетами, которые тогда и оказались главной реальностью для подражательного искусства. Именно, самые истоки русской живописи подразумевали, что натурализм в изображении тела и его страданий вовсе не порывает с библейской ситуацией, а наоборот, только и вскрывает ее гражданский смысл. Так, А. П. Лосенко, один из создателей стандарта русской классицистской живописи, во время стажировки в Италии (1765–1769) создал образцовые изображения фигур в натуральную величину: склонившуюся в мрачной задумчивости и лежащую на земле на спине в отчаянии неизбывного страдания. Хотя это были явно тренировочные фигуры для передачи аффекта с соблюдением всех требований анатомии, эти фигуры были поняты как часть программы создания библейской живописи, наличие которой докажет достоинство русского искусства.

Фигуры были отождествлены с Каином и Авелем, и в XIX веке воспринимались только так, и Ф. И. Иордан выполнил в 1827 г. гравюру с «Авеля» уже как духовной картины, за что получил золотые часы от Николая I: с этого и начиналось новое искусство академических гравюр как лучшего способа передавать духовное содержание, при этом отбор образцов, сама возможность такого отбора должна была показывать имперские масштабы. Главная же цель гравюры, кроме популяризации древностей, состояла в их сохранении, для чего требовалась политическая стабильность и устойчивость тех самых социальных ритуалов — доклад Ф. И. Иордана в 1830 году о губительных последствиях Июльской революции для памятников французской старины стоял в одном ряду с его работами по передаче «Преображения» Рафаэля в огромной гравюре, небывалого для этого искусства

масштаба — Гоголь, как все помнят, в «Выбранных местах» просил всех читателей поддержать усилия этого художника по воссозданию Рафаэля как некоторой идеальной иконы. Следующим этапом развития гравюры как главного медиума уже не просто сохранения, но воссоздания древностей стали «Древности российского государства» Ф. Г. Солнцева (1849–1853), шедевр археологизма николаевской эпохи. Таким образом, ко времени Гоголя и Бухарева копиистика и оказалась как воспроизведением местного колорита, так и приданием библейского масштаба, и при этом оцениваемой всем народом «живости» тому, что без этого было бы только мертвой характерологией классицистского типа. Копия оказалась, вопреки своему определению, не просто механизмом отдельных стилистических инноваций, но средством оживить живопись!

Разумеется, сам Лосенко учил своих учеников, где и как копировать античные образцы, внушив им не только необходимость верности кисти и живости оригинала, но и определенную взыскательность и даже капризность в этом деле, никак не подразумевавшуюся обычной классицистской педагогикой. Например, один из его учеников, И. А. Акимов, будущий директор Императорской шпалерной мануфактуры, отправленный в Болонью копировать картины и статуи, недолго продержался там, так как не был доволен своими итальянскими коллегами как колористами и запросился в Рим, мол, нигде не могут его научить чувствовать цвет. Из всех учеников Лосенко, среди которых был и великий скульптор М. И. Козловский, нас более всего занимает Г. И. Угрюмов, создавший для Михайловского замка в 1800 году полотно, изображавшее призвание Михаила Романова на царство, что должно было быть понято современниками очень близко к государственным взглядам Феодора Бухарева: учреждение монархии и есть то самое создание статуса, государства. Учреждают его не символы, например, победы Петра I как предмет панорамного живописного запечатления и соответствующие триумфальные арки, не большие сцены из русской истории, а просто превращение внестатусного в статусное, живое изображение символов царской власти, самого возникновения власти, что стоит ближе к уже упомянутому проекту Ф. Г. Солнцева по созданию образов русской власти, чем к Ломоносову и другим авторам, создававшим сюжетику русского исторического классицизма. Таким образом, простая живость кисти может сделать так, что все «статусы»,



все социальные институты и ритуалы окажутся подчинены Божьей воле.

Угрюмов был учителем Андрея Иванова, отца нашего художника, и не надо забывать, что наш А. А. Иванов на самом деле вплоть до публичной выставки «Явления Христа народу» уже при Александре II находился для знатоков живописи в тени собственного отца. Ведь и Гоголь, рассказывая публике об историческом живописце Иванове, подчеркивал самим названием (а для нас это сейчас требует комментария), что это исторический живописец Иванов-младший, а не работавший в разных жанрах Иванов-старший. Следует отметить, что Иванов-старший писал очень много храмовых образов как раз в том стиле, который выглядел для Игнатия Брянчанинова не просто неприемлемым, но соблазнительным. Но главное для нашей темы универсалистской христианизации всех гражданских институтов независимо от местного характера то, что Иванов-старший копировал «Правосудие» (1768) учителя своего учителя. А Лосенко, в свою очередь, копировал «Правосудие» из Ватиканского дворца, из входящего в Станцы Рафаэля зала Константина, с которого Феодор Бухарев и отсчитывает христианскую государственность как реальность. Нужно заметить проницательность художников: только недавно было доказано, что, несмотря на то, что весь зал расписывали ученики Рафаэля, «Правосудие» написал сам Рафаэль. Но вообще это «Правосудие», вырывая из контекста архитектурного трюмпа, любили копировать и европейские художники, скажем Пьер Сьюблейра. Но здесь оказывается, что копиистика прямо утверждает, что Константиновский период в жизни Церкви и есть такое правосудие, при котором любые институты и ритуалы, как копирование социальных обычаев по определению, могут служить универсальному делу христианства. Таким образом, истоки мысли Бухарева можно найти не только в расхождении с Гоголем, но и в хотя бы частичном знании институциональных рамок функционирования искусства, которые Бухарев как человек, вовлеченный в журнальную полемику, мог понимать, зная важность институтов в литературной жизни. Как в журнальной полемике важно, какой журнал стал важнее всего для публики, создает ей кумиров, так и в институциональной истории искусства важнее всего, как копии становятся в свою очередь тоже образцами и предметами страстного обожания. Гоголь сторонился такого кумиротвор-

чества, тогда как Бухарев принимал его как рабочую гипотезу, исходя из того, что христианство всё равно одержит победу в гражданской жизни.

А Иванов-младший, продолжаем нашу цепочку цепочек, копировал Микеланджело в Сикстинской капелле, сделав Адама отдельно от руки Божией, как бы в последний раз отдав дань учебной характерологии. При этом продать он копию не смог, что понимал Гоголь, когда говорил, что отвлекаться просто на копии было бы изменой святому делу. Характерология должна была, как мы уже сказали, уступить живописи в новом смысле, близком иконописи. Эта программа удивительно отвечает тому, как официальный быт эпохи Николая I обошелся с копиистикой. К. А. Тон в Академии художеств выстроил специальные галереи для копий, изначально там должен был быть в основном Рафаэль, но позднее, уже при Александре II, галереи получили условные имена «Рафаэлевский зал» и «Тициановский зал», хотя копий Тициана там было меньше копий Рафаэля. В этом складировании копий и выразалось новое понимание живописи не как результата удачного копирования отдельных образцов, а как умения вписать новые картины в этот мир копий, но показав, что новая картина живее академических копий, хотя обладает тем же универсализмом, каким живопись Рафаэля и Тициана, известная во всем мире. Однако Рафаэль и Тициан известны во всех концах земли, но в основном художникам, а новые живописцы станут известны народу, потому что их картины воспроизводят не характеры, а социальные обычаи и социальную этику, понятную всем гражданам. Но замечательно, что такое соединение копиизма и универсалистских притязаний совпало с эпохой романа, и когда Бухарев считал, что и картина Иванова — как копия самой жизни Христа, и поэтому икона в полном смысле слова имеет универсалистский смысл, он мыслил этот универсализм как правильное размещение институтов в пространстве, подчиняя его географическому воображению, системе мест, а не как Гоголь, чая совершенства. Для Бухарева совершенство должно было стать политическим фактом, фактом гражданского бытия Церкви, а не предметом чаяния и молитвенного отношения.

Итак, картина Иванова, которая для Гоголя еще была драмой характеров, хотя и предназначенной к спасению людей, но не состоявшейся в самом главном, для Бухарева уже была сбывшимся государственно-

ческим проектом, торжеством христианства, которое только и может стать настоящим содержанием действий современного ему государственного механизма. Картина-икона для Бухарева и обладает настоящим жизнеподобием, создает жизнь по образцам, ни один из которых не может превратиться уже в предмет идолопоклонства и соблазна, просто по структурным причинам того, что вся земля открыта богочеловеческому действию, и все придуманные художником символы оказываются лишь пробами пера, некоторыми намеками или указаниями на истину в сравнении с этим уже осуществляемым в гражданской жизни и в географическом живописном воображении богочеловеческом действии. Для Бухарева искусство — тоже регламент правильного отношения к небесному гражданству, которое дается явившимся народу Христом.

Если Гоголь не был доволен взглядами Иванова, их запутанностью и часто даже языческим эстетизмом [Виноградов 2019: 51], то Бухарев просто смотрел на эффекты живописи независимо от взглядов знатоков, хоть бы знатоком был сам художник. Но на самом деле, конечно, эта независимость и признавала взгляды знатоков единственным горизонтом понимания живописи, потому что только знатоки могут опознать в копии новый подлинник, в картине — икону, как и знатоки духовной жизни могут опознать в подражании Христу причастие Христу. Пример описания главной картины Иванова не как образа характеров, но как образа самого действия Откровения на всех уровнях социальных ритуалов мы встречаем у Бухарева, когда оказывается, что на картине Иванова изображены и Совет Предвечный, совещание всей Троицы, и земля как таковая. Конкретные географические привязки земли тогда маргинализированы, но важно, что свидетелями произошедшего оказываются все христиане, со всех концов земли, что и составляет главную тему статьи Бухарева: «И общему почти вниманию, обращенному на Него, вмещающего своему Небесному Отцу, как будто сочувствует чудно-прекрасная, существующая дарами всетворческой Его любви, природа с ощутительную на самой картине тишиною воздуха, в которой чувствуется тихое голубиное веяние почивающего в Христе Св. Духа, с виднеющимися (хотя в одном уголку) водами Иордана, с этою плодоносною южною растительностью, с этими поднимающимися от самого иорданского берега и идущими в даль горами и холмами. На мою душу, прежде всего,

эта природа повеяла живою благоухающею вестью, что здесь увижу истинное явление Спасителя мира. А там, на последних пределах видной дали, открывается вид Святого града Иерусалима — этого средоточия ветхозаветной Церкви и образа будущего нового Иерусалима вечной славы» [Бухарев 1859: 27–28].

То же самое представление о том, что при явлении Спасителя и нового Иерусалима сходятся все четыре конца земли, состоялось правильное географическое распределение созерцаний, вызывающее при правильном толковании Библии гражданский мир на всей земле, и уже не так важно, что именно заключает в себе местный колорит, но важно, что слава Божия уже преображает землю, все четыре стороны света, в самое место созерцания непосредственного действия Божия: «Святой град жительства во Христе не допускает односторонностей; со всех четырех сторон отверзты в него врата, по трое ворот с каждой стороны: любишь ли, например, ты свежее утро благодатной жизни — этот духовный восток, стремишься ли к полноте света или просвещения на духовно полденной стороне, идешь ли на подвиг со тьмою заблуждений полуночной стороны, ищешь ли приложения Христовой истины и благодати ко всему западу человеческого и мирского, борющегося обыкновенно между светом и тьмою, — всюду открыт тебе путь во имя и славу Пресвятой Троицы. Только имей своим вождем, наставником, главою во всем прямо самого Господа, действующего и правящего во всех орудиях и учреждениях Его благодати, во всех церковных принадлежностях: Господь тамо — это есть имя и самое существо и сила Божия града» [Бухарев 1864б: 65].

Так в конце статьи мы вернулись к тому, с чего начали, политической и государственнической мысли архимандрита Феодора, А. М. Бухарева. Все официальные обычаи и социальные ритуалы могут быть христианизированы, потому что событие Воплощения уже произошло, явилась слава всей Святой Троицы, и, значит, возможно прямое отношение к происходящему. Как на иконе и в богословии Откровения Иоанна Богослова, все четыре конца земли собрались и все пути к Богу сделались прямыми. Бухарев мыслит как теоретик гражданственности, но, толкуя Библию, он видит уже осуществившуюся гражданственность, уже осуществившийся на картине Иванова мир Божий. Поэтому он и считал, что достаточно истолковать человечеству христианские догматы, придать романам Тургенева и Чернышевского христианский

смысл, а в толковании Апокалипсиса раскрыть сам смысл гражданства, само соотношение земного гражданства и небесного гражданства, как человечество будет в целом спасено.

Таким образом, можно сделать вывод, что А. М. Бухарев формулирует свою эстетическую и литературно-критическую позицию в разных формах полемики с Гоголем, всегда скрытой и происходящей в сочинениях самого различного типа, включая специальные исследования по библеистике. Но также он понимает, что сам художественный язык изменился, и на смену характерологии, которая поддерживается экспертным знанием, приходит новый живой литературный процесс, в котором идеи непосредственно обсуждаются публикой. Конечно, Гоголь стремился к этому же, но замечательно, что Бухарев, который был весьма тонким литературным критиком, опирается при этом не на данные современной литературы, а, скорее, на опыт академической живописи и ее кризиса. Но зато такое накопление опыта в иных, чем литература, сферах способствовало быстрому становлению принципа реалистической литературы как формирующей общественное мировоззрение и преодолевающей как географические и сословные, так и экспертные границы в сообщении новых возможностей мировоззрения. Эпизод интеллектуальной истории, при рассмотрении форм мысли эстетической, государственной и богословской, оказывается одним из многих ключей к пониманию мирового триумфа русского литературного реализма.

**Список литературы**

*Бухарев А. М.* Исследования Апокалипсиса. Сергиев Посад: Издание редакции «Богословского Вестника», 1916. 649 с.

*Бухарев А. М.* О картине Иванова «Явление Христа миру». СПб.: Типография М. О. Вольф, 1859. 28 с.

*Бухарев А. М.* Три письма к Гоголю, писанные в 1848 году. СПб.: Типография Морского министерства, 1860. 260 с.

*Бухарев А. М.* Св. Пророк Исаия: Очерк его времени, пророческого служения и книги. М.: Издание книгопродавца А. И. Манухина, 1864а. 90 с.

*Бухарев А. М.* Св. Пророк Иезекииль: Очерк его времени, жизни и пророческой книги. М.: Издание книгопродавца А. И. Манухина, 1864б. 80 с.

Виноградов И. А. Н. В. Гоголь и А. А. Иванов. К истории создания картины «Явление Мессии» // Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. М., 2001. С. 670–708.

Виноградов И. А. Славянофил-государственник. Н. В. Гоголь в движениях эпохи // Два века русской классики. 2019. Т. 1. № 2. С. 36–61. DOI 10.22455/2686-7494-2019-1-2-36-61

Воронцова И. В. Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев) и проблема «Плоти и духа» в «Неохристианстве» (на материале писем к диакону А. А. Лебедеву) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 2, История. История Русской Православной Церкви. 2013. № 51 (2). С. 7–22.

Воронцова И. В. «Реформа» или «реформация»: движение за церковное обновление в России начала XX в. // Вестник Московского университета. Сер. 8, История. 2017. № 4. С. 46–63.

Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. СПб.: В типографии Департамента внешней торговли, 1847. 287 с.

Марков А. В., Мартыанова С. А. Упадок жизни как канон искусства: «Средний уровень» русской идеалистической философии // Артикульт. 2017. № 3 (27). С. 123–133.

Минаков А. Ю. М. Л. Магницкий как религиозный тип в царствования Александра I и Николая I // Христианское чтение. 2017. № 2. С. 174–202.

Назаренко Е. Ю. Мистический консерватизм: к характеристике мировоззрения князя А. Н. Голицына // Христианское чтение. 2017. № 6. С. 134–148.

Назарова А. М. Проблема взаимосвязи «разум – вера» в работе архимандрита Феодора (А. М. Бухарева) «Исследования Апокалипсиса» // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2016. № 1. С. 17–25.

Никифоров А. В. Некоторые аспекты церковного инакомыслия в России во второй половине XIX века // Вестник Оренбургского государственного университета. 2008. № 7. С. 44–50.

Тагер Ю. Щупальца длиннее ночи / пер. с англ. Андрея Иванова. Пермь: Нуле Press, 2019. 214 с.

Титова Н. Церковь и мир: «Православие в отношении к современности» в творчестве архим. Феодора (Бухарева) // Свет Христов просвещает всех: Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института. 2007. № 1. С. 42–49.

Хархордин О. [и др.] Понятие государства в четырех языках. СПб.: ЕУ СПб, 2002. 218 с.

### References

Bukharev A. M. *Issledovaniia Apokalipsisa* [Research of the Apocalypse]. Sergiev Posad: Edition of the editors of The Theological Bulletin, 1916, 649 p. (In Russ.)

Bukharev A. M. *O kartine Ivanova «Iavlenie Khrista miru»* [About Ivanov's painting «The Appearance of Christ to the World»]. St. Petersburg: Printing house M. O. Wolf, 1859, 28 p. (In Russ.)

Bukharev A. M. *Tri pis'ma k Gogoliu, pisannye v 1848 godu* [Three letters to Gogol, written in 1848]. St. Petersburg: Printing house of the Ministry of the Sea, 1860, 260 p. (In Russ.)

Bukharev A. M. *Sv. Prorok Isaiia: Ocherk ego vremeni, prorocheskogo sluzheniia i knigi* [St. Prophet Isaiah: An Outline of His Time, Prophetic Ministry and Book]. Moscow, Edition of the bookseller A. I. Manukhin, 1864a, 90 p. (In Russ.)

Bukharev A. M. *Sv. Prorok Iezekiil': Ocherk ego vremeni, zhizni i prorocheskoi knigi*. [St. Prophet Ezekiel: An Outline on his time, life and prophetic book]. Moscow: Edition of the bookseller A. I. Manukhin, 1864b, 80 p. (In Russ.)

Vinogradov I. A. N. V. Gogol' i A. A. Ivanov. *K istorii sozdaniia kartiny «Iavlenie Messii»* [Gogol and Ivanov: to the history of the oeuvre «The Appearance of Christ Before the People»]. *Aleksandr Ivanov v pis'makh, dokumentakh, vospominaniakh* [Alexander Ivanov in letters, documents, and memoirs]. Moscow, 2001, pp. 670–708 (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Slavianofil-gosudarstvennik. N. V. Gogol' v dvizheniakh epokhi* [Slavophile-statesman. N. V. Gogol in the movements of the epoch]. *Dva veka russkoi klassiki* [Two centuries of Russian classics], 2019, vol. 1, № 2, pp. 36–61. DOI 10.22455 / 2686-7494-2019-1-2-36-61 (In Russ.)

Vorontsova I. V. *Arkhimandrit Feodor (A. M. Bukharev) i problema «Ploti i dukha» v «Neokhristianstve» (na materiale pisem k diakonu A. A. Lebedevu)* [Archimandrite Theodore (A. M. Bukharev) and the problem of «Flesh and Spirit» in «Neo-Christianity» (based on letters to deacon A. A. Lebedev)]. *Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Ser. 2, Istorii. Istorii Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi* [Bulletin of the Orthodox St. Tikhon Humanitarian University. Ser. 2, History. History of the Russian Orthodox Church], 2013, № 51 (2), pp. 7–22. (In Russ.)

Vorontsova I. V. «Reforma» ili «reformatsiia»: *dvizhenie za tserkovnoe obnovenie v Rossii nachala 20 v* [«Reform» or «Reformation»: the movement for church renewal in Russia at the beginning of the 20th century]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 8, Istorii* [Moscow University Bulletin. Ser. 8, History], 2017, № 4, pp. 46–63. (In Russ.)

Gogol' N. V. *Vybrannye mesta iz perepiski s druž'iami* [Selected places from correspondence with friends]. St. Petersburg: In the printing house of the Department of Foreign Trade, 1847, 287 p. (In Russ.)

Markov A. V., Mart'ianova S. A. *Upadok zhizni kak kanon iskusstva: «Srednii uroven'» russkoi idealisticheskoi filosofii* [Decline in life as a canon of art: «The average level» of Russian idealist philosophy]. *Artikult*, 2017, № 3 (27), pp. 123–133. (In Russ.)

Minakov A. Iu. M. L. *Magnitskii kak religiozni tip v tsarstvovaniia Aleksandra I i Nikolaia I* [Magnitsky as a religious type in the reign of Alexander I and Nicholas I]. *Khristianskoe chtenie* [Christian Reading], 2017, № 2, pp. 174–202. (In Russ.)

Nazarenko E. Iu. *Misticheskii konservatizm: k kharakteristike mirovozzreniia kniazia A. N. Golitsyna* [Mystical conservatism: to the characterization of the worldview of Prince A. N. Golitsyn]. *Khristianskoe chtenie* [Christian Reading], 2017, № 6, pp. 134–148. (In Russ.)

Nazarova A. M. Problema vzaimosviazi «razum-vera» v rabote arhimandrita Feodora (A. M. Bukhareva) «Issledovaniia Apokalipsisa» [The problem of the relationship «mind-faith» in the work of archimandrite Theodore (A. M. Bukharev) «Research on the Apocalypse»]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina* [Bulletin of the Leningrad State University named after A.S. Pushkin], 2016, № 1, pp. 17–25. (In Russ.)

Nikiforov A. V. *Nekotorye aspekty tserkovnogo inakomyслиia v Rossii vo vtoroi polovine XIX veka* [Some aspects of church dissent in Russia in the second half of the 19th century]. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Orenburg State University], 2008, № 7, pp. 44–50. (In Russ.)

Thacker Eu. *Shchupal'tsa dlinnee nochi* [Tentacles longer than night]. Perm: Hyle Press, 2019, 214 p. (in Russ.)

Titova N. *Tserkov' i mir: «Pravoslavie v otnoshenii k sovremennosti» v tvorchestve arkhim. Feodora (Bukhareva)* [Church and the world: «Orthodoxy in relation to modernity» in the work of archimandrite Theodor (Bukharev)]. *Svet Khristov prosveshchaet vsekh: Al'manakh Sviato-Filaretovskogo pravoslavno-khristianskogo instituta* [The Light of Christ enlightens everyone: Almanac of the St. Philaret Orthodox Christian Institute], 2007, № 1, pp. 42–49. (In Russ.)

Kharkhordin O. [et al.] *Poniatie gosudarstva v chetyrekh iazykakh* [The concept of state in four languages]. St. Petersburg: European University Press, 2002, 218 p. (In Russ.)



© 2020. В. Г. Андреева

Институт мировой литературы им. А. М. Горького  
Российской академии наук  
г. Москва, Россия

### Работа Л. Н. Толстого над образами героев рассказа «Хозяин и работник»

Статья посвящена осмыслению работы Толстого над образами героев рассказа «Хозяин и работник», аналитическому изучению концептуальных изменений, внесенных писателем в текст. Характеризуя стиль рассказа, автор статьи констатирует, что яркие оппозиции, наличие четких оценок поведения героев, морально-нравственных ориентиров приближают повествование Толстого к притче, а художественные образы в таком «притчевом» повествовании имеют выразительный характер. Главные элементы сюжета присутствуют уже в первой черновой редакции рассказа, но характеры героев в ней еще не являются цельными. Работа Толстого над рассказом шла в двух направлениях. Во-первых, писатель уделял большое внимание финалу, тщательно продумывая описания внутренних монологов и состояний героев, осознанию Брехуновым ложности и иллюзорности своей прежней жизни. Прозрение Василия Андрееча, спасение им Никиты представлено психологически точно и убедительно; писатель раскрывает кардинальную перемену, произошедшую в сознании Брехунова, но характер героя, образ его поведения остаются прежними. Во-вторых, писатель тщательно продумывал все мельчайшие компоненты изобразительности, добиваясь создания целостных и непротиворечивых образов героев. Толстой оценивал глубину их противопоставления, убирал подробности, отвлекающие читателя от центральной идеи рассказа, а некоторые второстепенные мотивы и описания преобразовывал в художественные детали.

**Ключевые слова:** Л. Н. Толстой, «Хозяин и работник», творческая история, история текста, художественный образ, притча, персонажи, речевые характеристики.

**Информация об авторе:** Андреева Валерия Геннадьевна, ORCID 0000-0002-4558-3153, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25а, 121069, г. Москва, Россия

E-mail: lanfra87@mail.ru

**Дата поступления:** 17.01.2020

**Дата публикации:** 24.03.2020

**Для цитирования:** Андреева В. Г. Работа Л. Н. Толстого над образами героев рассказа «Хозяин и работник» // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 1. С. 224–243. DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-224-243



This is an open access article  
distributed under the Creative  
Commons Attribution 4.0  
International (CC BY 4.0)

© 2020. Valeria G. Andreeva  
A.M. Gorky institute of World Literature  
of the Russian Academy of Sciences  
Moscow, Russia

### Leo Tolstoy's work on the images of characters of the short story "Master and Man"

The article is dedicated to making sense of Leo Tolstoy's work on images of the characters of the short story "Master and Man", to analytical study of the conceptual changes made to the text by the writer. Characterising the short story's style, the author of the article states that bright oppositions, presence of clear assessments of characters' behavior, moral and ethical guidelines make Leo Tolstoy's narrative somewhat parable-like, while artistic images in such a "parable" narrative are expressive. Main elements of the plot are already present in the first draft edition of the short story, but there is still lack of the heroes' characters integrity in it. Leo Tolstoy's work on the short story went in two directions. First, the writer paid much attention to the finale, carefully thinking through descriptions of the characters' inner monologues and states of mind; to Vasily Brekhunov's awareness of his former life's falseness and illusory. Events of Vasily Andreyevich's sudden clarification, and him saving Nikita are both presented psychologically accurately and convincing; the writer reveals the fundamental change that took place in the consciousness of Vasily Brekhunov, but the hero's character, the way of his behaviour remain the same. Second, the writer carefully thought through all the slightest components of pictorial, seeking to create holistic and consistent images of the characters. Leo Tolstoy assessed the depth of their opposition, removed details that could distract the reader from the central idea of the short story, whereas some secondary motifs and descriptions were transformed into artistic details by him.

**Keywords:** Leo Tolstoy, "Master and Man", creative history, text history, artistic image, parable, characters, speech characteristics.

**Information about the author:** Valeria G. Andreeva, ORCID 0000-0002-4558-3153, DSc in Philology, Leading Researcher, A.M. Gorky institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25a, 121069, Moscow, Russia

E-mail: lanfra87@mail.ru

**Received:** January 17, 2020

**Published:** March 24, 2020

**For citation:** Andreeva V. G. Leo Tolstoy's work on the images of characters of the short story "Master and Man"// Two centuries of the Russian classics, 2020, vol. 2, № 1, pp. 224–243. (In Russ.) DOI 10.22455/2686-7494-2019-2-1-224-243

Рассказ Л. Н. Толстого «Хозяин и работник», опубликованный впервые в журнале «Северный вестник» № 3 за 1895 г., стал тем художественным шедевром, которого давно ожидали русские читатели от Толстого, все больше отдававшего предпочтение публицистике и проповедям.

А. С. Петровский, составитель комментария к рассказу в Юбилейном издании, по материалам дневников и писем Толстого обозначил основные вехи работы писателя над текстом. Так, впервые о рассказе Толстой упоминает в дневнике 6 сентября 1894 г. В этой записи реализация замысла характеризуется как «очень живой художественный рассказ о хозяине и работнике» [Толстой 52: 137]. К этому же времени относится и первый конспект произведения. В комментарии указаны даты начала и завершения первой черновой редакции «Хозяина и работника» (6 и 13 сентября 1894 г.), а также периоды энергичной работы над текстом: «С этого времени начинается интенсивная правка рассказа, продолжавшаяся до 1 января 1895 г. — дня отъезда Толстого с дочерью Татьяной Львовной в имение Олсуфьевых Никольское-Горюшки» [Толстой 29: 376]. Петровский отмечает, что писатель долго и тщательно шлифовал текст, а после убедительно просил Н. Н. Стрехова прислать ему корректуры в Москву и трижды вносил поправки в набор.

Два ключевых образа в названии рассказа позволили писателю заострить внимание на проблеме социального расслоения и взаимодействии представителей разных сословий, а также на идее нравственного совершенствования человека, духовной вертикали, осознании личностью своей подчиненности Богу.

И. Ю. Лученецкая-Бурдина пишет, что «Толстой включает рассказ “Хозяин и работник” в ту нравственную парадигму, которую он пытался постичь и рационально объяснить в период духовных исканий. В небольшом художественном пространстве текста отражены идеи, сформулированные писателем в процессе работы над богословскими

трудами: умение познать своего Бога, любовь к ближнему, принятие страдания как пути к истине» [Лученецкая: 24].

В работах литературоведов XX в., посвященных «Хозяину и работнику», название рассказа рассматривалось как «актуализация социального контраста», а отсылка к евангельским образам не всегда осмыслялась. Современные литературоведы подчеркивают, что фигуры хозяина и работника являются знаковыми и частотными в прозе и публицистике позднего Толстого, они выводят читателя к важнейшим религиозно-философским обобщениям.

О жанре «Хозяина и работника» и стиле позднего Толстого высказывались разные суждения. Одни исследователи справедливо считают, что рассказ тяготеет к притче, как и некоторые другие поздние художественные произведения писателя. Так, Е. Ю. Полтавец, рассуждая о логике творчества Толстого, приходит к выводу о тесной связи с «Хозяином и работником» более ранних рассказов-переложений Толстого и его статьи «Христианское учение», которую писатель называл «катехизисом»: «Художественные произведения, над которыми Толстой работал в этот период, носят характер притчи, иллюстрирующей религиозные и философские взгляды писателя, причем “Суратская кофейная” и “Карма” являют собой своеобразные переложения-толкования чужих текстов, также в художественной форме поясняющих религиозные истины. Их персонажи открыто высказывают принципы, а аллегорическая образность доступна, как и задумывал Толстой, даже для понимания ребенка» [Полтавец: 118–119].

И яркие оппозиции, контрасты, и четкие оценки поведения героев, морально-нравственные ориентиры приближают повествование Толстого к притче. Художественные образы в таком «притчевом» повествовании выразительны, что в целом присуще реализму конца XIX в. На фоне лаконичности рассказа авторские добавления к портретам героев имеют глубокий смысл.

Недовольство Толстого, уже определившего сюжетную линию и центральные события рассказа, вызывала, однако, содержательная сторона: «Я до последнего часа работал над Хозяином и работником. Стало порядочно по художественности, но по содержанию еще слабо» [Толстой 53: 3]. Л. Д. Опульская, размышляя о приемах создания образов рассказа «Хозяин и работник», указала, в чем же, по выражению Толстого, заключалась его «слабость» на определенном этапе работы:

«Рукописи свидетельствуют, как все новые и новые детали обогащали и проясняли характер и Никиты и Василия Андреича: добродушная ласковость, покладистость, терпеливость одного и прижимистая деловитость, самоуверенность, бестолковая суетливость другого. “Слабость” содержания относилась, видимо, к финалу. С самого начала сюжет был ясен и не претерпел изменений: хозяин замерзает, повалившись тяжелым телом в сани и тем спасая от смерти работника. Но заключительные страницы много раз переписывались — в поисках психологической убедительности» [Опупьская: 128].

Правки и изменения Толстого позволяют отметить, что писатель большое внимание уделял финалу рассказа, прозрению Василия Андреича. Л. Д. Опупьская делает вывод о том, что смерть Брехунова сначала «изображалась как чудо “просветления”, напоминающее конец Ивана Ильича в повести 1886 г.», что далее Толстой пошел по пути создания более простого и спокойного описания, а в окончательном тексте пришел к «подробному рассказу о том, как Василий Андреич с обычной своей деловитостью и решительностью, “с которой он ударял по рукам при выгодной покупке”, выгребает снег с Никиты и ложится в сани» [Опупьская: 129].

Полностью соглашаясь с выводами Л. Д. Опупьской по поводу финала рассказа, мы считаем необходимым проследить конкретные изменения, сделанные Толстым с целью создания целостных образов хозяина и работника. Ведь и в самом начале рассказа есть много важных подробностей, проясняющих позиции героев. Так, Ю. В. Фомина, рассматривая невербальные формы проявления характеров, отмечает: «Любопытно и то, что большая часть невербальных сигналов и характеристик, раскрывающих сущность Брехунова, обнаруживаются в начале повести, до “метельной ситуации”» [Фомина: 130]. Это же можно сказать и про речь персонажей: важнейшие характеристики центральных героев заключены в незначительных на первый взгляд фразах, сказанных ими в начальных эпизодах.

Исследователи располагают только черновой редакцией начала рассказа, но и этот ранний текст дает представление о развитии авторского замысла. Общая схема работы Толстого над образами хозяина и работника может быть намечена как движение от ключевой антитезы героев, через осмысление и тщательный отбор качеств и особенностей персонажей, к итоговому противопоставлению, наибо-

лее емкому и освобожденному от сопутствующих отвлекающих читателя смыслов.

Первая черновая редакция, как и окончательный текст, начинается с рассказа о Василии Андреиче. Сказуемые, удачно найденные Толстым в описании Брехунова, остаются неизменными на протяжении работы писателя с текстом: «В приходе был праздник, и дворнику Василию Андреичу нельзя было отлучиться, *надо было быть* в церкви — он был церковным старостой, *надо было принять* и угостить родных и гостей» (курсив мой — В. А.) [Толстой 29: 295]. Толстой показывает, что отнюдь не по душевным законам и велению сердца пребывает Брехунов в церкви, он выполняет обязанность.

Описание Никиты в черновой редакции еще чрезвычайно кратко, но содержит ключевую мысль о легком расставании с деньгами. В отличие от хозяина, одолеваемого идеей накопительства, работник умеет отдавать: «Никита был мужик из дальней деревни, уже лет за 50, сухой, здоровый старик. Он всю свою жизнь прожил в людях, подавая все в дом сначала отцу, а теперь меньшому брату» [Толстой 29: 295]. Последующие характеристики героя и его семьи более подробны. В них Толстой несколько снижает образ благообразного старика. Способность Никиты отдавать изменяется от растраты денег на спиртное до покорной передачи заработанного жене и детям: «Он всю свою жизнь прожил в людях. Дома у него была только жена с ребятами, обрабатывавшая свой надел наймом и всегда нуждавшаяся, потому что Никита часто запивал и пропивал все, что мог» [Толстой 29: 304–305]; «Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки. <...> За два дня до праздника Марфа приезжала к Василию Андреичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами» [Толстой 29: 5].

Не меняя указания на возраст героя, Толстой отказался от определения «старик»: «Никита был мужик из дальней деревни, уже лет за 50, коренастый, широкий, но, очевидно, от нужды и работы недорослый, и очень сильный» [Толстой 29: 304]. Это устранило наметившуюся преграду между работником и хозяином, который мог быть сдерживаем почтенным обликом и преклонным возрастом спутника. Кроме того, в

окончательном тексте Никита после смерти Василия Андреича проживает еще двадцать лет.

В несомненной связи с этой поправкой следует рассматривать еще одну, коснувшуюся образа мужика, к которому путники заезжают обогреться в деревне Гришкино. В первой черновой редакции это еще *сильный мужик-хозяин*: «Долго говорили там, наконец, вышел мужик в одной белой праздничной рубахе и малый за ним в красной» [Толстой 29: 299]. В окончательном тексте мы видим *старого* мужика или *старика*: «...Высунулся высокий старый с белой бородой мужик в накинутах полушубке сверх белой праздничной рубахи» [Толстой 29: 18]; «Кроме Василия Андреича за столом сидел лысый белобородый старик-хозяин в белой домотканой рубахе» [Толстой 29: 20]. По всей видимости, внесенные поправки, касающиеся возраста героев, должны были подчеркнуть, что хозяин из Гришкино и Василий Андреич с Никитой относятся к разным поколениям, обозначить тему перемен в жизни общества и отношениях людей друг к другу. Образ старика, результатов его жизни, явленных в описании дома, семьи, взаимоотношений с близкими, конфликт с одним из сыновей из-за раздела дома и хозяйства могли подтолкнуть Брехунова к переоценке ценностей. Однако Василий Андреич не видел сути споров в семье мужика, поскольку был ослеплен идеей близкого и выгодного приобретения рощи.

Работа Толстого над образом Никиты включала тщательное продумывание каждой детали. В черновой рукописи № 3 Никита наделен физическим недостатком, он был «недорослый». Но Толстой как бы затушевывает этот изъян, акцентируя крепость, силу героя и то, что его недорослость была вызвана чрезмерным трудом с детских лет. Тут же к характеристике героя добавлен порок пьянства и сообщено о его семейном положении. В окончательном тексте рассказа писатель совсем отказывается от расширенных внешних характеристик Никиты, определяет только его возраст и резко противопоставляет Василию Андреичу словом «нехозяин». В ходе создания образа Никиты Толстой все больше акцентирует внимание на внутреннем мире героя, убирая лишние детали внешнего свойства: «Никита был пятидесятилетний мужик из ближней деревни, нехозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях» [Толстой 29: 4]. История с порубленными на мелкие кусочки нарядами жены, впервые включенная Толстым в рук. № 3, сохранена и в окончательном тексте: этот

эпизод позволяет читателю оценить дух противления, который живет в Никите, но в трезвом состоянии постоянно удерживается им. В окончательном тексте Толстой не раз намекает на этот дух внутреннего несогласия Никиты с Брехуновым. К примеру, когда герои сбиваются с дороги в первый раз, Никита констатирует этот факт «с удовольствием» [Толстой 29: 12].

Отношение Никиты к труду как черта характера главного героя также изменялось в ходе создания рассказа. В ранних рукописях наблюдается сильное снижение образа: «Никита был человек смиренный, добродушный, ловкий на работу, *но не любивший тяжелой мужицкой работы* и потому всю жизнь проживший в людях» (курсив мой — В. А.) [Толстой 29: 305]. Толстой убрал упоминание об излишнем труде Никиты в юности и о нежелании исполнять тяжелую работу, поскольку эти подробности шли вразрез с концепцией образа и характера героя.

В поздних художественных произведениях Толстого наблюдается тесная связь образов хозяина и работника с мотивом труда, работы. Яркие реализации мотив работы имеет в романе «Воскресение», где он стал одним из идейных центров, соотносимых с оппозицией «хозяин — работник»: «Все это понять, понять все дело хозяина — не в моей власти. Но делать его волю, написанную в моей совести, — это в моей власти, и это я знаю несомненно», — говорит Дмитрий Нехлюдов, встающий на путь преображения. И он радуется, произнося: «Да, чувствовать себя не хозяином, а слугой» [Толстой 30: 226]. В итоге мотив работы соотносится с рассуждением о хозяине: «Центральный в “Воскресении” мотив работы в финале романа реализуется в притче о виноградарях. Не случайно автор романа дает свободный пересказ, даже свободное толкование этой притчи. Толстой, благодаря Нехлюдову, живо представляющему подлость, низкие стороны людей, концентрирует внимание читателя на синонимах “виноградари” — “работники”. Автор, целью которого стало привлечение людей к работе, проводя реципиентов через галерею лиц, событий, внезапно показывает читателю его самого, ведь каждый из нас — один из виноградарей» [Андреева: 117]. В «Воскресении», как и в рассказе «Хозяин и работник», Толстой стремился приобщить читателя к идее работы ради ближних и спасения души, ради понимания и исполнения воли хозяина. Так как Никита был изначально задуман Толстым как герой, понимающий истинные ценности жизни, писатель отказался от уточнения о его нелюбви к работе.



К. А. Нагина и Н. И. Кухтина проводят параллель между рассказом «Хозяин и работник» и трактатом «В чем моя вера?», определяя выход писателя к важным религиозно-философским обобщениям: «Поведение работников “постоялого двора” и “виноградного сада” для Толстого в трактате становится моделью поведения людей, отказывающихся понимать волю Хозяина бытия, в итоге изгоняющего их из жизни. Глава восьмая трактата “В чем моя вера?”, в центре которой стоят образы постоялого двора / хозяина / работника, моделирует идейную и частично сюжетную коллизию рассказа Л. Толстого. Поведению виноградарей, вообразивших себя хозяевами сада, или работников постоялого двора, неправильно понявших волю хозяина, соответствует жизненная программа “деревенского дворника” Василия Брехунова, а проекцией верного бытийного поведения является фигура работника Никиты» [Нагина: 102–103].

Творческая история открывает, что Толстой «очищал» образ Никиты от деталей и подробностей, не укладывавшихся полностью в концепцию противопоставления хозяина и работника. В черновых материалах намечены характеристики речи Никиты, указания на особенность его разговора. В рук. № 4 Никита отвечает на вопрос о поездке с хозяином «бойко, громко, как будто сердясь» [Толстой 29: 306]. Толстой демонстрирует манеру разговора работника: «Никита говорил всегда быстро-быстро, точно слова подгоняли одно другое; главная же особенность его речи состояла в том, что, сказав то, что ему нужно, он как-то вдруг обрывал речь, точно запирал ключом» [Толстой 29: 306]. Данное описание речи получалось двойственным: с одной стороны, оно демонстрировало расторопность или торопливость героя, с другой стороны, некоторую замкнутость, скрытность. В рук. № 9 Никита отличается излишней разговорчивостью: «...Василий Андреич теперь молчал, а Никита не переставая весело разговаривал: то хвалил ум лошади, то вспоминал, как он ездил с другим хозяином на паре и пристяжная сбивала коренную» [Толстой 29: 307]. Последняя речевая характеристика контрастна образу сдержанного героя: Никита не противоречит хозяину, даже зная его неправоту.

Никита в рассказе говорит только по надобности, негромко, иногда весьма неохотно. Громким голосом в ходе работы над контрастным наполнением образов наделяется Брехунов: «Василий Андреич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре» [Толстой

29: 10]. Никита не повышает голоса до момента окончательной потери ориентиров в поле и начинает кричать только в сцене падения в овраг. Но крики его вызваны усталостью и озабоченностью положением дел, а также плохой слышимостью. Интересно противопоставление хозяина и работника в окончательном тексте, когда слышимость из-за ветра и мешающей разговаривать теплой одежды становится хуже. Василий Андрейч начинает кричать, подогреваемый задором скорого приобретения роши, азартом выгодной продажи лошади, за которую он просит слишком высокую цену, а Никита, чтобы не кричать, «отворачивает воротник кафтана и перегибается к хозяину» [Толстой 29: 10]. Так, речевые характеристики смиренного, спокойного Никиты и решительного, горячего Василия Андрейча в окончательном тексте фактически меняются местами по сравнению с черновыми материалами.

Доминирующие в натуре Никиты спокойствие и миролюбие уже отмечены исследователями. Герой ласково обращается не только с хозяином и его супругой, с маленьким сыном хозяина, но и с кухаркой, ее мужем, с Мухортым. Никита понимает истинный смысл жизни, заключающийся в добром отношении ко всему окружающему; но он при этом по-мужицки ловок, деятелен, собран. Никита понимает сущность Брехунова, но один раз называет его «батюшка Василий Андрейч». Восклицание «Одним духом» [Толстой 29: 296] из первой черновой редакции заменено на «Одним пыхом» [Толстой 29: 8]. Разночтение это значимо: писатель в начале рассказа избегает упоминания о духовной жизни: осознание настоящих ценностей придет к Брехунову в финале рассказа.

Семья Василия Андрейча в первой черновой редакции включает кроме него только жену: «“Как же ты, Вася, один поедешь, видишь, закурило как”, — сказала жена, выйдя за ним в утопанные снегом сени» [Толстой 29: 295]. В рассказе у Василия Андрейча есть еще маленький сын. Образ мальчика появляется впервые в рук. № 4. Толстой сохраняет найденное обращение Брехунова к сыну «прокурат» — проказник, затейник. В тексте мальчик ласково обращается к Никите с просьбой посадить его в сани: «“Дядя Микит, дядюшка, а дядюшка!” — закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке» [Толстой 29: 6–7]. Брехунов с радостью смотрит на сына, но воспринимает его не как любимого и пока единственного

ребенка, но как подрастающего наследника. В обращениях Никиты и Брехунова к мальчику заметны совершенно разные чувства: «Ну, ну, беги, голубок», — сказал Никита [Толстой 29: 6]. «Вишь ты, прокурат какой, поспел уже!» — говорит Василий Андреич [Толстой 29: 7]. Называя сына «прокуратом», Василий Андреич подмечает в нем особую ловкость, фактически выражая свое собственное начало.

Образ жены Брехунова и в целом взаимоотношения супругов претерпели значительную эволюцию. В рук. № 4 супруга Василия Андреича не в положении, а в рук. № 6 мы видим ее уже беременной: ««Куда еще», — закричала на сына вышедшая вслед за мужем закутанная с головой в платок на сносях беременная жена Василия Андреича» [Толстой 29: 306]. В окончательном тексте жена Брехунова находится в положении, но не «на сносях». Работа Толстого была связана с изменением не только содержательной стороны взаимоотношений супругов, но и формы их выражения. В первой черновой редакции отношения Брехунова и его жены ровные и благожелательные. Василий Андреич не реагирует негативно на совет жены взять Никиту, причем супруга *советует* Брехунову, а не *просит* его. И Брехунов, находившийся под влиянием нескольких рюмок спиртного, отвечает весело: «Слышь, Никита, хозяйка велит ехать. Что скажешь?» (курсив мой — В. А.) [Толстой 29: 295]. Полюсно изменяются отношения супругов в рук. № 4. Судя по характеристике разговора Брехуновых, данной Никитой, ссоры в семье происходят постоянно: «Ну, опять грызутся, — подумал Никита. — Жить бы да жить, так нет же, все лаются» [Толстой 29: 305]. Василий Андреич упрекает жену в ограниченности, связанной, в его понимании, с незнанием торговых дел. Равнодушное отношение Брехунова к родным связано с отсутствием настоящей заботы и ее непониманием: «Потому в тебе рассудку ни одной восьмой, — сердито обратился Василий Андреич к жене, вышедшей за ним и уговаривавшей его не ехать» [Толстой 29: 305]. Однако и жена сначала не уступала Василию Андреичу: в черновых материалах ее реплики также резки и отрывисты, но продиктованы трезвым пониманием ситуации, погодных условий. Супруга Василия Андреича осознает меру его самонадеянности, пытается возражать: «Одна твоя глупость. — Куражишься — перед кем? — говорила жена, выходя за ним и укутывая голову и почти все лицо шерстяным платком» [Толстой 29: 305]. А ее «крикливый голос» вызван недовольством мужа, его неосмотрительностью и привычкой

ему противоречить. Но несмотря на спор между супругами и повышение тона, Василий Андреич говорит Никите про жену вежливо, называя ее хозяйкой: «Слышишь, Никита, *хозяйка велит* тебе в капаньонах ехать. Что скажешь?» (курсив мой — В. А.) [Толстой 29: 306].

В рук. № 5 представлены иные взаимоотношения супругов. Жена находится «в полной покорности у своего мужа», говорит Брехунову о погоде, «робея перед мужем и перекутывая платок с одной стороны на другую» [Толстой 29: 306]. Но эта робость вызвана не уважением к Брехунову, а страхом. В ответ на замечание жены Василий Андреич просто не обращает на нее внимания, отвечает ей холодно, наигранно, любуясь собой: «Не извольте, мадам, беспокоиться, — проговорил Василий Андреич, как он говорил всегда, когда слушал себя, громким, отчетливым голосом, с каким-то особенным напряжением губ...» [Толстой 29: 306].

Отношение к жене выражается в черновых материалах и в мыслях Брехунова о других женщинах. Писатель упоминает о заигрывании героя с «молодой, нарядной, румяной солдаткой» в гостях у старика в Гришкино. И мысли об этой женщине мелькают в голове Василия Андреича, заносимого снегом, наряду с другими бытовыми проблемами: «Он приоткрыл глаза и увидел все то же и опять закутался. Хороша бабенка, вспомнил он про солдатку, старикову сноху. Ночевать бы остаться» [Толстой 29: 308]; «Главное же жизнь дорога. Дороже всего. А вот что, главное, мучило его раскаяние, зачем он поехал из Гришкина. Ночевать бы остался. Солдатка, ух баба хороша, — подумал он» [Толстой 29: 312]. Думы о солдатке приводят Брехунова к воспоминанию о жене: «Кабы теперь жениться, разве я такую бы взял, — продолжал думать он» [Толстой 29: 308].

В окончательном тексте нет упоминания о другой женщине, но по нескольким словам Брехунова, его интонации и жестам становится ясно, что жену он не любит и не уважает. Толстой совмещает наиболее удачные находки, создавая целостные характеры супругов. Беременная жена Брехунова разговаривает с ним робко и жалобно, просит мужа взять Никиту. А Василий Андреич не слушает жену и не отвечает. Выражая к ней полное пренебрежение, он сначала плюет на землю, а далее говорит с ней «с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями...» [Толстой 29: 6]. Исключив из окончательного текста мысли Брехунова о солдатке, Толстой вложил их в одно емкое наименование супруги и значимый эпитет. «Да уж, вид-

но, уважить *старуху*. Только коли ехать, поди одень дипломат какой по-теплее», — говорит Брехунов Никите (курсив мой — В. А.) [Толстой 29: 8]. Какая большая разница между «*женой*», «*хозяйкой*» в черновых материалах и «*старухой*» в тексте рассказа. Брехунов не шутит, он выражает и пренебрежение, и оценку супруги как женщины, которую он не любит. А рассуждая сам с собой ночью в поле, Брехунов вспоминает *немилую жену*: «“И на что я его взял? Все ее глупость одна!” — подумал Василий Андреич, вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее место к передку саней» [Толстой 29: 33].

Итак, Толстой убирает из рассказа мотив похоти, пробуждающейся в Брехунове. Скорее всего, писатель решил представить центральной в характере Василия Андреича линию жадности и алчности. Это предположение подтверждается тем, что мотив жадности Толстой начинает развивать с первых строк, убирая отвлекающие читателя подробности. К примеру, в первой черновой редакции Толстой называет фамилию купца, который может перекупить рощу: «...И Логинов, другой дворник-купец, мог перебить покупку...» [Толстой 29: 295]; кратко затрагивает проблему дворянского оскудения: «Продавалась роща на сруб; продавец — молодой, прожившийся барин, не знающий толку в своем добре...» [Толстой 29: 295]. Подробность о молодом помещике могла привести к двойственности смыслов: получалось, что молодой барин не знал толку в добре, а Василий Андреич очень хорошо разбирался в таком добре, как роща.

Зато в тексте рассказа автор тщательнее прописал историю с продажей лошади, подчеркивая предприимчивость Брехунова. В первой черновой редакции после описания мухортого жеребца есть значимое уточнение: «Его недавно задешево выменял Василий Андреич у попа» [Толстой 29: 296]. В рассказе Толстой разворачивает это упоминание в целый эпизод, демонстрируя умения Брехунова обманывать покупателя. Василий Андреич, по пути «нападая на любимое, поглощавшее все его умственные силы, занятие — барышничество» [Толстой 29: 10], пытается сбить Никите лошадь для работы, в два раза завышая цену. Писатель показывает умение Брехунова «преподнести товар»: «“Лошадь хорошая. Я тебе желаю, как самому себе. По совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то чтобы как другие. По чести”, — прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям» [Толстой 29: 10].

Подробный рассказ о заезде к старику в Гришкино появляется в итоговом тексте. Нет в черновых материалах эпизода встречи хозяина и работника с попутчиками, связанного с инфернальными мотивами и мотивом греха. На вопрос «Чьи будете?» попутчики отвечают «А-а-а-ские!», так как ветер уносит часть слова. И этот ответ невольно связывается для читателя с мыслью об аде. Мотив милосердия возникает при виде жалкой брюхастой лошаденки, совершенно замученной мужиками.

Движение хозяина и работника по кругу присутствует уже в первой черновой редакции и сохраняется в рассказе: Василий Андреич и Никита два раза приезжают в Гришкино, потом собираются ночевать в поле; однако в первой редакции еще не было эпизода попытки Брехунова выбраться одному верхом на мухортом, он появился позднее (в рук. № 4). В рассказе Василий Андреич уезжает тайно, фактически сбегает от Никиты. В черновых материалах хозяин советовался с Никитой или сообщал ему о своем отъезде: мотив побега появляется лишь в рук. № 9, где, как и в окончательном тексте, Никита чувствует толчок саней, когда Василий Андреич садится с ним на лошадь. В рук. № 4 Брехунов советуется с Никитой, когда собирается уехать верхом, а потом просит Никиту помочь с лошастью: «Никита долго мялся, наконец, встал, дрожа всем телом и хромая, подсобил Василию Андреичу и сам зашатался» [Толстой 29: 314]. В рук. № 5 Толстой сохраняет краткий диалог хозяина и работника, но Никита не встает помогать Брехунову. В окончательном тексте Василий Андреич рассуждает сам с собой и, оправдывая свои действия, находя огромную разницу между собой и Никитой, сбегает: «Ему, — думал он про Никиту, — все равно умирать. Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко, а мне, слава Богу, есть чем пожить...» [Толстой 29: 34]. Эти слова Брехунова являются логическим продолжением его внутренних монологов о положении собственных дел. Как справедливо отметила Ю. В. Фомина, «он лжет вдвойне: приняв свои убеждения за постулаты истинной жизни, Брехунов не осознает, как опутывает ложью и себя, и других» [Фомина: 130].

Мотив страха получил яркие реализации как в черновиках, так и в итоговом тексте, однако отличаются время возникновения страха и некоторые особенности его выражения. В черновых материалах рассказа Брехунов начинает испытывать страх раньше, уже в тот момент, когда уезжает назад в деревню провожавший их парень, а они с Никитой

остаются вдвоем: «Они повернули и поехали. Семка с своими санями тотчас же скрылся. Василий Андреич оглянулся на него, и вдруг ему стало жутко» [Толстой 29: 301]. В первой редакции Брехунов тщательно скрывает страх, не может сдержать его: «“Микит!” — вдруг разбудил его голос Василия Андреича, и голос дрожит, точно озяб» [Толстой 29: 301]; «Василий Андреич начинал сильно робеть, но усиленно храбрился» [Толстой 29: 302]; «Василий Андреич боялся ужасно, но не хотел признаться» [Толстой 29: 302]; «Намерение Никиты ночевать в снегу и, как он видел, необходимость покориться этому, пугало его. Но ему совестно было показать свой страх, и он старался подавить и отогнать его» [Толстой 29: 309]. В рассказе (как и в вариантах заключительных сцен) Толстой сделал характер Брехунова более цельным и интересным. Герой не теряет деловитости и предприимчивости и тогда, когда приходится устраиваться в поле на ночлег, он еще не испытывает страха: «Василий Андреич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал устраиваться на ночь. Он разровнял оставшуюся солому по санкам, подложил погуще себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней, к передку, защищавшему его от ветра» [Толстой 29: 30]. Сильный страх в Брехунове просыпается во время его ночных размышлений, когда он остается сам с собой, наконец, кульминации страх достигает в сцене бегства Брехунова верхом на мухортом. А. М. Ранчин справедливо указывает, что в тексте рассказа чрезвычайно важен этот последний круг, совершенный Василием Андреичем в попытке убежать верхом, бросив Никиту. «Описывая свой последний “большой” круг по снежной равнине, толстовский герой возвращается к исходной точке своего странствования — к саням, в которые совсем недавно садился, выезжая из родных Крестов. В символическом пространстве — это возвращение к самому себе истинному, возвращение к вечным ценностям — к любви и самоотвержению. Самый на поверхностный взгляд безысходный круг оказывается в высшем смысле единственным спасительным» [Ранчин: 101].

Встреча героя с чернобыльником, в которой страх имеет решающее значение, символична: «Эго всплеск черного цвета, проступающего на сей раз впервые как в самом предмете — означаемом, так и в означающем — лексеме “чернобыльник”. Событийно это момент осознания героем окончательной потери пути и неотменимости смерти, это со-

крушение его гордыни страхом» [Ранчин: 98–99]. А. М. Ранчин рассуждает о знаковом для всего рассказа образе чернобыльника, «образе действенном, как символ»: «В нем заключен библейский новозаветный прообраз, семантический архетип. Чернобыльник — другое название растения полынь» [Ранчин: 104].

Образ выросшей в поле полыни в первой черновой редакции появился рано, в тот момент, когда хозяин и работник сбиваются с дороги в самый первый раз. Никита указывает Василию Андреичу на «видневшуюся из-под снега межу, поросшую полынем, который отчаянно сгибался и махался от свистящего в нем ветра» [Толстой 29: 297]. Он говорит: «А то, что это полынь по жнивью по Захаровскому, мы вон куда заехали» [Толстой 29: 298]. В итоговом тексте Толстой заменяет в этом эпизоде полынь на картофель: Никита указывает Брехунову на «черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега» и делает вывод, что едут они по картофельному полю [Толстой 29: 12]. Чернобыльник появляется второй раз лишь в окончательном тексте. В рук. № 4, в эпизоде побега от Никиты, Василий Андреич вообще не видит никакого растения, замечая лишь след мухортого и то, что он едет по кругу. В рук. № 6 появляется образ бурьяна, тут же Толстой находит удачный ход с нагнетанием страха: «Особенно страшно ему стало, когда он проезжал по меже какого-то поля, поросшего высоким бурьяном, торчавшим из-под снега и отчаянно мотающимся, стремившимся куда-то и только свистевшим на одном и том же месте» [Толстой 29: 320]. В рук. № 8 Василий Андреич видит «что-то чернеющее», а потом понимает, что это межа, поросшая бурьяном. В окончательном тексте кульминационный эпизод побега Брехунова от Никиты представлен подробно и психологически очень достоверно: ржание мухортого, которое слышит Брехунов как «страшный, оглушительный крик», образ мотающегося на ветру чернобыльника связаны с апокалиптическими мотивами (образ полыни является в Библии символом наказания и смерти), не случайно Брехунов не узнает реальности: «Несколько секунд Василий Андреич не мог опомниться и понять, что случилось» [Толстой 29: 39]; «Он подумал: “Не во сне ли все это?” — и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо...» [Толстой 29: 39].

Брехунов сразу ложился на Никиту в первой черновой редакции и, согревая его своим телом, предавался «воспоминаниям сделанных дел



и заботы о тех, которые теперь делались» [Толстой 29: 303]. В последующих рукописных вариантах, как и в окончательном тексте, хозяин и работник устраиваются на ночлег отдельно. Брехунов уже после отъезда на мухортом и возвращения обращает внимание на Никиту. Толстой психологически точно развел два состояния Василия Андреича: «обычные мысли» приходят к нему во время раздумий в санях, но с момента возвращения направление и ход мыслей хозяина кардинально изменяются.

Первый пространный монолог Брехунова, связанный с обычными его размышлениями, по мере работы Толстого над рассказом дополнялся новыми деталями. Многие темы дум Брехунова в черновых материалах проработаны основательно и подробно, а в тексте рассказа представлены достаточно ёмко. Так, в окончательный текст оказались включены не раз встречающиеся в рукописях (рук. № 4, рук. № 5) рассуждения Брехунова об улучшении дел за последние 15 лет. Однако от размышлений о величии и значимости фигуры Брехунова в окончательном тексте остается лишь одна фраза: «Нынче кто в округе гремит? Брехунов» [Толстой 29: 32]. Толстой опускает все разъяснения о власти Василия Андреича, передающие его эксплуататорский характер: «...У него вся округа в руках была, как говорили ему мужики: мы ведь в плену у тебя, Василий Андреич. И точно, у него 5 деревень было в плену, 200 десятин обрабатывали за долги да за водку...» [Толстой 29: 312]. Не остается в окончательном тексте и воспоминания Брехунова об обмане зятя, которого он одолел в суде и с которого взыскал немалую сумму денег. Эти подробности снижали образ Василия Андреича. Творческий поиск Толстого был направлен в сторону выбора тех фактов из жизни героя, которые иллюстрировали бы не просто его качества, но характерные заблуждения. Писатель показывает ложное понимание Брехуновым ценности труда. Для Василия Андреича труд связан не с помощью ближним, не с преобразованием действительности и совершенствованием личности, даже не с необходимостью поддерживать существование семьи, а с получением все большей наживы. Толстой показал ложное понимание труда, противоречащее мысли о праведной работе, приближающей человека к осознанию воли Бога: «Как подушка от думы в головах ворочается, — размышлял он с гордостью. — Думают, что в люди выходят по счастью. Вон, Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы дал Бог здоровья» [Толстой 29: 32].

Размышления Никиты в окончательном тексте по сравнению с рук. № 9 изменяются в незначительной степени. Но Толстой выстраивает более точную логику перехода от мысли к мысли, а также корректирует два значимых момента. Первый связан с упоминанием Никитой Бога и размышлениями о скором приходе к Нему. В рук. № 9 Никита думает о том, что попадет с «Господу батюшке Царю Небесному» [Толстой 29: 318], в итоговом тексте герой рассуждает о «зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь» [Толстой 29: 36]. Выбор лексемы «хозяин» был обусловлен необходимостью создания тайны и отсылкой к названию рассказа. Второй значимый момент состоит в том, что в черновых материалах Никита не вспоминает о Брехунове, а в окончательном тексте, несмотря на констатацию огромной разницы в положении: «Не то, что наш брат» [Толстой 29: 37], Никита жалеет Брехунова. В отличие от хозяина работник находит силы для сострадания Брехунову (не случаен тут эпитет «сердечный»), переживает о нем.

Глубокий смысл финала рассказа в сравнении с вариантами заключительных сцен в общем плане уже прояснен Л. Д. Опульской. Она показала, что прозрение Брехунова и спасение им Никиты происходит в той же немногословной и деятельной манере, которая всегда была характерна для Василия Андреича. Добавим, что Толстой даже отказался от упоминания о жалости по отношению к Никите, неоднократно встречавшегося в тексте до этого: «И вдруг Василию Андреичу стало жалко Никиту. Кабы не я, не пропал бы мужик. А смиренный мужик. Как старался, и мальчонка моего ласкал» (рук. № 3) [Толстой 29: 311]; «Ох, погубил я человека, подумал Василий Андреич. И ему вдруг стало жалко Никиту» (рук. № 4) [Толстой 29: 316]. Описание поведения Брехунова в рук. № 10 максимально приближено к окончательному тексту. Но в объяснении попытки Брехунова избежать возвращения страха Толстой опускает две фразы. Сравним: *рук. №10*: «Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было не думать о себе, надо было думать о чем-нибудь другом. Надо было делать что-нибудь» [Толстой 29: 322]; *окончательный текст*: «Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться» [Толстой 29: 41]. Писатель исключает все объяснения поведения Брехунова, спасающего Никиту: Толстому важно было показать поступок героя без каких-либо его внешних характеристик.

Черновые материалы проясняют ход работы Толстого над «Хозяином и работником». Главные элементы сюжета присутствуют уже в первой черновой редакции, но в ней нет еще цельных характеров героев. Толстой совершенствовал рассказ в двух направлениях. Во-первых, писатель большое внимание уделил финалу. Он тщательно выверял и продумывал описания внутренних монологов и состояний героев, осознание Брехуновым ложности и иллюзорности своей прежней жизни. Прозрение Василия Андреича, спасение им Никиты представлено психологически точно и убедительно. Писатель раскрывает кардинальную перемену, произошедшую с сознанием Брехунова, но характер героя, образ его поведения остаются прежними: спасая Никиту, Василий Андреич действует решительно и быстро, как он всегда поступал в жизни. В этом последнем истинно человеческом поступке Брехунов не рассуждает о чувствах, не выражает душевных и сердечных порывов. Во-вторых, на протяжении работы над текстом Толстой тщательно продумывал и взвешивал все мельчайшие компоненты изобразительности, добивался создания целостных и непротиворечивых фигур персонажей. Писатель оценивал глубину противопоставления образов Василия Андреича и Никиты, убирал лишние, не свойственные им черты, а также подробности, отвлекающие от центральных мотивов рассказа. Притчевый характер присущ в большей степени для окончательного текста рассказа: многие описания и пояснения, ряд второстепенных мотивов оказались в ходе работы «свернутыми» писателем до деталей, осознание которых требует от реципиента осмысления каждого слова художественного текста.

#### Список литературы

Андреева В. Г. О нескольких центральных антитезах в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2012. № 4. С. 114–117.

Лученецкая-Бурдина И. Ю., Терентьева Н. С. Художественное воплощение этико-религиозных идей в рассказе Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» // Верхневолжский филологический вестник. 2016. № 4. С. 23–26.

Нагина К. А., Кухтина Н. И. Сновидения в рассказе Л. Н. Толстого «Хозяин и работник»: от жизни «для себя» к жизни «для других» // Вестник северо-восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. 2019. № 3. С. 100–110.

Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 г. М., 1998. 405 с.

Петровский А. С. Комментарии к рассказу «Хозяин и работник» // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худ. лит., 1954. Т. 29. С. 375–380.

Полтавец Е. Ю. Рассказ Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» как художественная экзегеза // Русистика и компаративистика. М.: МГПУ, 2012. С. 116–131.

Ранчин А. М. Чернобыльник: об одном символе в рассказе Толстого «Хозяин и работник» // Литературоведческий журнал. 2010. № 27. С. 97–107.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худ. лит., 1928–1958.

Фомина Ю. В. Тело и дух в повести Л. Толстого «Хозяин и работник» // Вестник Удмуртского университета. 2015. № 5. С. 130–134.

### References

Andreeva V. G. *O neskol'kikh tsentral'nykh antitezakh v romane L. N. Tolstogo "Voskresenie"* [On some central antitheses in the novel Resurrection by Leo Tolstoy]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. A. Nekrasova* [Vestnik of Nekrasov Kostroma State University], 2012, № 4, pp. 114–117. (In Russ.)

Luchnetskaia-Burdina I. Iu., Terent'eva N. S. *Khudozhestvennoe voploshchenie etiko-religioznykh idei v rasskaze L. N. Tolstogo "Khoziain i rabotnik"* [Artistic expression of ethical and religious ideas in the short story "Master and Man" by Leo Tolstoy]. *Verkhnevolzhskii filologicheskii vestnik* [Verhnevolzhskii philological bulletin], 2016, № 4, pp. 23–26. (In Russ.)

Nagina K. A., Kukhtina N. I. *Snovideniia v rasskaze L. N. Tolstogo "Khoziain i rabotnik": ot zhizni «dlia sebia» k zhizni «dlia drugikh»* [Dreams in L. N. Tolstoy's Short Story "Master and Man": from "life for yourself" to "life for others"]. *Vestnik severo-vostochnogo federal'nogo universiteta im. M. K. Ammosova* [Vestnik of M. K. Ammosov North-Eastern Federal University], 2019, № 3, pp. 100–110. (In Russ.)

Opul'skaia L. D. *Lev Nikolaevich Tolstoi. Materialy k biografii s 1892 po 1899 g* [Lev Nikolaevich Tolstoy. Materials for biography from 1892 to 1899]. Moscow, 1998, 405 p. (In Russ.)

Petrovskii A. S. *Kommentarii k rasskazu "Khoziain i rabotnik"* [Comments on the story "Master and Man"]. Tolstoy L. N. *Poln. sobr. soch.: v 90 t* [Full collection of works in 90 vol.]. Moscow: Khud. lit. Publ, 1954, Vol. 29, pp. 375–380. (In Russ.)

Poltavets E. Iu. *Rasskaz L. N. Tolstogo "Khoziain i rabotnik" kak khudozhestvennaia ekzegeza* [Exegetical Method in L. Tolstoy's Story "Master and Man"]. *Rusistika i komparativistika* [Russian philology and komparativistika]. Moscow, 2012, pp. 116–131. (In Russ.)

Ranchin A. M. *Chernobylnik: ob odnom simvole v rasskaze Tolstogo «Khoziain i rabotnik»* [Wormwood: About one symbol in the short story "Master and Man" by Leo Tolstoy]. *Literaturovedcheskii zhurnal* [Literary journal], 2010, № 27. pp. 97–107. (In Russ.)

Tolstoy L. N. *Poln. sobr. soch.: v 90 t*. [Full collection of works in 90 vol.]. Moscow: Khud. lit. Publ, 1928–1958. (In Russ.)

Fomina Iu. V. *Telo i dukh v povesti L. Tolstogo "Khoziain i rabotnik"* [Body and spirit in the novel of L. Tolstoy "Master and Man"]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta* [Bulletin of Udmurt University. History and Philology Series], 2015, № 5, pp. 130–134. (In Russ.)

© 2020. А. В. Федоров

Издательство «Русское слово»  
г. Москва, Россия

### «В свои сани — садись!»: о первом томе Полного собрания сочинений А. Н. Островского<sup>1</sup>

В статье представлена рецензия на первый том нового полного собрания сочинений А. Н. Островского, вышедшего под редакцией И. А. Овчининой, Ю. В. Лебедева, В. В. Тихомирова в 2018 г. в Костроме. Автор статьи рассказывает о коллективе авторов из Иванова, Костромы, Москвы и Петербурга, взявших на себя большой труд и огромную ответственность по подготовке такого масштабного издания. В статье рассматриваются основания, делающие необходимым переиздание сочинений Островского, а также объективные сложности, неизбежно встающие перед коллективом авторов: своеобразное отношение драматурга к текстам своих произведений при публикации, наличие непростой сценической истории пьес с определенными акцентами в игре актеров, запутанная цензурная история произведений Островского. В первом томе нового полного собрания сочинений предстали тексты Островского, редакции и варианты, творческая история произведений, обзор прижизненных критических откликов, сведения о сценической истории и об оценках постановок, а также реальный, исторический и лингвистический комментарий. Некоторые моменты вызывают у рецензента замечания, однако рассматривая содержание тома, описывая важные открытия и находки, автор статьи приходит к выводу о значительном обогащении изданием труда всей отечественной филологии.

**Ключевые слова:** А. Н. Островский, литературное наследие, новое полное собрание сочинений, коллектив авторов, И. А. Овчинина, Ю. В. Лебедев, В. В. Тихомиров, драматургия, театральное искусство.

**Информация об авторе:** Федоров Алексей Владимирович, кандидат филологических наук, сотрудник издательства «Русское слово», Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 2, 115035, г. Москва, Россия

E-mail: fedorov@russlo.ru

**Дата поступления:** 28.12.2019

**Дата публикации:** 24.03.2020

**Для цитирования:** Федоров А. В. «В свои сани — садись!»: О первом томе Полного собрания сочинений А. Н. Островского // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 1. С. 244–251. DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-244-251

---

<sup>1</sup> Рецензия на книгу: Островский А. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 18 т. Т. 1. Сочинения. 1843–1854. Кострома: Костромаиздат, 2018. 846 с.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

© 2020. Alexey V. Fedorov

Russian Word publishing house  
Moscow, Russia

## “Stay in Your Own Sled and be quite yourself!”: About the first volume of Complete works of Alexander Ostrovsky

A review of the first volume of new collection of Alexander Ostrovsky’s complete works published under the editorship of Irina Ovchinina, Yuriy Lebedev, Vladimir Tikhomirov in 2018 in Kostroma, is presented in the article. The author of the article tells about the team of authors from the cities of Ivanovo, Kostroma, Moscow and St. Petersburg, who took on a lot of work and a huge responsibility to prepare such a large-scale publication. The grounds that make the reissue of Alexander Ostrovsky’s complete works necessary, as well as the objective difficulties that inevitably arose before the team of authors — including the unique attitude of the playwright to the texts of his works when publishing, the presence of a difficult stage history of plays with certain accents in acting, knotty problems with censorship of Alexander Ostrovsky’s works — are considered in the article. The author states that the complete works’ editors had adequately handled all difficulties — the texts of Alexander Ostrovsky appeared before the readers in the first volume of the new full complete works along with editions and versions, the creative history of works, an overview of critical responses in Alexander Ostrovsky’s lifetime, information about stage history and estimates of theatre performances, as well as real, historical and linguistic commentary. Some points do not pass without comment of the reviewer; however, considering the content of the volume, describing important discoveries and findings, the author of the article concludes that the entire Russian philology has been significantly enriched by the publication of that scientific work.

**Keywords:** Alexander Ostrovsky, literary heritage, new Complete works, collective of authors, Irina Ovchinina, Yuriy Lebedev, Vladimir Tikhomirov, dramaturgy, theatrical art.

**Information about the author:** Alexey V. Fedorov, Candidate of Philological Sciences, PhD in Philology, Russian Word publishing house, Ovchinnikovskaya Embankment 20, str. 2, 115035, Moscow, Russia

E-mail: fedorov@russlo.ru

**Received:** December 28, 2019

**Published:** March 24 2020

**For citation:** Fedorov A. V. “Stay in Your Own Sled and be quite yourself!”: About the first volume of Complete works of Alexander Ostrovsky. Two centuries of the Russian classics, 2020, vol. 2, № 1, pp. 244–251. (In Russ.) DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-244-251

Известные ученые (в творческом коллективе литературоведы из Иванова, Костромы, Москвы и Петербурга) И. А. Овчина, Ю. В. Лебедев, В. В. Тихомиров, Л. В. Чернец, Н. Г. Михновец, Н. В. Капустин, Н. Л. Ермолаева, К. Ю. Зубков, Е. Н. Белякова, А. А. Виноградов взяли на себя колоссальный труд и ответственность — подготовить новое полное собрание сочинений великого русского драматурга. Необходимость в такой работе назрела давно: предыдущее издание (12-томное полное собрание сочинений под ред. Г. И. Владыкина, И. В. Ильинского, В. Я. Лакшина, В. И. Маликова, А. Д. Салынского, Е. Г. Холодова) вышло в далеком 1980 г. За прошедшие сорок лет было сделано многое по уточнению архивных источников, редакций и вариантов пьес А. Н. Островского разных периодов творчества, по выявлению ранее неизвестных прижизненных откликов и критических рецензий как на сами пьесы, так и на постановки. Кроме того, существенно изменилось общее представление о развитии отечественной словесности середины и второй половины XIX столетия; ушли в прошлое социологический подход к явлениям искусства и концепция трех этапов освободительного движения; внимание литературоведов к духовной проблематике произведений позволило обнаружить новые аспекты литературного процесса.

Безусловно, драматургия А. Н. Островского как высшее достижение русского театрального искусства «золотого века» нашей культуры заслуживает современного издания, выстроенного по лучшим законам академической науки: с выверенными текстами и разными редакциями-вариантами, с подробным комментарием, развернутыми обзорами критических откликов и учетом сценических версий. Это необходимая научная текстологическая «база» для дальнейших специальных исследований, наконец, это одно из условий сохранения нашей общей культурной памяти.

Исследователь сочинений Островского, обращаясь к первоисточникам, сталкивается с объективными и неизбежными «дополнитель-

ными» трудностями. Главной из них можно считать весьма своеобразное отношение драматурга к текстам своих произведений при публикации: как правило, всю работу по корректуре (исправлению писарских ошибок, типографских опечаток и искажений) он либо доверял друзьям, либо выполнял весьма небрежно, пропуская многие недочеты. Такое отношение связано со спецификой драматургии как литературного рода, ее «пограничным» положением между искусством слова и искусством театра. И для Островского, по его собственному признанию, результатом труда была именно сценическая премьера, а не выход в свет печатного издания. Эта же позиция нередко влияла и на подготовку «итоговых» собраний сочинений в 1859, в 1870, в 1878 и в 1885 гг., когда за редкими исключениями он просто давал разрешение на выпуск, не вникая в тонкости и нюансы. А люди, по просьбе Островского реально занимавшиеся выверкой текстов (С. В. Максимов, И. Ф. Горбунов и др.), могли вносить правки в печатные версии пьес, исходя из сложившейся театральной практики и конкретных постановок. Таким образом, традиционные принципы текстологии, по которым канонической редакцией считается последняя прижизненная публикация, в случае с Островским не всегда работают. Тем важнее подробно и последовательно проследить именно сценическую историю драматургических произведений, показав, какие акценты в игре актеров могли повлиять на восприятие пьесы и даже привести к тем или иным изменениям в её тексте. Кроме того, требует внимания и цензурная история пьес Островского, поскольку исправления и сокращения, связанные с требованиями цензурного комитета, отражались в публикациях, но далеко не всегда их можно атрибутировать и отделить от собственно авторских правок или вмешательства в текст друзей-редакторов.

На основании первого тома собрания сочинений А. Н. Островского можно с уверенностью констатировать, что главные трудности удалось преодолеть, а основные цели достигнуты; научный коллектив оказался «ростом вровень» поставленной задаче, можно сказать: «Сел в свои сани». В издании представлены научно выверенные по различным источникам тексты произведений великого драматурга; редакции и варианты, scrupulously восстановленная творческая история, по возможности полный обзор прижизненных критических откликов, сведения о сценической истории и об оценках той или иной постановки в



периодической печати тех лет, подробный комментарий — реальный, исторический, лингвистический.

Содержание первого тома отражает первое десятилетие творческой деятельности А. Н. Островского: ранние пьесы («Семейная картина», «Свои люди — сочтемся!», «Утро молодого человека», «Неожиданный случай», «Бедная невеста», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется»), прозаический очерк «Записки замоскворецкого жителя», а также (в приложении) несколько не опубликованных при жизни драматурга произведений («Сказание о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс, или От великого до смешного один шаг», <«Очерки Замоскворечья»>), в том числе два стихотворных опыта: <З. Ф. К-ъ> («Снилась мне большая зала...»), <Акростих> («Зачем мне не дан дар поэта...»).

Представляется вполне аргументированным включение в первый том, наряду с ранними драматургическими произведениями, также и прозаических опытов Островского, относящихся к тому же периоду его творческой деятельности. Составители убедительно показывают типологическую близость очерковой прозы писателя и его драматургии, связывая ее с общей для литературы того времени тенденцией: «Художественный мир реалистической прозы становится все более и более драматизированным» [Комментарии: 652]. Кроме того, раскрывается одна из характерных особенностей творческой манеры великого «слуховика», который уже в прозаических зарисовках будничной жизни разных городских сословий словно прозревает скрытый драматизм повседневности, обнаруживает зерно будущих сценических конфликтов. Неслучайно так часто используются в пьесах Островского реминисценции и явные цитаты из ранней очерковой прозы, наполненной точными и меткими характеристиками персонажей, их своеобразными речевыми портретами. «Уже в этих первых очерках видна природа дарования Островского: в самой действительности он видит элементы зрелищности, в людях — лицедеев, воспринимая жизнь театрально» [Комментарии: 653].

В комментариях подробно характеризуется «москвитянинский» период творчества драматурга — через обращение к деятельности других сотрудников редакции журнала, их общим и различающимся представлениям о целях и задачах искусства, о путях постижения русской жизни и отечественной истории; освещены важные аспекты личностных и

творческих взаимоотношений А. Н. Островского с М. П. Погодиным, Т. И. Филипповым, А. А. Григорьевым. Такое внимание к журнальному «контексту» художественных поисков драматурга оправдано, поскольку позволяет учесть важнейшие, но неочевидные для современного читателя «силовые линии» литературного процесса середины XIX столетия, во многом определявшиеся «корпоративным духом» различных периодических изданий — со своей общественно-политической и эстетической позицией, с определенным кругом авторов и штатными критиками-публицистами.

В обширных статьях после каждого из произведений не только приведены оценки прижизненной критики, но и тактично использованы ключевые достижения современного островковедения, включая новейшие работы, посвященные той или иной пьесе драматурга. Тезисы и наблюдения исследователей конца XX — начала XXI вв. органично вписаны в общий контекст восприятия драматургии Островского в исторической перспективе.

Плодотворно и интересно включение в состав комментария к тому или иному произведению сведения о его присутствии в школьной программе разных эпох с примерами из методических разработок, касающихся его преподавания для учащихся определенного возраста. Так сделано, например, в комментарии к комедии «Бедность не порок» [Комментарии: 801]. Хочется надеяться, что в дальнейшем этот подход будет сохранен, в том числе и благодаря обращениям к школьным программам XX–XXI вв. Это позволит внести свой вклад в решение весьма злободневной научной проблемы о т. н. «золотом каноне» отечественной литературы, его школьной версии, закономерностях и истории его формирования.

В то же время представляется дискуссионной логика расположения в комментариях критического материала, посвященного той или иной пьесе драматурга: иногда чисто хронологический подход соседствует с иными способами классификации, например, оценочным (полемика в прессе — когда необходимо осветить реакции критиков на статьи друг друга, даже если они разделены значительным временным промежутком). Что же касается истории постановок, то здесь кажется не совсем удачным разделение всех сценических версий по территориальному признаку: сначала дан обзор постановок в столичных (московских и петербургских) театрах, потом — в нарушение хронологии — идет

обращение к провинциальным театрам, и, наконец, к любительским постановкам (см., например, комментарий к пьесе «Не в свои сани не садись») [Комментарии: 778–779]. Кроме того, был бы полезен хотя бы краткий обзор (без подробных характеристик) постановок той или иной пьесы в период с конца XIX в. по сегодняшний день. Это, безусловно, трудозатратное дополнение помогло бы подчеркнуть актуальность творческого наследия Островского для современного театра и обогатило бы представление о неисчерпаемых сценических возможностях классических пьес.

Редко, но имеют место в тексте комментариев досадные опечатки — например, в датах газеты «Северная пчела» дважды поставлено 1953 — вместо 1853 г. [Комментарии: 758].

Но эти замечания носят локальный характер, не меняя сути: отечественная филология обогатилась. Современное полное собрание сочинений писателя, подготовленное по всем законам академической науки, — подарок нам и огромный вклад в формирование будущих читателей, исследователей, благодарных наследников великой национальной культуры. Хочется верить, что задуманное грандиозное издание состоится, пожелать замечательным ученым-энтузиастам сил, терпения, новых открытий во вселенной Островского, а также материальной поддержки для осуществления текстологической и комментаторской работы в привлекательном печатном виде. А необъятно просторные «сани» театра Островского по-прежнему останутся «своими» для новых поколений русских читателей и зрителей.

## Научная жизнь

А. В. Федоров. «В свои сани — садись!»: о первом томе ПСС А. Н. Островского

## Список литературы

Комментарии // Островский А. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 18 т.  
Т. 1. Сочинения. 1843–1854. Кострома: Костромаиздат, 2018. С. 651–835.

## References

*Kommentarii* [Comments], *Ostrovskii A. N. Polnoe sobranie sochinenii i pisem: v 18 t. T. 1. Sochineniia. 1843–1854* [Ostrovsky A. N. Complete Works and Letters: in 18 vols. Vol. 1. Works. 1843–1854.]. Kostroma: Kostromaizdat Publ, 2018, pp. 651–835. (In Russ.)

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

Научный журнал  
Два века русской классики / Two centuries of the Russian classics

*Два века*  
РУССКОЙ  
КЛАССИКИ

2020 — Т. 2 — № 1

Учредитель и издатель  
Институт мировой литературы им. А. М. Горького  
Российской академии наук

**Главный редактор**  
Щербакова Марина Ивановна  
доктор филологических наук, профессор,  
заведующая отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН

**Дизайн обложки и макет журнала**    **Компьютерная верстка**  
Д. К. Бернштейн    А. З. Бернштейн

**Корректор**  
В. Г. Андреева

Журнал зарегистрирован  
Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  
Свидетельство о регистрации: ПИ № Эл 77-76366 от 02.08.2019 г.

**Адрес учредителя, редакции и издателя:**  
121069, Москва, ул. Поварская, 25а

Тел.: (495)690-50-30

E-mail: journal\_ork@mail.ru

Сайт журнала: [www.rusklassika.ru](http://www.rusklassika.ru)

Дата размещения сетевого издания в сети Интернет  
на официальном сайте <http://rusklassika.ru> 24.03.2020 г.

При перепечатке ссылка обязательна

16+

Ученым  
мировой репутации  
им.

А.М. Топько  
РАН  
Москва